

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

*КАЛУЖСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ*

5



КАЛУГА
2022

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 5. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2022. — 316 с.
ISBN 978-5-907177-55-0

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
4oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-907177-55-0



9 785907 177550 >

© Авторы. Тексты, 2022
© Трунин А. В. Составление, 2022
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2022

ОБЛАКА, ПЛЫВУЩИЕ В ОКЕ

Дмитрий Петрович Ознобишин

Ока

Стонет, воеет и клокочет
Шумноволная Ока!
Знать, под льдом проснувшись, хочет
Поглядеть на облака,

Развернуться на свободе,
Солнце в лоно заманить
И на ясной на погоде
Струи светлые развить.

Чу! как шумно, грозно бьётся!
Но могучей лёд трещит,
Сребропенный, вдаль несётся,
Как в боях разбитый щит.

Брег дрожит, испуга полный!..
Но, светла и широка,
Горделиво плещет волны
Полногрудая Ока.

В солнце струи золотые,
Словно локоны, блестят,
Словно очи голубые,
Небом полные, горят.

И роскошна, как денница,
И белее серебра...
Не вверяйся! Чаровница —
Волги юная сестра!

Пылко свежими устами
Зацелует, обольнёт,

Хохоча, зальёт волнами
И в пучину унесёт.

Вопль и крик твой — всё напрасно.
Дай красавице Оке,
Дай возлечь ей, сладострастной,
На зыбучем на песке,

И тогда отважно, смело,
Как орёл, любуйся ей!
Развевай свой парус белый!
Шли станицы кораблей!

Будет вся тебе покорна,
Как голубица кротка,
И заснёт, шепча у чёлна,
Тихоструйная Ока.

Апрель 1835, Муром

Степан Петрович Шевырев

Ока

Много рек течёт прекрасных
В царстве Руси молодой,
Голубых, златых и ясных,
С небом спорящих красой.
Но теперь хвалу простую
Про одну сложу реку:
Голубую, разливную,
Многоводную Оку.
В нраве русского раздолья
Изгибается она:
Городам дарит приволья

Непоспешная волна.
Ленью чудной тешит взоры;
Щедро воды разлила;
Даром кинула озёры —
Будто небу зеркала.
Рыбакам готовит ловли,
Мчит тяжёлые суда;
Цепью золотой торговли
Вяжет Руси города:
Муром, Нижний стали братья!
Но до Волги дотекла;
Скромно волны повела, —
И упала к ней в объятия,
Чтоб до моря донесла.

1840

Марина Цветаева

* * *

Бежит тропинка с бугорка,
Как бы под детскими ногами,
Всё так же сонными лугами
Лениво движется Ока;

Колокола звонят в тени,
Спешат удары за ударом,
И все поют о добром, старом,
О детском времени они.

Осень в Тарусе

Ясное утро не жарко,
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.

Несколько слов поневоле
Всё повторяешь подряд.
Где-то бубенчики в поле
Слабо звенят.

* * *

В светлом платьице, давно знакомом,
Улыбнулась я себе из тьмы.
Старый сад шумит за старым домом...
Почему не маленькие мы?

Почернела дождевая кадка,
Вензеля на рубчатой коре,
Заросла крокетная площадка,
Заросли тропинки на дворе...

Не целуй! Скажу тебе, как другу:
Целовать не надо у Оки!
Почему по скошенному лугу
Не помчаться наперегонки?

Мы вдвоём, но, милый, не легко мне,
Невозвратное меня зовёт!
За Окой стучат в каменоломне,
По Оке минувшее плывёт...

Вечер тих, — не надо поцелуя!
Уж на клумбах задремал левкой...
Только клумбы пёстрые люблю я
И каменоломню над Окой.

Геннадий Шпаликов

Сон

Там, за рекою,
Там, за голубою,
Может, за Окою,
Дерево рябое.

И вода рябая,
Жёлтая вода,
Еле выгребаю,
Я по ней плыву,
Дерево рябое
На том берегу.

Белая вода —
Ты не море,
Горе — не беда,
Просто горе.

Валентин Берестов в самую наивность ивняка.

* * *

Вьётся чайка над Окой
На исходе дня.
Птицы не было такой
В детстве у меня.

Здесь ловил я окуней
И кувшинки рвал.
Здесь я песенку о ней,
Помню, распевал.

Леонид Губанов

На Оке

Бока пророчиц и паромщиц.
Малиновый закат при окнах.
Ока, бельё, бабье по роцицам,
и я в траве её притоком.
Приди и в ямбы загляни мне.
Приди по тропке, по стиху...
не угощая земляникой
поспевших для насмешек губ.
Смотри! Я продираюсь в ложненьких
размерах речек и основ.
Как промокашки, подорожники
на непросохших ранах Слов.
И в рукописи огорода
за красной, маковой строкой
опять коробится горохом
сожжённый стих о нас с тобой.

А помнишь? Полдень дал в росточке,
и здесь же, здесь, шумя про ягоды,
жевали мы стручки, как строчки,
и зёрна сладких слов проглатывали.
Лупились летом, ели ягоды
и звёзды по лицу размазывали.
И мой блокнот, мой старый ябедник
бессонницы отцу рассказывал.
В Пост Слова превеликим грешником
я всасывался и вникал
в само решение орешника,

И почерк неказистый радовал,
душа рыдала и смеялась.
А слово словно с неба падало
и свечкой в кухне озарялось.
До одуренья, боли, вдосталь
утапывал строфы крыльцо.
Стихотворенье было просто
как около твоё лицо.
Мне детство видится, как сказка,—
в которой и Ока, и ты.
В которой мог я опускаться
до сероглазой простоты!!!

Владимир Соколов

Ока

Мы так и не доехали тогда...
Какой-то лодки не было под боком.
Запомнилась река да лебеда
На берегу довольно невысоком.
Да то село, глядевшее с откоса,—
Голубоглазо и желтоволосо.
Да ребятя, да лодка на мели.
Да чей-то дед при всех его
притворствах:
— Мол, нету лодки. Нет. Не завели... —
Да мы без шапок, трое стихотворцев.
Да как вдали автобус наш гудел,
Что люди ждут, что все же есть предел...

Да мысль о том, что родственные сени
Когда-то называл Сергей Есенин
Не Константиновом и не Окой,
А просто лесом, полем да рекой.
Мы так и не доехали тогда.
Оки не переехали...
Ну что же,
Прав лодочник, седая борода:
— Поэты? Как же, знаю. Был Серёжа...

1964

Юрий Кублановский

Перевозчик

Н. Грамолиной

Не на русскую душу доносчиком,
лучше стану судьбе вопреки
с поседевшим лицом перевозчиком
у безлюдной излуки Оки.

Кулаки побелеют от сжатия
рукоятей весла и весла.
Если правду — пока демократия,
жизнь меня хорошо потрясла.

Ив клубление зыбко-прощальное
и дубки на другом берегу —
будто вдовый кольцо обручальное,
очертания их сберегу.

Чтобы в час убывания с белого
света, ставшего меркнуть в окне,
частью именно этого целого
на мгновение сделаться мне...

Белла Ахмадулина

Возвращение в Тарусу

Пред Окой преклоненность земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растёт желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви Бёховской ластится глаз.
Раз ещё оглянусь — и довольно.
Я б сказала, что жизнь — удалась,
всё сбилось и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нём Марины.

Препирательства и примирения

Вниз, к Оке, упавая сквозь лес,
первоцвет упасая от следа.
Этот, в дрожь повергающий, блеск
мною воспет и добыт из-под снега.

—Я вернулась, Ока! — Ну, так что ж,
отвечало Оки выраженье. —
Этот блеск, повергающий в дрожь,
не твоё, а моё достижение.

—Но не я ли сподвижник твоих
льда недвижимого и ледохода?
—Ты не ведаешь, что говоришь.
Ты жива и ещё не природа.

—Я всю зиму хранила тебя,
словно берег твой третий и тайный.
—Я не знаю тебя. Я текла
самовластно, прохожий случайный.

—Я лишь третьего дня над Курой
без твоих тосковала излучин.
—Кто теплыню отчизны второй
обольщён — пусть уходит, он скучен.

Зачерпнула воды, напилась
нелюбезной и скаредной влаги.
Разделяли Оки неприязнь
рабелепные лес и овраги.

Чтоб простили меня — сколько лет
мне осталось? Кукушка умолкла.
О, как мало, овраги и лес!
Как печально, как ярко, как мокро!

Всё, что я воспевала зимой,
лишь весну ныне любит, весну лишь.
Благоденствуй, воспетое мною!
Ты вспомнишь меня и возлюбишь.

Возымевшей в бессонном зрачке
заводь мглы, где выводится слово,
без меня будет мало Оке
услаждать полусон рыболова.

—Оглянись! — донеслось. — Оглянись! —
Там ручей упирался в запруду.
Я подумала: цвет медуниц
не забыть описать. Не забуду.

Пред лицом моим солнце зашло.
Справа — Серпухов, слева — Алексин.
—Оглянись! — донеслось. — Ни за что. —
Трижды розово небо над лесом.

Слив двоюродно-близких цветов:
от лилового неотделимы
фиолетовость детских стихов
на полях с отпечатком малины.

Такова ж медуница для глаз,
только синее — гуще и ниже.
Чей-то голос в который уж раз:
—Оглянись! — умолял. — Оглянись же!

Оглянулась. Закрывает глаза.
Этот блеск, повергающий в ужас
обожанья, я знаю, Ока.
Как ты любишь меня, как ревнуешь!

—О, прости! — я просила Оку.
Я опять поднималась на сцену.
Поклонюсь — и писать не могу,
поглядеть на бумагу не смею.

Неопрятен и славен удел
ведать хладом, внушаемым залу.
Голос мой обольщает людей.
Это грех или долг — я не знаю.

Это страх так отважно поёт,
обманув стадион бледнолицый.
Горла алого рваный проем
был ли издали схож с медуницей?

Я лишь здесь совершенно не лгу.
Хоть за это пошли мне прощенья.
Здесь впервые мой след на снегу
я увидела без отвращенья.

«Это кто-то хороший стоял», —
я подумала и засмеялась.
Я-то знала, как путник устал,
как ему этой ночью писалось.

Я жалею февраль мой и март.
Сердце как-то задумчиво бьётся.
Куковал многократный обман:
время есть! всё ещё обойдётся!

Что сулят мне меж мной и Окой
препирательства и примиренья —
от строки я узнаю другой,
не из этого стихотворенья.

1981

Андрей Коровин

Переплыть через Лету

Валерию Прокошину

Теперь ты там, где знают всё, скажи...
А. А.

обнаружил у Прокошина
сравнение Оки с Летой
вспомнил
что тоже всегда считал Оку
рекой между мирами
живых и мёртвых
однажды
она чуть не забрала меня
на Тот берег
а сколько было случаев
когда в ней погибли
опытные пловцы
попав в смертельный водоворот
в детстве
я любил и боялся Оку
а она дарила мне
остатки окаменевших растений
приманивала
запахом костра с той стороны
и я всегда мечтал посмотреть
что там
на Той стороне
Оки
Леты
небытия

Валера
ты теперь на Той стороне
скажи

* * *

ты заходишь в воды своей Оки
как глаза её тихие высоки
глубока бездонная её речь
так и хочется с нею на землю лечь

и лежать в еловых её лесах
растворяясь в девичьих голосах
пробиваясь в небо как родники
превращаясь в лето как грибки

между окских мидий течёт душа
помнишь как ты в детстве навзрыд дышал
голубыми окнами тишины
золотыми соснами вышины

* * *

пока Ока живая движется
стоят палатки рыбаков
немые бакены колышутся
от хода рыбьих косяков

и косы жёлтые песчаные
во сне мелирует Ока
и камни древние печальные
лежат в пучине ивняка

а в глубине на дне нестеленном
среди ракушек и песка
окаменевшие растения
перебирают облака

* * *

на Оке распустились деревья
и по пояс в разливе стоят
и верхушки кротовьих кочевий
на холмах напряжённо торчат
разлилась помутневшая лава
обмельчавшей как баба реки
и стекает грязна и корява
в вену волжскую с новой строки
вижу омут головокруженья
в нём как в памяти зрящей назад
отраженья живут без движенья
отражённый от времени взгляд

* * *

разлив Оки
не видно берегов
все острова подтоплены и смяты
готовы рыбы выметать мальков
плывёт кустов весенняя регата

поберегись живущий налегке
идёт вода весеннего потопа
штурмует землю в роковом пике
холодная как сердце мизантропа

идёт вода не зная о реке
течёт река воды не сознавая
и облака плывущие в Оке
глядятся вверх себя не узнавая

Лето в Велегоже

Ольге Подъёмщиковой

По тропинке, к осени уходящей,
Мы бродили летней гулящей чащей —
Где в кустах — грибы и крепки объятя.
Ты тогда почти не снимала платья...

И на окском пляже мы не нудили,
Потому что дети кругом бродили.
Мы ходили чинно в библиотеку
Всем окрестным жителям на потеху.

И, конечно, плавали мы в Тарусу
На речном трамвайчике толстопузом.
Поминали мученицу Марину
Местною настойкою на рябине.

Вот такое тихое было лето.
Даже звёзды падали до рассвета...
А когда проснулись мы, было поздно —
Кончились на небе все наши звёзды.

Валентина Невинная

* * *

Как только светлый лик Оки
Покажется... там, где откос,
Когда течения изгиб
Легко отринет прядь берёз,
Тогда приникнет тишина
К моей душе, и при луне
Всё озарит до талых звёзд,
До малых камешков на дне.

И облако твоих волос,
И синева любимых глаз,
И замиранье ранних рос
От шёпота моих шагов...
Всё это будет у реки,
У ночи... снов без берегов,
В излучине твоей руки...
Под тёплым ливнем нежных слов.

Владимир Обухов

* * *

Как узок мой мирок:
Калуга, бор, Ока...
Не ветер-ветерок
мне дарит облака.
И звёздочек пожар
пылает по ночам.
Как шарик — лёгкий шар
Земной кружится. Сам
я лёгок, словно дым.
Как облачко, лечу.
Я вырос. Стал седым.
Мне вечность — по плечу.
И как мне быт мой мил!
И как легка тоска.
И как огромен мир:
Калуга, бор, Ока...

* * *

Ах, как быстро дни сгорают —
догорают огоньки.
На скамейку сел я, с краю,
и сию вот — у Оки.

Ну а жизнь летит куда-то.
Я сию. Она летит.
Так уж повелось. Так надо.
Тут уж ведь не до обид.
В чем тут смысл? И где тут выход?
Гладь речная — благодать!
Пялюсь в дали. Пялюсь в выси.
В бесконечность, так сказать.
Там вовсю идёт работа.
Там века стоят в строю.
Там, на светлом небе, кто-то
сочиняет жизнь мою.

Михаил Кузькин

Утро в Калуге

Я медленно выйду
на берег
давно обмелевшей
Оки.
Сегодня не хочется
верить,
что так мы сейчас далеки.

Меж нами
почти вся Россия.
Пурга завывает в трубе,
дожди полыхают косые —
на дальней дороге
к тебе.

Там
дали расцвечены ярко
над тундрой,
распахнутой сплошь.
И ты в этот час
по Игарке,
быть может, с работы идёшь.

А здесь
ещё только лишь
брезжит,
с какой стороны ни смотри,
над рощами
Правобережья

полоска
ноябрьской зари.
Прохладой осыпаны
склоны.
И гулко разносится шаг...
Туманом
по самые кроны
зарос
Березуйский овраг.

И кажется,
скрипнет калиткой
и выйдет неспешно
к Оке старик
в долгополой накидке
и с мягкой шляпой в руке.
Но день начинается просто
с тягучего шороха
шин
изящнейшим
Каменным мостом
идущих к Медыни машин.
Шаги замедляю
у входа
на площадь, газетой шурша.
По Ленинской вдаль,
к машзаводу
троллейбус уходит, спеша.
Сейчас
начинается смена.
От гула моторов
в цехах
уже содрогаются стены...
Но тихо
в Гостиных рядах.

Все дни
безмятежно и ясно.
Тихи и теплы вечера.
В одиннадцать
диктор
бесстрастно
напомнит опять, как вчера...

На острове Диксон —
метели.
Мороз — шестьдесят...

Хоть реви!
Ведь это
твои параллели
и лучшие годы твои...
Там
порт обложили
торосы.
Давно
в Занзибар и Ливан
в багровых бурнусах
матросы
с сосной увели караван.

А здесь ещё осень.
В Калуге
рассветная выцвела мгла.
И — белое небо,
как вьюга,
что город твой
вновь замела.

Александр Авдонин

Тарусский причал

Лирическая повесть

Пролог

Чуть вспомню,
Чуть прошлое трону —
И снова меня занесёт
В тот давний, весенний, зелёный,
Навеки мне памятный год,
Туда, где на самом изломе
Оки —
Как и прежде встречал —
И нынче,
Как старый знакомый,
Встречает
Тарусский причал.
Туда, где у самого русла,
Вдали от железных дорог,
Есть город
С названием Таруса,
Негромкий глубокий-городок.
Ничем не известный, неброский

(Какой забывают легко).
 И время, когда Паустовский
 Приедет, ещё далеко.
 Ещё он глухой, деревенский,
 Почти допотопной поры
 От самой горы Воскресенской
 Почти до Игнатской горы. ...
 Тропинка знакомого сада
 От вешнего цвета бела.
 Таруса —
 Речная прохлада,
 Вечерняя сизая мгла.
 Окрестных лесов отголоски
 И всюду, от солнца светлы,
 Берёзки, берёзки, берёзки—
 Прямые, как свечи, стволы.
 Здесь тихо.
 Лишь катер причалит —
 И сразу услышишь гудки,
 И веет старинной печалью
 От синего плёса Оки.

Алексей Золотин

* * *

Мелеет милая Ока...
 Но, высыхая и мелея,
 Она становится милее —
 Роднее сердцу земляка —
 От малыша до старика.

И так ей хочется помочь,
 Речушкой малой с нею слиться,
 Последней каплей поделиться
 И подивиться: ай да мощь!
 Но только это мне
 Невмочь.

Не обо мне, конечно, речь.
 А если все ручьи — по капле?
 Ведь капли пробивают камни,
 И можно реку уберечь.
 Но как мне
 Каждого увлечь?

Я действую наверняка,
 Я превращаю стих в листовку,
 Взываю к совести и долгу,
 Зову помочь реке,
 Пока,
 Пока жива ещё
 Ока.

1986 г.

Валерий Васильев

* * *

Жене Ирине

Вдоль тарусской излуки ликует кипрей,
 Без науки сказать — иван-чай.
 Молодеет душа, становясь добрей,
 Да и тело — хоть снова венчай.

Мы причастны с тобою к теченью Оки.
 На холме, словно свечечка, Спас.
 Несравненное прикосновенье руки
 Исцеляет, как в юности, нас.

Мы идём, наша ноша светла и легка,
 Как из храма всесвятский молебн.
 За спиною река, на плечах облака,
 А в котомке картошка и хлеб.

Вспоминаем мы оба забытый апрель —
 Как далёк он теперь и как юн!
 Наш алтарный цветок — семисвечник-
 кипрей.
 В божьем мире бушует июнь.

Предстояние солнца. Короткая мгла.
 Умолкают в саду соловьи.
 Снова — вдоль этих русел, забыв про дела.
 Снова — руки и губы твои...

1995 г.

Александр Трунин

Рыбак

Сквозь город, суету — отраву
обыденности — одиноку
шагает, радуясь по праву, —
удачный выдался денёк —
рыбак. Ничем не озабочен,
в порядке леса и крюки.
И шаг его ленив и точен
и в каждой точке приурочен
к течению большой реки.

Там ждут его большие рыбы,
и тишина, и плеск волны,
и ослепительные глыбы,
как будто спящие слоны,
вернее их слоновьи души,
плывущие за окоём.
И разговор воды и суши —
что только ни услышишь в нём.

Дмитрий Кузнецов

* * *

Томной барышне зимняя нега
Наполняет задумчивый взгляд,
В царских шубах из мягкого снега
Вдоль аллеи деревья стоят.
Над закованной в панцирь Окою
Акварельная дымка легла,
И за дальней чертой городской
Всё светлее морозная мгла.

Юрий Долгополов

* * *

Ласково притоки привечая,
Из орловских мест, издалека,
Солнцем волн тревожа белых чаек,
Притекла красавица Ока.

Выхожу я, словно к ветру в гости,
На речной пугающий обрыв,

И река слова мои уносит,
Как ленивых краснохвостых рыб.

Ну да как же тут не заглядеться
На простор речной и луговой!
Как от песни, онемело сердце,
Захлебнувшись этой синевою.

А река песком калужским светит,
А волна, как девушка, бежит.
И синей её на белом свете
Васильки, цветущие во ржи.

Наталья Елизарова

* * *

Как за королевичем Елисеем
то кружила кедровкой над Енисеем,
красным волком шла по берегу Ангары,
то над Камой парила коршуном до поры.

Корсаком маячила у Тобола,
окунем, кумжой заходила в Кемь.
Волгу знала с детства, ан поняла не скоро:
все дороги ведут к Оке.

Кашире

Отшелуши мою кожу, речной песок,
От неродного, лишнего, наносного.
Берег, как в сказке, — не низок и не высок:
Родина, капище и бытия основа.
С древних времён, от дьяковских городищ
Вехи свои считаешь и воды полнишь.
То от татар кочующих оградишь,
То от фашистов, после — беды не помнишь.
Новые вёсны новый влекут разлив,
Снова твои поля в васильковой сини.
Солнечным бликом Успенский собор горит,
Вишни цветут и яблони — с новой силой.
И ни Иван II-й, ни Абдул-Латиф,
Чей венценосный дракон на гербе чернеет,
Сонмы пожаров, набегу, чума и тиф
Нет, не сломали тебя, не сломили тебя,
вернее.

* * *

Не проехать, не перейти: широка река,
Ибо имя ей «долг», и вода её глубока.
А в ветвях деревьев, что по берегам её,
Откричало смердящее вороньё:
«Вон отсюда, враже, не замути реки,
Ибо воды её чисты и волны легки,
Ибо то, что чужое — ведомо, не твоё,
Ибо песня умрёт в реке, на волнах её.
Что ты хочешь — прихоть, а то, что ты
любишь — ложь,
Будет тяжким игом то, что так долго ждёшь,
Будет тяжкой долей выбор, пойдёт отсчёт».
А река играет, но мимо она течёт...

Виктор Лареев

Осень на Оке

Кто-то щедрый много солнца бросил
В белизну обветренных берёст.
Это осень, золотая осень
Строит к сердцу свой воздушный мост.

По нему летят ко мне неспешно
Паутинки, запахи грибов...
Мир тебе, с орехами орешник,
Мир тебе, литая медь дубов.

Слушает река молчанье леса —
Весь багряно-жёлтый над водой.
Это осень — властная принцесса
Навестила храм свой золотой.

В шубе пёстрой, созерцая царство,
Знает то, о чем пока молчит:
Сбросит шубу, кинет всё богатство
И нагая к югу полетит.

Ольга Боченкова

Ока

И текут быстротечностью полотна
Звёзды — горние светляки,
Между тем как вверху небес глубина,
А внизу глубина реки.

И с той стороны отражается дно, —
Как за полог вод заглянуть.
А с этой небо отражено,
И Плеяды, и Млечный Путь.
То ли вглубь распахнутое окно,
То ли небо в её глазах,
Где мои глаза отражают дно,
Отражённое в небесах.
То ли камушек, выброшенный извне
В ослепительный непокой,
Засыпая, вздрагивает во сне,
Но реком куда рекой.

Светлана Соколова

На берегу Оки

Давно рыбак следит за поплавком,
Умело леску травит понемножку.
Круги от всплесков — хищник бьёт хвостом,
Распугивая мелкую рыбёшку.

А рядом внука дедов ждёт улов,
И слушает его простые байки,
Да хлеб жуёт, он слаще леденцов —
Гостинец, мол, от серенького зайки.

Пасётся стадо тут недалеко.
Пастух зевает на траве лениво.
Вода в Оке — парное молоко.
Июль. Жара. К реке склонилась ива.

Маргарита Бендрышева

Отражения

Что отражается в реке
помимо облаков?
Крутые чайчьи пике,
мосточки рыбаков.

Ни око собственных границ
не видит, ни Ока,
лишь тень ракушковых ресниц
качнётся изредка,

да луч сквозь неба витражи
кольнёт глазное дно.
Река спешит, река бежит,
но смотрит на одно

и то же. Ей ли выбирать?
А выбирать ли — нам?
Пусть русло сдвинется на пядь,
судьба — на миллиграмм,

и даже если больше — как
скользили, так скользят
по водной глади — облака,
по людям — Отчий взгляд.

Зимняя река

С позапрошлой звёздной ночи
лёд схватился на Оке,
а внутри прозрачной толщи
трещины, штрихи и точки —
явно буквы, явно строчки —
на каком лишь языке?

Тростниковый сломан стилус,
но последние слова
в ледяную пропись впились:
«Разве я переменялась?»

Я — живая, сделай милость,
не морозь...»
И я — жива,

я всё та же, мы — всё те же —
свет из-под усталых век,
но не движемся, как прежде,
панцирем придавлен стрежень;
не узнать под массой снежной
душ людских и зимних рек.

На берегу

Непроглядны и ночь, и река,
можно ждать до упора
промельк узкого бока малька
или штрих метеора.

Изворотливость рыбки, огнём
обернувшийся камень...
Сторожи, сторожи — нипочём
не ухватишь руками!

Ничего не прошу, ни о ком
не грущу перекрёстно.
Мир подмигивает мне тайком
всплеском рыбьим и звёздным.

ПОЭЗИЯ
и
ПРОЗА





Андрей Убогий

Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 г. в городе Железногорске Курской области, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы. Живёт в Калуге.

ПЁС

Даше

1

Помнишь, Даша, как мы выбирали собаку: сколько велось разговоров и споров о разных собачьих породах и о том, какая из них подошла бы нашей семье?

Конечно, мечта о щенке жила в тебе сызмала — кто из детей не мечтает о нём? — но мы с твоей мамой решили: пусть дочке исполнится десять, чтобы уход за питомцем лежал и на подростковой девочке тоже — и вот тогда мы решимся принять в дом щенка. И помнишь, ты признавалась, как долго не верила в то, что обещание исполнится и мечта воплотится?

Интересно, а откуда возникла в твоей детской душе мечта о собаке? Может, прямо из жизни, в которой нас окружает немало четвероногих? Ведь мы обитаем на тихой окраине города, и трудно выйти из дома, не встретив собаку; и трудно, конечно, видя так много собак — кем-то любясь, кого-то остерегаясь, кого-то пытаюсь погладить — не подумать: а что же у нас у самих до сих пор нет щенка? Ведь наши гены, хранящие память о первобытных временах, не могут не нашёптывать нам и о том, что человек без собаки куда более уязвим, незащищён и слаб — нежели тот, кто имеет рядом четвероногого друга. В известном смысле, человек без собаки не вполне человек: он ещё не отделился от дикой природы настолько, что может поставить меж ней и собой некий защитный буфер в виде собаки; а с другой стороны — у него не осталось живых мостов, соединяющих с древней родиной.

Собака и есть этот мост, эта связь — которая позволяет нам слышать голос и зов природы, осознавая и то, насколько мы от неё отделились. Антропологи могут, конечно, поднять меня на смех — но мне кажется, что без важной детали «собака» картина под названием «гомо сапиенс» была бы незавершённой.

Или, Даша, мечта о собаке окрепла в тебе, пяти-шестилетней, в те вечера, когда я рассказывал немудрёную сказку — в которой собака являлась спасителем человека? Эта сказка вызывала в тебе неизменный восторг. «Жила у одного человека собака, — начинал я, — и она его очень любила...» Ты широко раскрывала глаза, ожидая буквально каждого следующего слова. Причём волновалась ты не в предчувствии неизвестных событий — история пересказывалась из вечера в вечер — а оттого, что боялась: не изменю ли я что-либо в ней? «И вот пошёл человек зимой в горы», — говорил я; а ты добавляла: «На охоту!» «Да, на охоту, — спешил я исправиться, — и собака, как всегда, пошла с ним...»

Затем следовал рассказ о том, как охотник упал, сломал ногу — и остался лежать на снегу, замерзая. Но он успел крикнуть своей верной подруге: «Приведи людей мне на помощь!» Собака со всех ног, одолевая вьюгу и тьму, побежала в селение, где жил охотник, — и тут наступала кульминация всей истории. «Прибежав в деревню, — рассказывал я, сам отчего-то волнуясь, — собака бегала от дома к дому и во весь голос скулила и выла...» «Скулила, выла! — подхватывала ты, сама чуть ли не подвывая, как та собака, — скулила, вы-ыла!»

Что было дальше, понятно. Деревенские жители узнали собаку, догадались, что с её хозяином случилось несчастье и спешно снарядили спасательную экспедицию. Вела ночную процессию — с факелами, лопатами и носилками — понятное дело, всё та же собака. Охотника, уже чуть живого, благополучно нашли, откопали и отогрели, принесли в деревню — а собака с тех пор стала героем.

Вот что было в той сказке такого, что вызывало в тебе и волнение, и умиление? Конечно, собака. Представление о том, каким должен быть истинный друг и какова настоящая верность — возможно, вошло в твою душу вместе с образом той безымянной собаки из незатейливой сказки отца.

Но был, думаю, и ещё один источник мечты о собаке: это книги, которые ты с увлечением читала — и в которых встречалось немало собак. А поскольку наша семья в высшей степени литературоцентрична — в ней одних писателей двое! — то собаки, живущие в литературе, не могли не влиять на душу впечатлительного и много читающего ребёнка.

А уж наша русская классика куда как богата собаками! Возглавляет этот собачий литературный «парад», пожалуй, Каштанка, которой её хозяин говаривал: «Ты, Каштанка, супротив человека — всё равно, что плотник супротив столяра...» А следом за нею жалобно поскуливает Муму, из последних сил настигают матёрого русака борзые Ругай, Ерза и Милка, ходит на задних лапах белый пудель Арто, вздрагивает во сне Чанг, часто бьётся собачье сердце голодного Шарика, несёт службу верный Руслан, вслепую идёт по звериному следу Арктур — гончий пёс, шевелит чёрным ухом белый Бим, и охраняет границу пограничный пёс Альый...

И все эти собаки, что скулят, лают, тьякают, воют, а то и рычат на страницах русской литературы — герои всегда положительные, вызывающие не просто сочувствие и умиление, но порою и слёзы читателя. И вот

парадокс: не будь в нашей литературной классике такого количества четвероногих героев — она отчасти утратила бы своё человеческое лицо.

Но годы летели, и твой, Даша, возраст приближался к заветным десяти годам: времени, когда мы решили обзавестись собакой. И вот тут, если помнишь, книги художественные были потеснены литературой по собаководству: ведь нам предстояло и выбрать породу собаки, и получить начальные сведения по уходу за ней.

Читая те книги вместе с тобой, я был изумлён обилием разнообразных собачьих пород, существующих в мире. «Как, — думал я, — от единого волкоподобного предка могло произойти такое множество разных существ? И неужели всё это близкие родственники? И этот внушающий ужас, громадный мастиф с брылястой слюнявою мордой, и эта порочно изогнутая левретка, и эта стремительная борзая, во время гона похожая на летящую птицу, и коротконогая такса, ныряющая в барсучью нору, и стриженный пудель на цирковой арене, и мохнатый добряк-сенбернар, и уродливый мопс, и симпатяга-дворняжка, виляющая хвостом: неужели это всё представители одного рода-племени?»

Да, непросто нам было выбрать подходящую нашей семье породу: глаза разбегались, а мысли путались, и у каждого члена семьи было своё мнение об идеальной собаке. Но я опускаю сейчас эти все разговоры и споры, и называю породу, которая примирила нас всех. Это шнауцер: лохматый пёс средних размеров, которого на его исторической родине, Южной Германии, называли «собакой кучера». Нам понравилось, что средний шнауцер — собака универсальная. Три главные собачьи роли — быть сторожем, охотником и пастухом — миттельшнауцер исполняет прекрасно. Правда, ни в охотнике, ни в пастухе мы не нуждались — да и сторожить в доме было особенно нечего — но такая универсальность собаки позволяла надеяться, что и к жизни в нашей семье, не имевшей «собачьего» опыта, пёс сумеет хорошо приспособиться.

Итак, выбор был сделан; но оказалось, что не так-то и просто найти щенка миттельшнауцера. Ни в нашей Калуге, ни в соседней Туле их на ту пору не оказалось; пришлось майским днём 2006 года отправляться за щенком аж в первопрестольную.

2

А пока мы втроём — я, Лена и Даша — едем на электричке в Москву, я попробую вспомнить, какие собаки были в моём собственном детстве.

И опять — это надо же! — всё начинается с литературы. Только-только выучившись читать, я так полюбил один стишок о собаке из детской книжки, что охотно декламировал его всем, кто приходил к нам в гости. «Я нашёл в канаве серого щенка, — произносил я восторженным голосом, — и в котяшье блюдце налил молока...»

Помню, что слово «котяшье» неизменно вызывало смех слушателей — мне это нравилось — и я нарочно не стал исправляться, даже когда осознал свою

речевую ошибку. Дальше стишок рассказывал, как щенок вырос, как к мальчику приехал его старший брат-пограничник и решил взять Дозора (так звали пса) с собой на заставу. Мальчик, конечно, страдал, расставаясь с четвероногим другом — но чем не пожертвуешь ради любимого брата и ради защиты Родины? А на границе отважный Дозор не только спас жизнь своему новому хозяину, но и задержал злодея-нарушителя. Этот стишок глубоко запал в мою детскую душу, и образ отважной собаки, готовой отдать за хозяина жизнь, — лёг, можно сказать, в фундамент первоначальных ребяческих представлений о нравственности.

Но живой, настоящей собаки у меня в детстве не было — зато была игрушечная плюшевая собачка, с которой я засыпал, заботливо сунув её под подушку. Коричневые уши скоро вытерлись до белизны и истрепались — но плюшевый друг дорог был мне и потрёпанным. Трудно поверить, но эта собачка сохранилась доселе — только уже, разумеется, не у меня под подушкой, а на полке старых детских игрушек. До сих пор на сердце теплеет, когда я вижу её, — и словно встречаюсь с самим же собой, пятилетним.

Ребёнку необходимо кого-то любить — причём конкретно и осознано, с возможностью тискать, ласкать, обнимать предмет своей детской любви. Думаю, что на этой глубинной потребности и основана тяга детей к щенкам и котяткам: как бы пробным объектам любви, направляющим и формирующим душу ребёнка. И я точно знаю, что моё отношение к той коричневой плюшевой собачонке было уже любовью — пусть зачаточной, слабой и не сознающей себя, как любовь. Так в бутоне уже существует цветок, а в завязи — будущий плод; вот и чувство, что я испытывал к той собачке, я называю любовью — ничуть не смущаясь невзрачностью предмета, на котором она остановила свой выбор.

Разве не так же бывает и в отношениях между людьми? Любовь живёт в сердце любящего: это луч, исходящий из нашей души и заставляющий тех, кого он озарил, преображаться в животворящем свете любви.

Написал сейчас слово «животворящий» и вспомнил: а ведь моя любовь и впрямь оживила ту плюшевую собачку! Щенка мне родители, правда, не подарили — но до хомяка снизошли. Да, у нас в доме проявился хомяк Хома (названный в честь Хомя Брута из «Вия»: мы же помним, что значит литература для нашей семьи) — и он поразительно напоминал мою игрушечную собачонку. И плюшевой мягкостью шерсти, и блеском бусинок-глаз, и даже формой, размером и цветом коротколапого тельца. Можно было подумать: собачка волшебным образом раздвоилась, и её оживший двойник теперь шуршал газетами в трёхлитровой стеклянной банке, где мы его поселили.

И вот что характерно: к собачке с тех пор я заметно остыл — луч любви переместился на новый объект — но и осознал, что любить живое существо много сложнее, чем тискать бесчувственную игрушку. Хомяка уж не сунешь к себе под подушку и не понянчишься с ним, как тебе хочется: у живого свой нрав и свои интересы. Так что любовь, как я вдруг узнал, — это ещё и заботы, тревога, обязанности по отношению к другому. А этот «другой» — он, кстати, может быть и совсем равнодушен к тебе: как был равнодушен

хомяк ко всему, что не касалось еды или рваных газет, в которые он закапывался, скрываясь от моих назойливых глаз и рук.

Очень скоро Хома проявил свою независимость и равнодушие ко мне тем, что просто-напросто удрал, когда я вынес его погулять на лужайке у дома. Горевал я, признаться, недолго: мне уж наскучило наблюдать, как хомяк дни напролёт или спал, зарывшись в клочья газет, или грыз хлебные корки, или набивал рисом свои защёчные мешки, отчего его вес и размер увеличивались, по меньшей мере, вдвое.

Я нашёл утешение в дворовых собаках: Потапе и Джере. Эти дворняжки были общими для жителей нашей пригородной деревни Бушмановка: и дети, и взрослые старались их подкормить — или, по крайней мере, ласково потрепать по загривку, чему эти собаки никогда не противились. Рыжий Потап отдалённо напоминал сеттера — он был лопоух и лохмат — а в коротконогой брюнетке Джере, несомненно, текла кровь таксы.

Как отличалась их внешность, так был различен и характер дворняжек. Потап был простецким парнем, никогда не скрывавшим своих чувств и намерений. Уж если он был чему рад, то выражал свою радость бурно и неукротимо; а если на кого злился — Бушмановка оглашалась его громким лаем. А хитрая Джера — о, это была ещё та штука! Что такое «дипломатичное» поведение, я впервые узнал, наблюдая за ней.

Кормились дворовые наши собаки тем, что пошлёт им собачий бог — руками жителей нашей окраины. Потап просто-напросто принимал всё, что ему дают — благодарно размахивая рыжим флагом хвоста. А вот Джера — та постигала порядки и правила, царящие между людьми, и копировала их с комической точностью. Она знала: чтобы получить от людей что-либо, полагалось сначала подать «заявление». Она подбирала любую бумажку — обрывок картонки или газеты, или скомканную коробку от папирос — и, держа её в хитрой и словно бы улыбавшейся пасти, подносила своё «заявление» к ногам человека, который должен был его «рассмотреть». Всё её длинное чёрное тело при этом угодливо извивалось, а лапки — и так-то короткие — были почтительно полусогнуты. В общем, Джера вела себя как подобострастный проситель в каком-нибудь гоголевском департаменте.

Но этим хитрость искушённой в политических тонкостях Джеры не ограничивалась. Случалось, что получивший собачье «заявление» человек решал, смеха ради, сунуть Джере вместо лакомого кусочка что-нибудь несъедобное: щепку или пустой спичечный коробок. Так вот Джера и эту издевательскую подачку принимала с выражением глубочайшей признательности: с благодарным поскуливанием, припаданием к земле и восторженной дрожью длинного тела. Она хватала зубами ту дрянь, что ей сунули, относила подачку на порядочное расстояние — и только там, вдалеке от глаз «благодетеля», с презрением выплёвывала её.

Так что прямой смысл выражения «хочешь жить — умей вертеться» я осознал уже в детстве, наблюдая за подобострастно и неутомимо вертящейся Джерой. Простодушному парню Потапу подобные хитрости даже и в голову не приходили. Устроиться в жизни он, похоже, так и не сумел — зато сумел

геройски погибнуть под колёсами автомобиля, когда пытался прогнать это грозно рычащее чудище с нашей тихой окраины. Помню, как мы, дети, со слезами его хоронили — и написали на могильной фанерке: «Здесь лежит верная собака Потап».

Так что собаки в моём детстве всё-таки были; а то, что они являлись общими — или ничейными — ничуть не мешало моей любви к ним.

3

Но Москва приближается, и мы все волнуемся. Ну ещё бы: на многие годы жизнь нашей семьи должна будет перемениться. А я думаю ещё и о том, что не только у Даши, но и у меня самого это будет первый щенок в жизни. Конечно, детская мечта исполняется чуть поздновато — мне уже сорок два года — но удивительно, что она всё-таки исполняется.

Питомник шнауцеров, куда мы направлялись, располагался на северной окраине столицы. Трудно сказать, что каждый из нас представлял при слове «питомник», но в реальности это оказалась типовая квартира в серой многоэтажке, одна из комнат которой была отведена собакам. В углу, отгороженном досками, копошились чёрные двухмесячные щенки. Никакого выбора не предстояло: наш кобельёк был заранее выделен нам хозяйкой питомника.

Помню, как чёрный забавный комочек всё пытался от нас убежать — в чём уже смолоду проявлялась его независимость и самобытность. Нам выдали, вместе с лопухим и неуклюжим щенком, и его громкое имя, напечатанное в аттестате: «Луисбург хэндли трэлз». В той же грамоте указывалась и его родословная: помню, в ней числилось несколько чемпионов породы.

В Калугу Луи (так мы сократили его важное имя) ехал в плетёной корзине. Щенок вёл себя, в целом, спокойно и особых хлопот в пути нам не доставлял. Корзинку с ним Даша не выпускала из рук. Казалось, наша дочь не верила в то, что всё, происходящее с нею, — не сон и что у неё в самом деле теперь есть настоящий щенок. Помню Дашино ошеломлённое, какое-то даже измученное счастьем лицо — и то, как она невпопад и не сразу отвечала на наши с Леной вопросы: и сердце, и мысли её были заняты только Луи. А мне самому, когда я смотрел на Дашу, оглушённую счастьем, отчего-то было печально: никогда прежде я не испытывал столь же глубокой и необъяснимой вины перед собственной дочерью — вины неизвестно за что...

Итак, мы вернулись в Калугу с милейшим щенком — но и с грузом забот и проблем, неизменно сопровождающих начинающих собаководов. Первым и главным вопросом стал, естественно, вопрос о кормлении. И вот тут обнаружилось важное качество нашего юного друга: он был почти равнодушен к еде. «Всё понятно — не пищевик!» — сказала, как припечатала, одна из авторитетных знакомых «собачниц», которой я как-то посетовал на эту особенность нашего пса.

Такое свойство Луи, открытое нами уже в первые дни общей жизни, имело последствия очень серьёзные: оно отнимало у нас важнейший рычаг

воспитания и дрессировки собаки. Как заставить щенка выполнять команду — если он равнодушен к награде? Не будешь же всякий раз бить его скатанной в трубку газетой? Но и не будешь, с другой стороны, действовать только лаской да уговорами, взывая к собачьей совести — тем более что в её существовании я до поры до времени сомневался.

Оказалось, впрочем, что сомневался я зря: Луи оказался и совестлив, и застенчив. Забегая вперёд, расскажу, как наш пёс вёл себя через несколько лет, когда у него возникли проблемы с кишечником. Погуляв с Луи утром, мы оставляли в квартире его одного: я и Лена работали, Даша училась. Когда же я возвращался с работы, то уже с первого взгляда на пса понимал, что случилась очередная кишечная «неожиданность». Луи не подходил ко мне, даже когда я его звал (это при том что обычно он дружелюбно приветствовал каждого члена семьи) — а, напротив, прятался где-нибудь под столом, всем своим видом выражая раскаяние. Хвост был поджат, лапы согнуты, шея опущена, а посмотреть мне в глаза он никак не решался. Всем своим обликом и поведением Луи словно мне говорил: «Хозяин, убить меня мало!» И ведь никто никогда не наказывал его за подобные слабости, понимая: скорее, мы сами виноваты в том, что вовремя не выпустили пса во двор, где он мог бы спокойно справить нужду. Я уверен: у Луи в эти минуты просыпалась именно совесть — осознание того, что он преступил запрет, нарушать который нельзя.

А застенчивость нашего пса проявлялась в том, как он ел. Даже голодный, он мог игнорировать миску с едой, ожидая особого приглашения. Помнишь, Даша, как мама устраивала целые представления: с ласковыми словами, с пощёсыванием Луи за ушами, с предложением лакомства из своих рук — и всё для того, чтобы наш «не пищевик» соизволил наконец подойти к миске?

Есть Луи начинал не сразу. Сначала он брал из миски небольшой кусок и уносил его прочь с наших глаз — обычно на коврик в прихожую. Там без свидетелей, он аккуратно съедал его — и только после этого возвращался на кухню, где были люди и где стояла его миска с кормом. Но и начав есть из миски, он мог прерваться и отойти в сторону — когда замечал на себе чей-либо пристальный взгляд или слышал, как его окликают по имени.

Вот откуда такая застенчивость в грубом животном — для которого, кажется, ничего не должно быть важнее насыщения утробы? Неужели Луи сознавал, что всегда подчиняться звериной природе негоже и что в жизни есть вещи достойные — и недостойные, сообразные с идеалом должного поведения — или нарушающие его?

Похоже, жизнь рядом с людьми заставляет собаку воспринимать и усваивать что-то из человеческого поведения. Каждый, конечно же, замечал, до чего комично собаки порою напоминают тех, кто ведёт их на поводке, — являясь своего рода карикатурами или шаржами на собственных хозяев. Думаю, что собака может копировать не одного человека, но и семью, где она обитает: её нравы, привычки, манеры.

Сейчас очень кстати припомнился рассказ дочери об одной из студенческих олимпиад по неврологии. Помнишь, Даша, как в Казани, на вопрос

одного из преподавателей — откуда, мол, девушка, вы, студент-медик, так разбираетесь в живописи? — ты, пожав плечами, ответила: «Я всё-таки росла в интеллигентной семье...»

Думаю, что и наш пёс, если б какой-нибудь высший собачий авторитет спросил у него: «И откуда ты такой взялся?» — Луи вполне мог бы, чуть сдвинув косматые брови, ответить: «Я всё-таки рос — извините — в интеллигентной семье...»

4

Но не слишком ли я увлёкся психологическим портретом Луи, упустив то, с чего обычно начинают рассказ о собаке: её экстерьер?

Чёрный лохматый забавный щенок, что ехал в Калугу в корзине, которую Даша не выпускала из рук — он быстро рос, и из чёрного становился всё более серым, приобретая тот самый благородный окрас — «перец с солью» — который считается наиболее характерным для этой породы.

Примерно к восьмимесячному возрасту Луи принял облик идеальной собаки: средних размеров, ладно скроенной и крепко сшитой. Он был поджар и на редкость силён: даже я, не самый хилый мужчина, с трудом удерживал Луи на поводке, когда он азартно рвался куда-то. А уж могучие челюсти и внушительные зубы нашего пса были созданы словно для куда более крупной собаки — и лишь случайно достались Луи.

Таким же, «на вырост», был его голос: густой, хриловато-бархатный бас, чья сила была такова — что, скажем, прохожие нередко обманывались, соотнося этот голос с размером пса. Гуляешь, бывало, с Луи — и он неожиданно рывкнет за чьей-либо спиной. Прохожий, вздрогнув, оглядывается — и всегда смотрит намного выше Луи, потому что не может поверить: неужели настолько могучий бас принадлежит вот этому псу, чья холка едва достаёт до колена?

Не один, впрочем, голос — но и морда Луи была очень солидна и живописна. Борода, усы и лохматые брови, скрывающие большие карие глаза: всё это было одновременно и диким, всклокоченным — так в девяностые годы прошлого века выглядели бедолаги-бомжи возле мусорных баков — но и, как сейчас выражаются, стильным. Недаром чуть ли не все, и знакомые, и незнакомые, кто встречали нас с ним на прогулке, восклицали при виде Луи: «Какой красавец!»

Всего же эффектнее превращение бомжа в аристократа происходило во время тримминга. Вот только что я гулял с лохматой собакой почти подзаборного вида, чьих глаз было не разглядеть сквозь косматую шерсть — казалось, все репы нашей окраины собраны в ней — и чей облик уж никак не говорил о знатном происхождении. Но вот начиналась процедура тримминга, непростая и для Луи, и для грумера Риты, которая терпеливо, в течение многих часов выщипывала, а потом стригла жёсткую шерсть собаки. Под столом, на котором лежал изнывающий, тяжело вздыхавший Луи, вырастала гора серой шерсти, которая была чуть ли не больше его самого.

Когда же нудная процедура наконец завершалась — я снимал со стола совершенно другую собаку. Теперь это был аристократ с аккуратной бородкой и строго торчащими кустиками бровей — какие огромные и задумчивые глаза открывались из-под недавних зарослей шерсти! — и с нервно переступавшими лапами, под коротко стриженной шерстью которых отчётливо переливалась мускулатура.

Можно сказать, у нас было две разных по экстерьеру собаки: одна до тримминга, а другая после, одна лохматая и диковатая — а другая холёная и благородная. Мне, признаться, лохматый оболтус нравился больше. Хоть, конечно, с отросшею шерстью было куда больше возни: одно мытьё грязных лап после прогулки и вычёсывание репёв превращалось в непростую задачу. Но всё равно я с радостью видел, как Луи обрастает: из аристократа превращаясь снова в простецкого парня.

Через пару месяцев после тримминга уже появлялась лохматость и встрёпанность, но глаза ещё были видны; и серьёзный взгляд пса из-под серых бровей мог быть гневным — особенно, когда он подкреплялся густыми басами его голоса. Смешно сказать, но мне взгляд Луи порою напоминал грозный взгляд философа Шопенгауэра на известном дагерротипе — том, где отшельник из Франкфурта тоже небрежно всклокочен и смотрит настолько сурово, что хочется скрыться с его глаз долой. Надеюсь, тень мудреца не сердится на меня за это — тем более что мизантроп Шопенгауэр сам страстно любил собак.

А Луи мы и впрямь называли «философом»: за его погружённый в себя, независимый и задумчивый нрав. По натуре он был интровертом — и событиям внешнего мира бывало непросто пробить его внутреннюю защиту. Всегда чувствовалось, что Луи существует сам по себе, исходя из своих собственных представлений и предпочтений.

Но при этом характер его был соткан из парадоксов. Вот как, например, можно быть трусоватым и храбрым одновременно? На крупных собак — овчарок, ротвейлеров, даже мастифов — Луи, случалось, отважно кидался, издавая свой грозный басовый рык; и нередко большие собаки озадаченно пятились перед сравнительно небольшим шнауцером. Зато перед разной собачьей «мелочью» — болонками, йорк-терьерами или пекинесами — Луи павовал и пятился сам. Опасался он, стыдно сказать, даже кошек: стараясь их как бы не замечать или обходить стороной.

Как это объяснить? Может, лучше просто признать, что всякий характер — в том числе и собачий — есть тайна, которая не поддаётся ни классификации, ни разумному истолкованию? Всем, кто близко общался с Луи, было ясно, что этот задумчивый пёс наделён индивидуальностью: тем особенным и неповторимым, что отличает его от всех прочих собак. А тайна индивидуальности — одна из самых глубоких тайн вообще: неважно, идёт ли речь о собаке или о человеке. «Бог и лесу не сравнялся», — говорит пословица; похоже, что «штучность» и уникальность всего живого есть такое же неотъемлемо важное качество жизни — как, скажем, обмен веществ.

Думаю, что загадка индивидуальности неуловимо перетекает и в тайну любви. Разве можно любить что-нибудь «вообще» — то есть нечто безликое и усреднённое? Нет, любовь всегда избирательна — и направлена на конкретное и единичное: вот на этого человека, на этот дом или книгу — или этого пса, с его серой лохматой задумчивой мордой.

5

Но если кто-нибудь думает, что Луи рос сам по себе, как трава в поле, — то он ошибается. Нет, мы решили дать юному псу достойное его благородному происхождению образование и несколько раз посетили занятия на собачьей площадке.

Площадка мне не понравилась сразу: это был асфальтовый пыльный пустырь на площади Маяковского, между гудящим шоссе и железнодорожной насыпью. Зимой здесь заливали каток; а летом внутри хоккейной коробки кругами ходили собаки и их владельцы. Похоже, занятия тяготили и тех, и других. Ну что хорошего может быть в том, чтобы битый час таскать собаку на поводке, чувствуя, как её горло дрожит и хрипит и как пёс задыхается, не понимая: «Да чего же хотят от меня и хозяин, и все эти люди вокруг, и собаки, которые, кажется, только и думают, как меня разорвать?» От растерянности и возбуждения Луи остервенело рычал на своих «одноклассников» (а это были, в основном, ротвейлеры и овчарки); те, разумеется, хотели в отместку тяпнуть его — и вместо чинного шествия благодушных хозяев с послушными псами получалась остервенелая карусель из лающих друг на друга собак и их раздражённых владельцев, то и дело дёргающих за поводки.

Не забудем, что наш пёс был «не пищевик» и поэтому не видел никакого резона в том, чтобы выполнять команды. Воздействовать на него можно было только окриками или шлепками да рывками поводка, от которых пёс хрипел и задыхался: кому же понравится учёба в таких условиях?

Неудивительно, что мы с Луи скоро оказались в безнадёжных «двоечниках». Мне это было обидно — я переживал за Луи, почти как за себя самого — но ничего не мог поделать ни с натурой собаки, ни с суровыми нравами, царившими на площадке. Это уж теперь, спустя много лет, я понимаю, что обычная, не состоящая на какой-либо службе собака должна выполнять всего две команды: «Ко мне!» и «Нельзя!» — их вполне достаточно для надёжного управления ею. Но прежде чем осознать это, нам с Луи пришлось немало помучиться. Инструктор-кинолог (хмурая женщина, больше похожая на армейского прапорщика) то свистела в пронзительно верещавший свисток, то что-то зычно кричала; а я, шагая по кругу с другими «учениками», то одёргивал рычащего на соседей Луи, то вспоминал о том, как когда-то, в школьные годы, «дрессировали» меня самого.

Неподалёку от собачьей площадки, что на площади Маяковского (гипсовый трёхметровый поэт с гордым презрением наблюдал за нашими муками) располагалась школа, где я учился; а в школьном дворе был устроен

плац для строевой подготовки. И мысль о родственном духе этих мест — собачьей площадки и школьного плаца — не раз вызывала у меня саркастическую усмешку. И в одном, и в другом месте некая сила пыталась стереть единично-индивидуальное и привести всех к безликому знаменателю. Как собак, совершенно различных по нраву, облику и темпераменту, на дрессировочной площадке старались превратить в бездумно послушные четвероногие механизмы, так и на школьном плацу ученик должен был превратиться в машину, тупо печатающую шаги и беспрекословно выполняющую команды.

Но оцените иронию жизни! Как за собаками наблюдал поэт Маяковский (точнее, его гипсовый истукан), так за нами, маршировавшими школьниками, с печальной усмешкой наблюдал Николай Васильевич Гоголь. Какими путями его грустный бюст оказался на школьном плацу — это тайна, покрытая мраком. Знаменитый писательский нос очень скоро отбили, и от этого облик Гоголя сделался ещё печальнее и одновременно смешнее — а наша шагистика под его иронично-обиженным взглядом обретала совсем уж абсурдный характер: словно мы ставили сцену из гоголевской пьесы. Режиссировал нами военрук майор Мирошник («Я — злой хохол!» — говорил он про себя); но он не обращал никакого внимания на своего великого соотечественника.

Что, интересно, сказал бы бюст Гоголя, если б ожил? Изрёк бы своё знаменитое «Скучно на этом свете, господа!» — или просто печально вздохнул? Вот он, дескать, каков «русский человек в его развитии, каким он явится через двести лет»: только и знает, что с отяжкой печатать шаги, отдавать честь в движении, да по команде «Р-равняйся!» видеть в шеренге слева, как того требовали строевой устав и наш бравый майор, грудь четвёртого человека.

Но драматизм ситуации был ещё в том, что мне, шестнадцатилетнему юноше-допризывнику, шагистика нравилась больше и больше. Я блаженствовал от растворения в маршировавшей колонне, от выполнения перестроек и поворотов, от подчинения собственной воли многогоному и многоголовому существу по имени «воинский строй». Наши ноги одновременно взлетали и падали, руки давали отмашку, уши чутко ловили команды майора Мирошника, и каждый шаг отпечатывался не просто на сером асфальте, но словно бы напрямую на сердце — отчего оно изнывало в почти сладострастном восторге.

«Так вот оно, счастье служаки! — приоткрывалась тебе одна из тёмных, манящих сторон человеческой психики. — Счастье в том, чтобы перестать быть собой, чтобы слить своё одиночество с множеством прочих, неотличимых один от другого, людей, чтоб отдать свою волю, свободу и душу — тому, что безмерно сильнее и больше твоей одинокой, несчастной, растерянной жизни...» Колонна, идущая строевым торжествующим шагом, одаряла странной иллюзией: чудилось, что никакая беда (даже смерть!) неспособна тебя отыскать в тех рядах, где ты уж и сам потерял самого же себя...

Нирвана шагистики долго тебя не отпускала. Затем-то, возможно, бюст Гоголя и оказался на школьном плацу — чтоб развеять коварные чары, в которые я, впечатлительный юноша, погружался всё глубже. Нужен был

грустный, сочувственный, всё понимающий взгляд гения и христианина, чтобы словно окликнуть меня: «Андрей, не дури — возвращайся к себе! Раз уж ты создан особенным — так и носи одинокий крест своей личности, не отдавая его никому. Ведь ты человек — вот и будь человеком, а не бездумной машиной для выполнения строевых упражнений...»

6

С собачьей площадкой мы вскоре расстались — что было на пользу и нам, и Луи. Начальные навыки дрессировки мы кое-как освоили — команды «Нельзя!» и «Ко мне!» наш пёс, хоть и не очень охотно, но выполнял — а большего мы от него и не требовали.

Нам было нужно другое. Главной задачей Луи — вряд ли сразу осознанной нами и тем более им самим — было согреть и укрепить отношения в нашей семье. И он с этой задачей прекрасно справлялся, несмотря на свой хмурый, задумчивый вид, независимость и показную суровость.

С чего, например, начиналось утро десятилетней девочки Даши — когда ей нужно было просыпаться ни свет, ни заря, чтоб идти в школу? Не будь собаки — утро стало бы сущим мучением: каждый может припомнить собственные пробуждения, особенно перед какой-нибудь ненавистой контрольной. В такие минуты и белый свет не мил — тем более не милы вредные эти родители, которые тормозят и торопят сонного и готового вот-вот заплакать ребёнка.

А с Луи утро Даши начиналось совсем по-иному. Заслышав первые шевеления просыпавшейся девочки, пёс подходил к ней и подставлял свою лохматую тёплую голову под её сонную руку. И Дашино утро всегда начиналось с улыбки. «Пё-ёс!» — говорила она, ещё не открывая глаз и глядя Луи по заливку. Она словно не верила, что это счастье — собака! — всё ещё с ней и оно не исчезнет, как сонные грёзы.

Луи никуда не исчезал. Пока Даша вставала с постели, он крутился поблизости и был даже не против объятий — хотя в иное время их избегал. Даша и обнимала его — пшеничные волосы покрывали серую спину собаки — и, случалось, со счастливым недоумением говорила: «А Луи пахнет мёдом...»

Так что первый удар наступавшего дня был для Даши смягчён её серым другом. И как же не быть благодарным Луи за эту защиту ребёнка от забот и печалей наступавшего дня? Согласитесь: начать утро с улыбки — совсем не то, что начать его, стиснув зубы или сглатывая слезу. Пёс был своего рода живым серым солнцем, что каждое утро согревало и озаряло Даше предстоящий ей на сегодня жизненный путь.

Когда же она подросла, из школьницы стала студенткой медицинского института и на долгие годы обосновалась в Смоленске — её приезды в родительский дом становились праздником не только для нас с Леной, но и для пса. Луи распознавал уже её приближение к дому: он подходил к двери, прислушивался и начинал — как бы для разминки — помахивать хвостом. А когда Даша появлялась в дверях — их обоюдное ликование достигало

предела! Луи даже нам, родителям, не позволял обнять дочь-студентку: он вилял не просто хвостом, а всем телом, беспорядочно тыкался Даше в колени и в руки — и сам не помнил себя от радости.

Радовалась, конечно, и Даша. Едва поставив сумку, она опускалась на корточки и начинала трепать по спине и загривку ополоумевшую от счастья собаку. Снова звучало давнишнее, детское: «Пё-ёс!» — и, надеюсь, Луи для Даши снова благоухал мёдом.

Вторым по важности человеком для нашего пса являлась Дашина мама: она была, в прямом смысле, кормилицей Луи. Да и формально она числилась «владелицей собаки»: так было записано в собачьем паспорте. Лене, конечно, было непросто кормить «не пищевика»: тем более что первые годы мы старались давать Луи натуральную пищу. Значит, надо было ежедневно варить говяжьё обречь или щековину, измельчать это мясо и жилы, смешивать с кашей — а потом уговаривать пса поесть. Он не приближался к миске, пока Лена ласково не подзывала его, не трепала по шее, а потом не давала первый кусок из своих рук. «Ты бы ещё перед ним станцевала!» — порой говорил я в сердцах: мне, никогда не страдавшему отсутствием аппетита, было трудно понять равнодушие пса к отварной говядине. Я, кстати, несколько раз — сначала по ошибке, а потом и сознательно — доставал кусок мяса из собачьей кастрюльки, подсаливал и с большим удовольствием уплетал. Так что прости меня, пёс: случалось, я тебя объедал.

Другой процедурой, за которую отвечала хозяйка, было вычёсывание собаки. Эта картина всегда умиляла: когда Лена укладывала Луи на полу в гостиной, садилась рядом и начинала металлическим гребнем расчёсывать жёсткую, как проволока, шерсть пса. Луи поначалу недовольно ворчал и пыхтел, но скоро смирялся и уже получал удовольствие от заботливых рук и хозяйского голоса. Лишь иногда, когда гребень цеплял за клочок плотно свалывшейся шерсти, Луи коротко взвизгивал — но, скорей, не от боли, а лишь для того, чтоб откликнуться на ласковое воркованье хозяйки.

Дашин брат Дима в те годы, когда у нас появилась собака, дома оказывался нечасто: он учился сначала в Смоленске, потом в Москве, и в Калуге бывал лишь наездами. Но удивительно, с каким уважением Луи относился к нему! Пёс, вообще-то не очень любивший подчиняться кому-либо, команды Димы выполнял быстро и беспрекословно; и, когда вся семья была в сборе, Луи всем своим видом и поведением оказывал предпочтение именно Диме — очевидно, считая того сверхчеловеком. То ли высокий рост, то ли голос, уверенный и молодой, то ли решительные движения, то ли нечастые появления в доме (как известно, чем реже встречи, тем крепче дружба и тем сильнее уважение) — но что-то в Диме было такое, что заставляло Луи благоговеть перед ним. Остальным — тем, кто постоянно жил рядом с собакой, кормил её и выгуливал — было, помнится, даже немного обидно; но чувство благоговения, как и чувство любви, есть тайна, неподвластная ни рассудку, ни справедливости.

Старшие в нашей семье — мои мать с отцом, живущие этажом ниже. У них с Луи тоже, естественно, сложились свои отношения. Когда мы, молодёжь,

уезжали куда-то, куда собаку взять с собой не могли — она оставалась на попечении моих родителей. Мама Луи кормила, отец с ним гулял — и оба его полюбили. Я вообще не представляю себе человека настолько бесчувственного, что он не полюбил бы такую собаку, как наш бородатый лохматый мудрец. А уж моя матушка, по своей натуре тревожно-заботливая, опекала Луи, как ребёнка — хоть этому «мальчику», в пересчёте с собачьего возраста на человеческий, было уже далеко за «полтинник».

Однажды мама спасла Луи жизнь. Пёс к тому времени заметно одряхлел, и окончательно переселился на первый этаж, к родителям: спускаться и подниматься по крутой лестнице ему становилось всё тяжелее, а носить его на руках не позволяли наши больные спины. И вот однажды, в февральскую вьюгу, когда мело с небывалою силой и следы людей и собак заносило за считанные минуты, — отец возвратился с прогулки один, потому что Луи потерялся в метели. Это случилось неподалёку от дома: отец, ослеплённый несущимся и залепляющим очки снегом, не заметил, как старый и тоже плохо видящий пёс отстал, сбился с тропы и растворился в слепых завихрениях вьюги.

На поиски вышли троём: отец, мать и я. Шагая почти по колено в снегу, мы разбрелись в разных направлениях, то и дело окликавая собаку. Голос на холоде быстро охрип и был еле слышен сквозь пелену снегопада и посвисты вьюги. Даже я, человек ещё сравнительно крепкий, очень скоро устал идти сквозь метель; что же говорить о моих родителях, чей возраст приближался к восьмидесяти? Но искали они героически, не давая себе поблажки, — хоть надежды и силы таяли с каждой минутой и с каждой сотней пройденных метров.

Настал тот момент, когда брести сквозь метель заставляла уже не столько надежда найти Луи — сколько невозможность вернуться домой без собаки. Не помню, в который уж раз я обходил территорию нашей больницы, с сердечною мукой представляя себе то обессиленного и замерзающего в сугробе Луи, то предстоящий звонок в Смоленск, Даше — с рассказом о том, что случилось. Эти тяжкие мысли крутились в голове столь же путано и неотвязно — как неустанно кружилась метель.

Вдруг я почувствовал, как задрожал, а потом запиликал в кармане мобильник — и через секунду послышался мамин измученный голос: «Нашёлся!» Оказалось, она зашла в своих поисках дальше всех нас — и уже за деревней, в полях у железнодорожной насыпи, наткнулась на белый дрожащий сугроб, в который превратился наш замерзающий пёс. Идти самому у него уже не было сил — он шатался и падал — поэтому почти весь путь до дома я нёс облепленного снегом Луи на руках. И спал он потом почти целые сутки — сам, видно, не веря тому, что опять возвратился к семье и жизни.

7

Но самые яркие воспоминания, связанные с Луи, — это воспоминания о походах.

Байдарки в нашей семье существовали, сколько я себя помню. Бывало, отец со своим другом юности Юрой собирался в очередной сплав,

раскидывали по полу спальники, рюкзаки, надувные матрацы и банки с тушёнкой — а я, семи-восьмилетний, смотрел на всё это с мучительной завистью. Потому что второй заветной мечтой моего детства, кроме мечты о собаке, была мечта о байдарочном путешествии.

А уж совмещение двух заветных желаний — путешествие вместе с собакой — являлось апофеозом семейного счастья. Правда, я не уверен, что Луи, особенно в начале походов, разделял наши восторги. Да, он произошёл от неприхотливой «собаки кучера»; но, ведя жизнь в комфорте, вдали от конюшен, карет и почтовых дорог — он, конечно, изнежился и избаловался.

Вдруг, после тёплой квартиры и мягкой подстилки, он оказывался под дождями и ветром, в зыбко качавшейся лодке, в окружении туч комаров и мошки, а по ночам — в окружении тех, позабытых им, звуков и запахов дикого леса, которые заставляли пса то и дело вздрагивать и просыпаться в тамбуре палатки.

А уж на то, как он поначалу боялся садиться в байдарку, смотреть без смеха было нельзя. Он пятился и упирался всеми четырьмя лапами, а его лохматая морда выражала ужас и недоумение: да как можно променять твёрдую землю на зыбкое колыхание лодки? Приходилось и тащить его за ошейник, и шлёпать по задку веслом — и в конце концов на руках заносить в лодку растопырившего лапы и выворачивающегося Луи.

Но так было только в самом начале. Стоило нам как-то раз сделать вид, что мы оставляем Луи одного — лодка отчалила и легко заскользила вдоль влажной полоски песка, истолчённой лапами трясогузок и куликов — как пёс заметался по берегу, оглашая окрестность рыдающим лаем. В этих рыданиях слышалось: «Куда ж вы, родные? Как же я буду без вас, в этом диком лесу, среди диких зверей, в этой бесчеловечной природе? вспомните то, что вы сами читали вслух, уютными зимними вечерами, пока я дремал на подстилке: вы, люди, в ответе за тех, кого приручили!»

Урок оказался доходчив. Теперь, стоило нам начать загружать байдарку перед отплытием — класть палатку в корму, а котелки с мисками в нос, и сооружать сиденья из набитых тряпьем гермоупаковок — как Луи неотвязно крутился у лодки, ожидая момента, когда можно будет (иногда самым первым!) прыгнуть в неё и улечься на дне между стрингеров. Можно сказать, что он из «собаки кучера» превратился в «собаку байдарочника» — и прекрасно справлялся с этой новой ролью.

О, как он гордо и важно сидел меж гребцов, озирая скользящие мимо обрывы и пляжи! Если мы проходили мимо чьей-либо стоянки и Луи видел на берегу людей, — над гладью реки разносился его басовитый, густой и торжественный лай. Люди на берегу все, как один, оборачивались и с уваженьем смотрели на нашу лодку. Возможно, им даже хотелось отдать нам честь — как делают моряки, когда мимо проходит корабль адмирала. А Луи в такт гребкам чуть качал седой бородой — ну, настоящий морской волк! — и только что не выкрикивал: «Ставь бом-брамсели, якорь вам в глотку!»

Он настолько освоился в лодке, что начал ходить по бортам — и это, конечно же, вызывало критический крен судна и возмущение всего экипажа.

Но должен же сторожевой пёс обходить вверенную его попечению территорию? А поскольку наш мир сузился до размеров трёхместной байдарки «Таймень» — Луи и пытался обходить этот мир дозором. Очень скоро он дошел до того, что соскользнул в воду: а место было, что называется, «стрёмное» — и мне пришлось хватать его за бороду, чтобы удержать на быстрине возле борта и затем кое-как втащить обратно. После этого случая адмиральская спесь с Луи несколько сбилась и он большую часть времени лежал и дремал на дне лодки.

Когда мы причаливали на стоянку, Луи первым прыгал на сушу и, задрав лапу, метил несколько ближних кустов, обозначая наше присутствие и законное право на место. Пока ставили лагерь, пёс свободно обследовал берег (он вообще жил без поводка), но благоразумно не отходил далеко: кто его знает, что кроется в этой сомнительной дикой природе? Инстинкт зверя и привычка к существованию рядом с людьми сложно смешивались и боролись в душе собаки: иногда это приводило к комическим результатам. Так, я однажды увидел, как пёс что-то почуял сквозь толщу земли и стал яростно рыть яму под корнями сосны. Песок, камни, шишки и рыжая хвоя летели во все стороны; Луи запалённо хрипел; а его перепачканная и оскаленная морда могла бы сделать зайкой того, кто внезапно увидит это страшилище.

И вот в результате неистовых землеройных работ наш Луи откопал крысиное гнездо: на дне осыпавшейся ямы копошилось шесть серо-розовых и очень противных крысят. Казалось бы: вот он, твой ужин, до которого ты с таким пылом дорылся! Стоит несколько раз щёлкнуть зубами (а они, как вы помните, у Луи были словно «на вырост»), как от крысят ничего не останется. Но Луи — это надо же! — оторопел. Он недоумённо смотрел то на крысят, то на меня, словно спрашивая: «Ну и что мне со всем этим делать? Ведь я привык есть из миски, да чтобы первый кусок мне давала с ладони хозяйка — но что-то я сомневаюсь, что она поднесёт мне на ладони крысёнка...»

Я в этом тоже не был уверен и поэтому даже не стал звать Лену. Кончилось тем, что Луи чуть присыпал крысят песком с хвоей — он делал это брезгливо, задними лапами — и потрусил к разговарившему костру, надеясь на порцию гречки с тушёной.

Там, у костра, он обычно и проводил вечера, пока мы готовили ужин и ели, разговаривали и слушали песни (иногда в нашей компании оказывалась гитара) — и пока ночь сгущалась вокруг огня, бросавшего блики на ветви сосен и мокрые днища перевёрнутых лодок. До того чтобы бегать вокруг, охраняя наш лагерь, Луи не снисходил: он считал, что достаточно время от времени приподнимать горячую от огня голову и коротко взлаивать — чтобы ночной лес и ночная река знали о нашем существовании. Но даже с таким нерадивым сторожем было спокойнее: всё же слух и чутьё у Луи были много лучше наших, и он непременно обозначил бы своим грозным лаем чьё-либо приближение из темноты.

Вообще, наши походы с Луи обретали ту полноту, какой в них не было прежде. Пёс становился посредником между нами и дикой природой, был переводчиком, знавшим — хотя и нетвёрдо — два языка: язык человеческих

жестов и слов — и язык тех таинственных шорохов, шелестов, вздохов, на каком говорила природа. И мы видели, как с каждым днём (а особенно с каждой ночью) Луи становился всё ближе к природе, с которой когда-то расстались его отдалённые предки, и эта природа была всё понятней ему. Он уж не вздрагивал, как вначале, от каждого звука или тени — а с жадным, взволнованным интересом внюхивался и вслушивался в тот мир, что звал возвратиться в его первобытные дебри.

Даже внешне Луи становился другим: он мужал с каждым днём, проведённым в походе. Его грозный голос звучал всё реже (к чему напрягать связки и лёгкие по пустякам?), движения делались точными и скупыми (суетятся лишь те, кто в себе не уверен), а шерсть, омытая и дождями, и росами, и купаньем в реке, лоснилась, как дорогие шелка.

И теперь он всё больше любил созерцание. Видимо, те часы, что он проводил в качавшейся лодке, в окружении сложно и непрерывно текущей воды, приоткрыли какие-то новые двери в сознании пса — и он всё чаще предавался тому, что мы, люди, зовём медитацией.

Луи выбирал непременно красивое место — где-нибудь на мостках или над живописным обрывом — садился мордой к реке и застывал, как недвижимое серое изваяние. Он мог сидеть так часами, особенно если мы делали днёвку и никуда не спешили. Вот что, интересно, он думал, что чувствовал, что постигал — пока воды реки текли перед ним, пока солнце плыло по небосклону и пока день взбирался от утра к полудню, а потом начинал незаметно соскальзывать к вечеру? Смысл китайского слова «чань» (или «дзен», как его произносят японцы) был, конечно, Луи неведом; но то, в чём пёс существовал эти часы, было именно созерцанием. Луи так сливался со всем окружающим — с рекою и берегом, соснами и облаками — что сам становился неотъемлемой частью всего. Он был, с одной стороны, почти незаметен; а с другой — мы уже не представляли пейзаж нашей стоянки без этого серого столбика над обрывом, неподвижно следящего за неудержимо текущей водой.

Созерцательности в натуре Луи было столько, что мы порой обращались к нему на китайско-даосский манер: «дядюшка Лу». А один из напитков, как-то удачно составленных нами во время обломного ливня, загнавшего нас в палатку — его компонентами были спирт, бальзам «Рижский» и речная вода — мы так и назвали: «Грёзы дядюшки Лу».

Возвращение к природе, которое происходило с Луи в походах — было одновременно и его возвращением к себе самому. Так, настоящим триумфом Луи стало одно ясное и морозное утро, когда в нём пробудился инстинкт пастуха.

Это было в верховьях Угры. Тот май случился на редкость холодным: за ночь полог палатки так заледенел, что его приходилось с хрустом надламывать, выбираясь наружу. Зато утро было сияющим: сверкала под солнцем река и сверкал иней на приречном лугу, на котором, поодаль от нашего лагеря, паслось два десятка коров. Пастухов было двое, и они, уже спозаранку, достали бутылку: как иначе согреешься в зябкое утро? А коровы словно

почувствовали, что пастухам не до них, и разбрелись кто куда: одни с треском проламывались сквозь ивняк у воды, а другие шумно вздыхали среди сосен недалежного леса. И вот наш Луи (который прежде коров и в глаза-то не видел) вылез из тамбура обледенелой палатки, зевнул во всю пасть, потянулся — и вдруг разглядел, что творилось на заиндевелом лугу. Пёс аж закашлялся от возмущения: да как можно было терпеть, чтоб коровы, забыв стыд и совесть, слонялись, где им захочется? Душа пастуха не стерпела такого бесчинства: Луи с хриплым лаем понёсся по лугу, как бы оплетая коров невидимой нитью своего прихотливого, но при этом рассчитанно-точного бега. Сначала он выгнал тех, что бродили по краю леса; затем отогнал двух коров от реки — и, продолжая затягивать незримую сеть, стал сбивать изумлённо мычащих коров в пёструю чёрно-белую кучу. Забавно было смотреть, как громадные рябые коровы испуганно шарахаются от крошечного, по сравнению с ними, пса — безоговорочно признавая его пастушьи права, закреплённые в родовой памяти и коров, и собак.

Это было великолепное зрелище! Луи и коровы сбивали иней с травы — она зеленела там, где пронёсся стремительный пёс и протопали грузные туши коров — так что скоро весь седой луг был разрисован изумрудными полосами. Солнце сияло, небо синело, пар поднимался над коровьими спинами — и всё это происходило под густой, как шалыпинский бас, торжествующий лай. Кто-то из нас даже зааплодировал: «Браво, Луи!»

А пастухи были словно громом поражены. Они, раскрыв рты, смотрели, как ловко Луи управляет с их стадом — и, кажется, даже забыли о выпивке. Потом один из них встал, пошатнулся и прокричал в мою сторону: «Хозяин, я тебя умоляю: продай нам собаку!»

8

Конечно, Луи не сплачивал нашу семью тем же способом, каким он сбивал в кучу коров на приречном лугу — хоть, может, ему порой и хотелось бы сделать это — но несомненно, что он был своего рода объединяющим центром, к которому устремлялись заботы, мысли, симпатии всех поколений, из которых наша семья состоит. И старые, и молодые любили Луи и не упускали случая обратиться к нему, дружески потрепав по загривку: как, мол, дела, старичок? И хоть Луи был не очень-то разговорчив — но любой из нас вёл беседы с собакой.

Удивительный, если вдуматься, феномен: разговор человека и пса. Вот с кем мы общаемся, когда треплем лохматую морду, заглядывая во внимательные собачьи глаза — в которых мы сами же и отражаемся? Сказать, что это разговор только с собакой, нельзя: хотя бы уже потому, что она не вполне понимает смысл обращённых к ней слов, а внимает лишь звуку и интонации нашего голоса. Но тогда, может быть, обращаясь к собаке, мы говорим сами с собой — а пёс служит всего лишь пассивно-безмолвным свидетелем нашего монолога? Но, согласитесь, и это не вполне так. Вот попробуйте подойти к зеркалу и поговорить по душам со своим отражением. Вы сразу

почувствуете: это далеко не то же самое, что обращаться к внимательному четвероногому собеседнику. Всё же пёс — это не мы сами, а некто «иной»; вот к «иному»-то мы и обращаемся, когда кладём руку на его тёплую холку и бормочем какие-то — заметьте, всегда искренние — слова. В такие минуты мы словно приоткрываем псу свою душу — и отчего-то уверены, что он эту душу и чувствует, и понимает.

Мы, если вдуматься, через собаку обращаемся сразу ко всей бессловесной природе. Она высылает к нам своего «парламентёра», вот этого пса — или это мы сами отсылаем «посла» ей навстречу? — чтобы он стал посредником между природно-естественным миром, оставленным нами когда-то — и нашей искусственной нынешней жизнью. Мы то ли каемся в нашем давнишнем разрыве с природой, то ли убеждаем самих же себя и её (в лице внимательно слушающей нас собаки), что этот разрыв был необходим: хотя бы для осознания смысла того, зачем существуем и мы, и собака, и весь окружающий мир.

Но несомненно, что при разговоре с собакой вибрирует некая нить, которой мы связаны и со всеми иными как бы смотрящими в наши глаза существами — со всеми, в ком теплится жизнь. Мы словно им говорим, через нашу собаку: «тат твам аси» — «ты есть я сам». Да, мы гораздо ближе друг другу, чем это принято думать, и мы все нуждаемся в ласке, заботе, снисхождении и понимании...

Есть и ещё поворот нашей темы — разговоры с собакой — это тот случай, когда разговор превращается в исповедь. Как много услышали наши собаки от нас — хмельных или несчастных, удручённых заботами или впавших в отчаяние — когда мы никому, кроме верных и бессловесных четвероногих друзей, не могли излить свою душу! То ли рядом в тот час не оказалось никого из близких людей, то ли наши признания слишком интимны, то ли ещё по какой-то причине — но порою мы доверяем собакам то, что не решаемся поведать никому иному. «Если б ты знал, какой я подлец!» — говорит, например, человек, обняв своего Тузика или Полкана — а тот, преданно глядя в глаза, бьёт хвостом и словно хочет сказать: «Хозяин, да не убивайся ты так — я люблю тебя даже такого...»

Меня, если честно сказать, удивляет: отчего некоторые из религий относятся к собакам с неприязнью? Так, в иудаизме собака — настолько презренное существо, что даже деньги, вырученные от её продажи, считаются грязными, и их нельзя, скажем, жертвовать храму. Ислам продолжает традицию иудаизма по отношению к собакам: грязнее и недостойнее их считаются разве что свиньи. У мусульман-шиитов запрещено даже касаться собаки: после такого прикосновения надлежит пройти особый обряд очищения.

Индуизм и буддизм, признающие метемпсихоз, учат, что души злых людей переселяются как раз в собак — что, ясное дело, не вызывает почтения к этим животным.

Ещё хорошо, что родное нам христианство, при сдержанном, в целом, отношении к собакам — так, входить в храм им строго запрещено — хотя бы отчасти их реабилитирует. Тут можно вспомнить и то, что в католическом

Средневековые символом духовенства считалась овчарка — как пастырь, оберегающий души вверенных ей овец, — или то, что на гербе ордена св. Доминика изображена собака, в пасти которой мы видим пылающий факел, то есть свет истины. Да и само название ордена доминиканцы трактуют, как «Domini cannes» — «Господни псы». А св. Христофор, чтимый и в католичестве, и в православии, — которого изображают на иконах с собачьей головой? Очевидно, что собака хотя бы допущена в мир христианства — как Божия тварь, на ком отпечатаны мысли Того, Кто её сотворил.

Но выше всего собака вознесена в зороастризме, учении древних ариев. В понятиях этой религии собака почти равна человеку — ибо она обладает бессмертной душой. А души умерших людей находят убежище именно в собаках — с чем связано несколько трогательных ритуалов зороастризма. Так, собак кормят первыми, лучшей едой — ведь это, по сути, кормление предков. К умирающему человеку подносят щенка: чтобы душе после смерти не пришлось долго искать прибежища. И, наконец, собак погребают по тем же правилам, что и людей, — ещё раз подчёркивая их близость.

Конечно, собаки стоят ниже нас на ступенях тварного мира; но кое в чём они могут служить для нас и примером. В известном смысле, собаки относятся к людям так, как нам самим надлежит относиться к Богу: с бескорыстной преданностью и безусловной любовью. Собака нам верит и служит, не рассуждая: что даст ей самой эта вера и преданность и где пролегает граница собачьей любви? А высшее счастье собаки — быть рядом с хозяином: разве это не образец для наших собственных отношений к Отцу, сотворившему видимый и невидимый мир?

Недаром есть шутка, в которой отчасти и выражается то, о чём я рассуждаю. «Господи, — просит хозяин, — пусть я стану таким, каким меня видит моя собака...»

9

Но пора возвратиться к Луи. Наш пёс с годами, конечно, менялся. Первые два-три года жизни он был неутомим и активен. Просторы и вольные нравы Бушмановки позволяли гулять с ним без поводка; и я уставал вертеть головой, следя за Луи, нарезающим стремительные круги меж кустами, деревьями и другими собаками — которых он, кажется, вовсе не замечал в пылу бега.

Случалось, он сопровождал и велосипедные наши прогулки — как его предки, «собаки кучера», сопровождали всадников или кареты — и казалось, что ему не составляет никакого труда нестись вровень с велосипедом по соседней просёлочной колее.

А лыжи? Ведь мы его брали с собой в зимний лес, на лыжные пробежки: даже тогда, когда снег был собаке буквально по уши. Но это Луи не смущало и не останавливало: он пробивался прыжками в глубоком снегу, а серые уши взлетали и опадали, как крылья.

Только примерно к четвёртому году жизни он стал мало-помалу остепеняться. Бездумно-бесцельные гонки его уже не привлекали; разве,

встречаясь во время прогулок с какой-нибудь дружелюбной знакомой собакой, он мог затеять с ней игру в догонялки. Теперь ему интереснее было вынюхивать что-нибудь, рыться в земле, метить свою территорию, задирая заднюю лапу — в общем, вести себя, как солидный и сознающий свою солидность джентльмен. Именно в эту пору мы и обнаружили в нём склонность к задумчивости и созерцательности. То ли он осознал тщету и бессмысленность прежних щенячьих восторгов, то ли в нём поубавилось жизненных сил — но с годами Луи превратился во флегматичного пса, расшевелить которого было непросто. И это при том, что он оставался поджар, мускулист и продолжал вызывать неизменное восхищение прохожих.

Болеет ли наш пёс? Конечно, болеет: ни собаки, ни люди не проживают свой век без хворей. Случалось ему подцепить и пироплазмозных клещей — после чего он мочился кровью, шатался от слабости, и мы спешно везли Луи в ветеринарную клинику. Иногда давал сбой кишечник — чего пёс стыдился, прямо как человек. С годами — ведь его жизнь протекала много быстрее, чем наша, и возраст собаки стремительно обгонял человеческий — пришли возрастные болезни. Глаза помутнились от катаракты — что, к счастью, было не очень заметно из-за густых бровей и не очень мешало псу жить: он и в молодости больше доверял слуху и нюху, нежели зрению.

Перейдя свой жизненный полдень, Луи стал страдать и от болей в суставах. Было видно, как трудно ему подниматься или спускаться по лестнице — это ему-то, который в молодости поражал нас своей неуёмной подвижностью!

Но все свои хвори и боли пёс переносил смиренно и терпеливо, как и положено мудрецу — и редко унижался до поскуливания или визга. Он только вздыхал да покряхтывал — с трудом вылезая, к примеру, из-под журнального столика, где он спал на подстилке, и разминая затёкшие за ночь суставы. «Эх, Луи, совсем ты стал старичок...» — говорил я, бывало, ему, пока пёс, на негнущихся лапах, делал несколько первых шагов.

Артрит, донимавший его всё сильнее, и стал главной причиной того, что в последние два года жизни Луи переселился из нашей квартиры на втором этаже — в квартиру моих родителей, живших на первом. Теперь гулял с ним в основном мой отец. «Прогулки двух патриархов» — так назывался этот этап нашей семейной жизни. Поразительно, до чего они были похожи: мой восьмидесятилетний отец — и седой старый пёс, который в пересчёте с собачьего возраста на человеческий был даже старше отца. Множество раз я наблюдал из окна, как живописный наш двор — в лучах летнего солнца, или под снегопадом, или в осеннем тумане — пересекают подтянутый седобородый старик с безупречной осанкой, шагающий неторопливо и важно — и чуть ли не шаг в шаг с ним, так же солидно и неторопливо, ступает седобородый Луи. Оба они к тому времени плохо видели, плохо слышали, плохо ходили — но это ничуть не мешало величаво-неспешной торжественности их утреннего променада. Два патриарха выходили то на футбольное поле, то останавливались на склоне оврага, над журчащим в ольховой урёме ручьём — и приступали к гимнастическим упражнениям. Отец приседал, наклонялся, сводил-разводил руки — а пёс терпеливо сидел у его ног, и казалось,

что он вот-вот тоже начнёт делать махи лапами, наклоны и приседания. Похоже, патриархи настолько привыкли друг к другу, что уже и не представляли: как можно гулять в одиночестве. Любой свой рассказ о прогулке — о том, что он видел или подумал во время неё — отец начинал словами: «Вот идём мы с Луи...» Вероятно, и пёс, если б мог говорить, начинал бы со слов: «Вот выхожу я утром с Юрием Васильевичем...»

Так что заслуги Луи перед нашей семьёй воистину неопределимы. Мало того, что он её укрепил, и эти скрепы держали целых четырнадцать лет, до самой кончины пса — но он ещё согрел детство Даши и старость её деда, а моего отца: и старым, и малым Луи отдал часть своей собачьей души и жизни.

10

Луи жил достойно — и достойно старел. Хотя он теперь большую часть суток проводил в старческой дреме, просыпаясь лишь для того, чтобы полакать воды, да похрустеть сухим кормом — на прогулках он продолжал оглашать окрестности своим густым басом, как бы напоминая всем: «Аз — есмь!» Да, старый солдат продолжал нести службу — хоть он уже и полысел, и лапы его плохо гнулись, и мышцы ослабли. Голос, выражающий силу собачьего духа, настолько превосходил возможности постаревшего тела, что порой это выглядело трагикомически. Бывало, подслеповатый Луи разглядит что-то крупное — человека, собаку или куст — и рявкнет с такой оглушительной силой, что сам же и падает набок от своего грозного лая...

Прожив на свете четырнадцать лет (а это для средних шнауцеров срок предельный), Луи стал заметно даже не то, что худеть — а вот именно сохнуть. Затылок, который уже не покрывали мощные мышцы загривка, выширал углом, а кости таза и рёбра проступали сквозь поредевшую шерсть. Очевидно, что пса донимала какая-то опухоль. Достаточно скоро она обнаружилась: это была саркома челюсти.

Не буду подробно описывать ни повторявшиеся кровотечения, ни ту сердечную боль, с какой мы наблюдали за последней болезнью Луи, протекавшей быстро и, кажется, безболезненно. Во всяком случае, пёс никак не выражал страданий: лишь в последнюю ночь он позволил себе подвывать, как бы прощаясь с нами и с миром.

Умирал он в тёплый солнечный день, 29 марта, в уже просохшем саду. Я вынес его на руках и уложил на подстилку: чтобы он отошёл в страну вечной охоты не из тесных пределов квартиры, а из весеннего сада, где по ветвям оживлённо сновали синицы, а над сухой прошлогодней травой порхали жёлтые бабочки.

Меня поражало, как пёс, уже в самом конце, пытался снова и снова встать на ноги. Сил у него не осталось — он шатался на подгибавшихся лапах, неспособный сделать ни шага — но непременно хотел встретить смерть стоя. Когда же я, сам не зная зачем, нажимал ему на спину — лежи, мол, лежи, так тебе будет легче! — то ощущал неожиданное сопротивление. Видно, в собачьей душе было что-то такое, что требовало бороться и сохранять достоинство

до последних минут — была сила, которая преодолевала бессилие умиравшего тела.

Наконец он лёг, чтоб уже не вставать — и ветер стал так равнодушно трепать его шерсть, как он может трепать шерсть только мёртвой собаки...

Не знаю, как хоронят собак зороастрийцы — но мы, расставаясь с Луи, как-то произвольно перенесли на этот печальный обряд кое-что от человеческого погребального ритуала. Так, мы не просто засыпали могильную яму землёй — а сделали холмик, на который потом положили гранитный валуны, доселе обозначающий место, где покоятся лёгкие кости Луи.

Остатки сухого собачьего корма, которые наш пёс не успел съесть, я отнёс соседке, прикармливающей бродячих собак: чтобы они, таким образом, помянули собрата. Да и мы, люди — я, отец, мать и Виталий с Наташей, наши добрые друзья и соседи — посидели в тот вечер за поминальною чаркой. И, как это обычно бывает на тризне, сначала вздыхали, печалась о нашей общей потере — а потом даже смеялись, вспоминая забавные случаи, что приключались с Луи.

То есть существование пса продолжалось — но уже в памяти тех, кто его знал и любил. А не в этом ли, в памяти, и остаётся самое важное: то, что одолевает холодное равнодушие смерти и позволяет нам всем — что собакам, что людям — длить посмертное бытие, столь же загадочно-неуловимое, сколь несомненное?

11

На этом можно бы и завершить рассказ о сером шнауцере по кличке Луи — но жаль расставаться и с ним, и с семьёй, в которой он жил сорок лет и которую так укрепил и согрел.

Он ушёл как раз в дни, когда началась пандемия коронавируса, когда привычный мир стал стремительно и необратимо меняться, когда всё поделилось на «до» и «после» — и прошлое стало казаться таким прекрасным, каким может казаться лишь то, с чем мы распрощались.

Но эти же все расставания, пережитые нами в прошлом году, показали нам: прошлое не исчезает. Мало того, что у Бога все живы — «Deus conservat omnia» — но прошлое и встаёт в полный рост лишь после того, как уходит от нас за ту грань, где его уже не терзают суетливые демоны времени.

Разве мы успеваем осмыслить, прочувствовать и вполне полюбить то, среди чего мы живём в настоящем? Мы словно придавлены грузом забот и житейскою «злобою дня» — нам обычно не до того, чтобы вникнуть и вдуматься в суть людей, вещей или явлений. Да и самим этим вещам и явлениям тесно жить в настоящем: они словно не могут, под гнётом времени, ни расправить плеч, ни вдохнуть полной грудью.

И вот только уйдя в «без-время» — мир расцветает. Как значительны, как глубоки вдруг становятся те разговоры и встречи, что остались жить в наших воспоминаниях... Реальность нечасто способна растрогать нас, выжав слезу умиления; зато прошлое делает это легко. Иначе и не сложилась бы

та поговорка, в которой так много печали и мудрости: «Что имеем, не храним — потерявши, плачем».

Иными словами, чтобы вполне увидеть и осознать то хорошее, чем нас одарила судьба — с этим надо расстаться. Разлука в пространстве и времени создаёт напряжение любви и печали — необходимое нам для того, чтобы по-настоящему встретиться с тем, чего больше нет.

Только теперь, вспоминая на этих страницах Луи, я вполне понимаю, каким замечательным был наш серый пёс. Да, он был хитроват и ленив, он не умел гонять кошек — но зато он не причинил вреда никому из живых существ. Он не был охотником или пастухом, он не зарабатывал хлеб, что называется, в поте лица — но он, в меру сил, украшал Божий мир своей статьёй и голосом. Когда все встречные и поперечные приветствовали Луи возгласом: «Какой красавец!» — разве это не делало мир чуть полнее и гармоничнее?

А уж для нашей семьи Луи был просто сокровищем. Кто согрел детство Даши и старость отца? Кто, как серый громоотвод, порой гасил напряжение, что копилось меж нами с Еленой и могло вот-вот разродиться грозой? Всем своим мудрым и меланхолическим видом Луи словно нам говорил: «Да бросьте вы лаяться по пустякам! Не мешайте мне спать: уж я-то знаю, насколько бессмысленны ваши мелкие ссоры...»

Да, Луи был прекрасен своей флегматичною мудростью и равнодушием к пище, своей деликатной застенчивостью и терпеливостью в хворях — теми чертами собачьей натуры, что были бы, прямо скажем, нелишними и для человека.

И столь же прекрасна — теперь я вполне это вижу и сознаю — была и семья, в которой жил пёс. В этой семье были общие будни и праздники, были вечерние чтения и обсуждения книг — кто может похвастаться тем, что в его семье вслух прочитали «Войну и мир»? — были байдарочные походы, каждый из которых разворачивался в целую жизнь, бесконечно богатую и интересную, были общие тренировки в бассейне (давненько мы, Даша, не плавали тест Купера!), были велопоходы по живописным окрестностям нашей Калуги, были новогодние ёлки (которые Луи, помнится, не очень любил: потому что нарядная ёлка на целые две недели вытесняла пса с привычного места), и было ещё множество больших и малых событий, из которых и состояла счастливая жизнь нашей семьи.

Эта жизнь вполне состоялась ещё и потому, что теперь она в прошлом. Она перешла в мир без времени — тот, где ей ничто больше не угрожает. В том же мире, надеюсь, живёт и Луи — серый лохматый пёс, обнимая которого по утрам, десятилетняя Даша расплывалась в счастливой улыбке и говорила: «Луи пахнет мёдом...»



Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Валерьевич Кузнецов — поэт, журналист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал тележурналистом, пресс-секретарём, в настоящее время — главный редактор журнала «Калужское наследие». Автор стихотворных книг «Русская рулетка», «Белый марш», «Империя». Лауреат литературной премии им. генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля (Врангелевская премия). Живёт в Калуге.

ЗВУЧАНИЕ ВРЕМЕНИ

(стихи о музыке)

* * *

Круговоротом Вечности влеком,
Подлунный мир то спит,
то пробуждается.
Мелодия становится цветком,
А из цветов симфония рождается.
И там, где, в долгий сон погружены,
Ждут души своего предназначения —
Ни вечной тьмы, ни вечной тишины,
Лишь бесконечной музыки течение.

Моцарт

Ветер беснуется.
В даль пурга
Гонит девятый вал.
Узкие улицы
Зальцбурга,
Дьявольский карнавал.
Дикая музыка
Бьётся там
Спятившим палачом,
Над семилетним
Моцартом
Вспыхивая мечом.
Творчество — счастье.

Творчество — грех.
В сумрачном свете я
Вижу:
Несутся из всех прорех
В крыше столетия
Белые ноты,
Как белый снег, —
Мир белизной проshit,
Будто бы
Кто-то
Ломает век
И над землёй крошит.
Музыка рвётся,
Кричит,
Хрипит
Тысячью голосов.
Маленький Моцарт
Всю ночь не спит,
Слыша стихии зов.
И, наблюдая
Небесный Свет
Сквозь неземную тьму,
Моцарт смеётся
Грозе в ответ,
Издали ему
Чудится вид
Острове́рхих крыш

Волнами за бортом.
 Долго стоит
 У окна малыш,
 Слушает,
 А потом...
 Он осторожно
 Уходит прочь
 В яростном гуле тьмы.
 Моцарту можно
 Не спать всю ночь,
 Если уснули мы.
 Солнце вернётся,
 Замкнёт гроза
 Огненный эмпирей,
 Зальцбург
 Проснётся,
 Протрёт глаза
 Окон и фонарей,
 Ловко скрывая
 Следы ночных
 Призраков
 В тень знамён,
 Не узнавая
 Среди иных
 Гения
 Всех
 Времён.

Сюита Генделя

Через сплетенье тонких вен деля
 Мир на контрастные тона,
 Тревожит кровь сюита Генделя
 В плену болезненного сна.
 Сменив лечение пуританское
 На блеск эпохи Рококо,
 Она, как острое шампанское,
 Пьянит божественно легко.
 И от неё все беды рушатся
 В глубины жизненной реки:
 Смычки взлетают, тени кружатся,
 Белеют пудрой парики.
 А в трёх веках, сюитой связанных,
 Пронзают, словно остриё,
 Прохлада слов, тобою сказанных,

Дыханье лёгкое твоё.
 Любовь и смерть — чересполосица!
 И в ночь, где звёзды-угольки,
 Сюита Генделя уносится
 По волнам жизненной реки.

Иллюзия

*Меня до сих пор упрекают в том, что
 я подчиняюсь иллюзиям. Но если я до сих
 пор существую, то лишь благодаря своей
 ступе смотреть сквозь очевидное...*

В среде, где холод неизбежный
 Порой и резок и жесток,
 Она прелестна, словно нежный,
 Едва раскрывшийся цветок.
 Ещё не женщина — ребёнок.
 Но только бросит взгляд живой,
 Мелькает в нём, пуглив и тонок,
 Кокетства лучик роковой.
 И, как гармония в балете,
 Поэзия таится в ней,
 Пока реальность тонет в Лете
 Среди тоскующих теней.
 Пусть мир рассыплется на крошки,
 Я буду счастлив до конца
 Тем, что божественные ножки
 Живут в симфонии Творца!

* * *

Как грёза, длится странное звучание:
 Когда слова глотает тишина,
 От звёзд струится музыка молчания
 И в комнату влетает из окна.

Одетта

Тихой музыкой слышится где-то:
 Если голос Любви позовёт,
 Белокрылая лебедь Одетта
 В тонкой девочке вдруг оживёт.
 Но опять в море лунного света
 Льётся пение чувственной лжи,
 И за окнами бьётся Одетта,
 Разбивая крылом витражи.

* * *

Как птицы, улетавшие за море,
Вернулись с наступленьем тепла,
Мелодия, застывшая в мраморе,
Симфонией любви ожила.
Божественность волшебного случая
Недаром возникает в судьбе,
И мраморные эти созвучия —
Есть зримая мечта о тебе.

Скрипачка

Где, что ни вечер, тени зыбки,
Где тает свет в потоке дней,
Играла девочка на скрипке
И мир менялся перед ней.
Над веком пороха и стали
Кружилась музыка волчком,
И пальцы тонкие взлетали
С почти невидимым смычком.
Я, не дыша, не отрываясь,
Смотрел на таинство игры,
Цвели, рождаясь и взвиваясь,
Непостижимые миры.
Казалось, быстрому этюду
Подвластна времени коса,—
Ну, как теперь не верить чуду,
Что нам даруют Небеса?!

Grand Opera

Пока увертюра играет,
Взлетает сонаты волна,
Девчонка судьбу выбирает,
Но вовсе не знает она,
Что жизнь,
Где сверкают витрины
И тускло блещат зеркала —
Мгновенный прыжок балерины
Над сценой,
Над гладью стекла,
Над алыми кромками блицев
На лицах, что в масках таят,
Над тонкими жалами шприцев,

Вливающих ласковый яд,
Над сетью путей и дорожек
В столетье, чей знак — лабиринт...
...Божественны линии ножек,
Безжалостен времени винт.

* * *

В лукавом блеске красоты
Слова, как музыка, звучали:
По белым клавишам мечты,
По чёрным клавишам печали
Скользили пальцы ваших рук...
Пылали свечи ресторана,
Обворожительно и странно
Мерцало золото вокруг,
Когда касались vis-a-vis
Судьбы прозрачные одежды
То чёрных клавишей любви,
То белых клавишей надежды.

Скрипка и барабан

Жизнь бывает муторной и странной,
Но, решая быть или не быть,
Голос скрипки в дробь барабанной
Мы не можем, не хотим забыть.
Догорело сумрачное пламя
Жадных инквизиторских костров,
Истрепалось, потускнело знамя
Гордых разрушителей миров.
Новые века раскрыли двери
Новым поколениям людей.
Но — остались Моцарт и Сальери,
Но — остались гений и злодей.
Снова зависть, золотая рыбка,
Тянет нас в заманчивую топь,
И лишь только умолкает скрипка,
Слышится воинственная дробь.
Правят миром ангелы и волки,
Только вместе им не выжить тут:
Скрипка, ты, пожалуйста, не молкни,—
Смолкнешь ты, и ангелы уйдут.
Под завесой красного тумана
Дробью сокрушая времена,

Вылезет из чрева барабана
 Лютая последняя война.
 Разлетится время на осколки,
 На осколки будущих веков...
 Скрипка, ты, пожалуйста, не молкни
 В мире барабанов и волков.

Ночная флейта

Когда порою предрассветной
 Метель заносит города,
 Когда любовью безответной
 Мерцает синяя звезда,
 Когда надрывно и тревожно
 С трудом скрипит земная ось,
 Когда продолжить невозможно
 То, что навек оборвалось,
 Тогда... я слышу тихий, дальний
 Чудесный зов, волшебный звук:
 Волна мелодии хрустальной
 Из тесной мглы душевных мук,
 Как раскалённая комета,
 Влечёт к незримой высоте
 Созвучьем нот, строфой поэта,
 Кипеньем красок на холсте.
 В такие странные минуты,
 От потрясенья чуть дыша,
 Я понимаю, что кому-то
 Ещё нужна моя душа...
 И если слышен голос чей-то
 За тёмно-синей пеленой,
 Когда поёт ночная флейта,
 Стихи и музыка — со мной.

Декаданс

В такую ночь поверишь даже
 Фантому блоковских причуд,
 Пока звучит на вернисаже
 Академический этюд.
 И, веку царскому не ровня,
 Век нынешний являет вдруг:
 Старинный мост, огни, часовню,
 Полуослепший лунный круг.

Кто эти двое — люди, тени —
 Несутся через снег и мрак?
 Здесь от потерь и обретений
 До скрытой бездны только шаг.
 Здесь миг победы, словно яма,
 И лёд — в глазах у жениха,
 И шпага в грудь летит упрямо,
 Пронзая хладные меха.

Симфония

В 1920 году в голодном, раздавленном красным террором Петрограде, перед самой эмиграцией, знаменитый художник Николай Петрович Богданов-Бельский пишет картину «Симфония», в центре которой — рояль и четыре девушки в белых платьях.

В синем сумраке утра апрельского,
 В зимнем свете вечерних минут,
 На картине Богданова-Бельского
 Эти девушки вечно живут.
 Где-то дымом равнины застелены,
 Где-то ужас застенки таят,
 А они навсегда, нерасстреляны,
 На картине бессмертной стоят.
 Свечи тонкие тают и плавятся,
 Звуки-шорохи еле слышны.
 У рояля — четыре красавицы,
 Как четыре Великих княжны.
 Миг! И музыка вылетит с клавишей,
 Исчезая за хрупким стеклом,
 Ничего на земле не исправивши,
 Только души пронзая теплом.

Eleanor Rigby

Ночь беззвёздная — рай для вора,
 Только тускло окно горит.
 Смотрит миссис Элеонора
 В бездну чёрную Broad Street.
 Лондон вымерший весь в тумане,
 Шлюзы улиц закрыты мглой,
 Словно в пьесе или романе,
 Что прочитан и — с глаз долой.

И не постигли
мы
за столетье
ответа,
где род наш
утешит
покой?!
Eleanor Rigby —
муза,
как плетью,
поэта
наотмашь
бьёт свежей
строкой.
Мистика
песни –
глупо ли,
строго ли,
чёрту ли,
Богу ли
служит она?!
Песней
воскресни —
мудрый ли,
гордый ли,
сильный ли,
стёртый ли
в ужасе сна!
Это Вселенная разлита,
Будто чернила под пером,
Это Луна глядит убито,
Это тоску заливают ром.
Это глас неземного хора
Рвёт сознание в тишине,
Это миссис Элеонора
Шпагу в сердце вонзает мне.

Музыка и власть

Случилось так: ещё не старый
И не успевший поседеть,
Великий князь владел гитарой,
Но царством не желал владеть.
Он жить хотел без позументов,

Без пошлой славы и вранья.
Вот чем порой от президентов
Так отличаются князья.

Отзвук полонеза

День, тот самый, что века дольше,
Взором девичьим смотрит в сад,
Словно барышня старой Польши
Два столетья тому назад
В парке Лодзя или Варшавы,
В древней вотчине, в прошлом сне,
Где томительно пахнут травы,
Тонет солнце в речной волне.
На единственное мгновенье
Здесь, за призрачную стеной,
Двух веков роковые звенья
Расковались, и предо мной,
Как сверкающая секира,
Сквозь забытых времён пласты
Вспыхнул образ иного мира
И неведомой красоты.
Нет у странной мечты оттенка,
Только тихий, печальный свет,
Им сиятельная паненка
Словно манит из давних лет.
А куда? Не поймёшь, не спросишь,
Но душою за ней идёшь.
И видение не отбросишь
И забвение не найдёшь...

Romance

Мгновенный дождь волшебными слезами
Скользнёт по стёклам,
Пролетит, звеня.
И снова звёзды вашими глазами
С ночного неба смотрят на меня.
Далёкие, рассветно-неземные —
Спокойны и чисты, как бирюза...
Что перед ними прочие, иные
Зелёные и карие глаза?!
Я знаю, там,
В бескрайности Вселенной,

Не оберег они, не талисман,
 Но вспышка тайной боли сокровенной,
 Светящей сквозь космический туман.
 И я живу, как раненый в атаке
 Живёт с осколком долгие года,
 А если взгляд теряется во мраке,
 Шепчу: — Гори, гори, моя звезда!
 Всё меньше света в сумраке осеннем...
 Не проще ли забыть о той звезде?
 — Гори, гори!
 Ты станешь мне спасеньем,
 Когда не будет помощи нигде.
 И если волны горечи и яда
 Нахлынут жадно стаей тёмных лет,
 Меня лучи подаренного взгляда,
 Как Ариадна, выведут на свет.

Ночной блюз

Резкий запах дешёвого виски,
 Лампионов мерцающий ряд,
 И до боли, до судорог близки
 Утомлённые губы и взгляд...
 Миг, другой... и душа — не моя ли? —
 Рухнет в чёрный распахнутый шлюз,
 Если та, что сидит у рояля
 Вдруг завоет мучительный блюз.
 Старый ниггер в засаленном фраке
 Будет звуки дробить, а она
 Всю себя истерзает во мраке
 Ресторанного скользкого дна,
 Чтобы, будто сливаясь со смогом
 Над унылой шестой авеню,
 Всё хрипеть и хрипеть о высоком,
 О далёком, о том, что храню
 В подсознании, не разумея
 Ни черта на чужом языке...
 ... Чьи-то мутные тени, как змеи,
 Изгибаются на потолке.
 Но узнать никого не надейся,
 Просто в память свою запиши:
 Это — музыка Тома Уэйтса,
 Это — сорванный голос души.


Колесо судьбы

Памяти Роальда Мандельштама

И хоть служи царю Гороху,
 И хоть бунтуй против него,
 Рождённым не в свою эпоху
 С небес не светит ничего.
 Среди житейской панорамы,
 Где звёзды мелкие горят,
 На нас решительные дамы
 И не поднимут гордый взгляд.
 Покуда львы и леопарды
 Пленяют светских кобылиц,
 Нам в тихом сумраке мансарды
 Сидеть над ворохом страниц,
 Чтоб в неустроенности быта
 У грани зыбкой пустоты
 Душа была не позабыта,
 Вливаясь в ноты и холсты,
 Чтоб, загораясь на востоке
 Огнями солнечных морей,
 Нам поэтические строки
 Срывали чувства с якорей.
 К последнему земному вздоху
 Судьбой проложены пути.
 Рождённым не в свою эпоху
 Другой эпохи не найти.

* * *

...Но есть минуты в этом мире,
 Когда чуть слышно, как во сне,
 Беспечный ангел на клавире
 Играет где-то в вышине.
 Стихия музыки небесной
 Летит незримою волной,
 Струится звоном
 в день воскресный,
 Капелью падает ночной.
 Нежна, как летняя прохлада,
 Светла, как детские мечты,
 Она — последняя отрада
 Среди гремящей пустоты.



Ольга Петровна Ключкина — прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Лауреат премии им. В. Д. Берестова, дипломант XI Международного Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь» 2020 года. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

РИМСКИЙ ЗАЛ

Рассказ-мозаика

— Буду ждать тебя в римском зале, возле волчицы!

В Пушкинском музее в детстве я только и запомнила эту чёрную волчицу. Куда только родители меня ни водили: в египетский зал с жуткими мумиями и саркофагами, смотреть на картины в золочёных рамках (там я упорно глядела под ноги — вдруг от какой-нибудь кусочек золота отвалится), вверх и вниз по длинным лестницам... Ничего мне не запомнилось, кроме римской волчицы — доброй как собака. У неё был такой взгляд, словно она просила, чтобы её приласкали и погладили за ухом.

Украдкой я потрогала пальцем чёрные завитки на шее волчицы, её выступающие рёбра и удивилась: они были тёплые! Моя волчица только притворялась музейным экспонатом, а на самом деле была живая и нарочно стояла неподвижно, чтобы никто не догадался. Тогда я достала из кармана конфету, но когда хотела засунуть её в приоткрытую улыбочивую пасть, услышала окрик за спиной: «Руками не трогать!»

— Погоди, возле какой волчицы? — переспросила Маринка.

— В римском зале. Спросишь на входе.

Исторически так сложилось, что приезжая в Москву, я первым звоню Маринке, самой близкой подруге с юношеских бурных лет, и мы встречаемся в каком-нибудь интересном месте: в музее или на выставке. Но последний раз в Третьяковке мне не понравилось. Конечно, я знала, что после операции Маринка стала верующей, но всё же оказалась не готова, когда в зале древнерусского искусства она перед каждой иконой стала падать на колени и подолгу креститься. Иностранцы показывали на нас пальцами и фотографировали, а Маринку это как будто только ещё больше подзадоривало...

Поэтому сегодня я предусмотрительно назначила встречу в Пушкинском.

Моя волчица была на прежнем месте, разве немного уменьшилась в размерах. Она даже показалась мне постаревшей и ещё более доверчивой. Привет, подруга!

Чтобы скоротать время, я стала ходить по римскому залу, разглядывая мраморные головы на подставках и фигуры в полный рост. Интересно, откуда я могу знать этого старого римлянина, женщину с большим выпуклым лбом, юношу с надменно поджатыми губами? Как будто я их всех прежде встречала... Интересно, когда? Тысячу лет назад?

«...Вы просили примеры античной демократии, — услышала я за спиной голос экскурсовода. — В Древнем Риме любой человек мог встать на возвышение и обратиться с речью к прохожим — и это никого не удивляло. Попробовали бы вы сейчас так в Москве...»

УЛИЧНЫЙ ОРАТОР

Возлегая за утренней трапезой, Постум вдруг плавно взмахнул рукой и заговорил. При этом он обращался не к жене, а к столику из лимонного дерева, заваленному свитками:

— ...Природа не случайно создала животных склонёнными к земле и покорными животу. Но не таков человек! Он ходит на двух ногах, а не на четырёх, и не должен жить безвестно, подобно скотине...

Постумия молча жевала ячменную лепёшку. Она всегда любила простой хлеб, даже когда был выбор. Особенно, если макнуть кусочек в оливковое масло с зеленью и подождать, чтобы он хорошенько пропитался. И как только люди могут есть пустые овощи, даже маслицем не сбрызнут?

Постумия жалостливо вздохнула — вышло неожиданно шумно, с одышкой.

— Юпитер Громовержец, награди меня терпением! — резко повернулся к ней Постум. — Ты опять не слушаешь меня? Старая спящая корова... Когда же ты, наконец, наешься?

Карие и почему-то всегда влажные глаза Постумии, словно она собирается вот-вот всплакнуть, остановились на муже. Сам-то он с утра и крошки в рот не взял, а только говорит, говорит, говорит... Совсем в последнее время исхудал, иссохся, так бы весь и поместился у неё под мышкой. Да куда там, разве усидит! Хотя бы гневный румянец на щеках делает его не похожим на загробного выходца.

Постум презрительно взглянул на розовую, в больших мягких складках шею жены, её жующие щёки и произнёс с горечью:

— О, боги, почему вы дали мне в жёны это жвачное, бессмысленное животное! Дочь лавочника, сестра лавочника... Постумия, может, ты ещё и оглохла на старости лет? Ты хоть слышала, о чём я говорил?

— Каждое слово, любовь моя, — отозвалась Постумия, на какое-то время прекращая жевать. Но с набитыми щеками и виноватыми коровьими глазами у неё был ещё более глупый вид.

— О, слепая, безрассудная юность! Неужто до самой смерти мне выплачивать тебе долги с процентами?

С этими словами Постум с юношеской прытью вскочил с ложа, схватил со столика свиток с красным ярлычком и выбежал из дома. Впрочем, ещё утром, когда муж попросил принести ему лучшую тогу, Постумия знала, что он пойдёт на площадь, и заранее смазала себе больные колени бараньим жиром.

* * *

— Кого я вижу? Опять ты? — огорчённо воскликнул Тит, едва Постумия переступила порог его лавки. — Долго это будет продолжаться, сестрица? Ты совсем обезумела на старости лет! Ты добра без меры.

Они с братом с детства были похожи: оба высокие, дородные, с волоокиными глазами. Только с возрастом Постумия раздалась боками вширь, а у Тита округлился и выпятился живот, но если сложить их вместе — видно, что родня, одна кровь.

Постумия молча смотрела брату в глаза, одной рукой заправляя под накидку растрепавшуюся от ходьбы прядь седых волос. Пусть вспомнит, что она — старшая в семье, на целых семнадцать лет его старше, и не больно-то сладко ей было в юные годы нянчить орущего в колыбели Тита. Или он уже забыл, кто помог их отцу устроить почти даровые поставки миндаля с Востока? И пока Постум служил в префектуре, никто не называл её безумной. Легко же теперь Титу на всём готовеньком...

— Ты знаешь меня, Постумия, я всегда говорю прямо, как есть, — вздохнул Тит, сделав самое сердитое лицо, на какое был способен. — Сначала ты приходила раз в месяц, потом каждые календы, а теперь чуть ли не каждый день повадилась. Мне не жаль для тебя сладостей, хоть Везувий их съешь, ты для меня ты как мать. Но над тобой уже весь Рим смеётся!..

Он бы и дальше продолжал в том же духе, но в лавку не вовремя забежал его младший сынишка. При виде тётушки Геркул заулыбался во весь свой щербатый рот, бросился обниматься и ластиться к Постумии.

И Тит сразу вспомнил, что у сестры нет и никогда не было своих детей, а всю свою доброту она потратила на него, племянников и своего безмозлого, болтливого мужа, который не сумел удержаться ни на одной службе.

— Где ты болтался всё утро, Геркул? Дождёшься у меня, бездельник, уже в этом году пойдёшь в школу! — прикрикнул Тит на сына, чтобы не смотреть на сестру, у которой под веками подозрительно заблестело. — Эх, лучше бы ты, Постумия, сделала из моих глаз бусы, чтобы не видеть теперь твоего позора. Так и быть, насыплю тебе имбирного, его что-то плохо берут...

Как только брат скрылся в складском помещении, Постумия вытерла глаза, отстранила от себя племянника и заговорила низким, грудным голосом:

— Сбегай к Тибуртинским воротам, там всегда полно бродяг, и не забудь про безногого инвалида возле Фонтана львов. Хороших бы актёров, да где их возмёшь задёшево? И не кричи во всё горло, как прошлый раз: «Постумия даром раздаёт печенье!» Предупреди всех, чтобы не плевались,

не сморкались и слушали с открытыми глазами. Ты хорошо запомнил, Геркул, или повторить?

— Я мигом всех шоберу, — прошепелявил мальчик, тиская тёплые и мягкие руки Постумии. — Ты так шккладно говоришь, тётя. Тебе бы в шенате выступать.

* * *

Постум стоял на обломке от мраморной колонны, обращаясь к римлянам: — ...Совсем не то... наши благородные предки! На смену труду... пришла лень, на смену сдержанности ... необузданность... Прежде римляне жили, не зная честолюбия... но теперь нравы изменились...

Прохожие даже не поворачивали головы в сторону уличного оратора, спеша по своим делам. Но вот возле Постума остановился безногий инвалид и стал слушать, опираясь на костыль. Из-за угла стайкой проворных сардинок вывернули авентинские мальчишки, да и застыли, словно пойманные в невидимые сети.

— Послушайте меня, римляне! — с возрастающим воодушевлением воскликнул Постум. — Юнцом меня охватила жажда деятельности на благо государства. И что встретил я на этом пути? Вместо совестливости и доблести — наглость и подкупы, алчность и злобу. В окружении столь тяжких пороков моя неокрепшая молодость тоже оказалась не чужда тщеславия. Я искал славы, всеобщего внимания, преклонения, но зато теперь...

«И чего он себя так в грудь колотит? Опять ведь закашляется, — волновалась спрятавшаяся за колонной Постумия. — Не пришлось бы лекаря звать...»

На фоне мраморных статуй фонтана Постум казался совсем маленьким, детского росточка, и жёлтым, как птенец. Как же она с ним устала! В прежние времена, когда к мужу ходили ученики, он хотя бы не бегал каждый день на площадь, а читал им дома свои свитки.

Уличный оратор закончил выступление: раздались редкие хлопки, кто-то помог ему спуститься с камня. Муж прошёл совсем близко от Постумии — маленький, гордо выпятив грудь, с победоносно поджатыми губами. Пойдёт теперь к кому-нибудь из прежних товарищей похвастаться удачным выступлением, а за ужином будет его пересказывать, снова волноваться, кричать, требовать внимания...

Дождавшись, когда муж скроется за углом, Постумия вперевалочку подошла к фонтану и стала раздавать слушателям имбирное печенье. Она зорко наблюдала из своего укрытия, кто сегодня хлопал добросовестно, а кто отворачивался или зевал, и всем делила по справедливости. Мальчишкам — ровно столько, сколько каждый мог унести в горсти, безногому инвалиду давала побольше, всё-таки он когда-то воевал за Рим.

Сегодня Постумия заметила в толпе незнакомого юношу, который стоял немного в стороне и что-то писал на табличке. Он был точно не из авентинских, похоже, что приезжий. Постумия робко, бочком подошла к незнакомцу и протянула ему всю корзину — пусть берёт, сколько захочет, вдруг проголодался с дороги. Но юноша даже не посмотрел на печенье.

— Ты не знаешь, где живёт этот оратор? — спросил он, кивая на угол дома, за которым только что скрылся Постум. — Он так быстро убежал... Я ищу себе учителя в Риме. Хотел бы я знать, сколько он берёт за уроки риторики?

* * *

Маринка опаздывала. На всякий случай я отправила ей смс-ку: «Зал 25. Капитолийская волчица», но ответа не было. Ничего не поделаешь, придётся ждать и кругами ходить по римскому залу.

ЖЕНЩИНА В ОЖЕРЕЛЬЕ

Фригия вышла из дома и всей кожей почувствовала: что-то не так, совсем не так.

Сколько раз она представляла в деревне, как приезжает в Рим, наряжается в самую красивую одежду и идёт гулять по городу. Одна, полная благородства и достоинства молодая матрона...

Но теперь Фригия растерянно оглядывалась по сторонам, не зная, что и подумать. За последние годы Рим изменился до неузнаваемости: новые дома словно состязались друг с другом в роскоши, прохожие были разодеты как на праздник.

Лишь дойдя до Большого Цирка, Фригия поняла, в чём дело: на неё никто не обращал внимания! Прежде мужчины на улицах провожали её взглядами, подмигивали, хватали за руки, а самые нахальные норовили дотронуться до обнажённого плеча. И не потому, что Фригия была красавицей, даже наоборот. Просто она родилась в Риме — и Рим её любил!

Но оказывается, римлянки больше не носили гладких волос, собранных корзиночкой на затылке, разве что старухи. Да и всё у неё было каким-то старомодным, глупым, неуместным: одежда, украшения, даже эта походка мелкими шажками, как у гусыни.

Остановившись возле фонтана, Фригия помочила палец и накрутила на него выбившуюся из-за уха прядь — получилось жалкое подобие локона. Потом побрызгала водой на плечи — и ещё больше расстроилась. От сельской жизни она сделалась чёрной, как рабыня, руки — словно подгоревшие хлебные корки, волосы выгорели и порыжели на солнце.

Неожиданно Фригия заметила, что за ней наблюдает молодой мужчина: стройный, с крепкими загорелыми ногами. Незнакомец наклонился, чтобы напиться воды из фонтана, но при этом не сводил с Фригии глаз и прикасался губами к бронзовой рыбьей пасти так, словно на что-то намекал.

Когда Фригия ещё раз посмотрела в его сторону, мужчина уже стоял рядом.

— Какая приятная и почётная встреча! — сказал он с непринуждённой весёлостью. — Могу угадать, госпожа: ты недавно вернулась из Африки. С мужем либо с богатым покровителем.

— С мужем, — строго ответила Фригия, сдвинув брови.

— А не желает ли твой благородный муж заказать твой портрет на камее? Могу устроить недорого, у лучших ювелиров в Риме.

— Он у меня не любитель украшений.

В четырнадцать лет родители выдали Фригию замуж за вдовца Верия Мансу, почти втрое её старше, и не могли нарадоваться. Как же, уважаемый человек, управляющий загородным имением богатого римского патриция. Сразу же после свадьбы муж увёз Фригию из Рима в имение под Капуи — разводить овец, следить за хозяйскими мельницами, сыроварнями и маслобойнями. Вот какую судьбу приготовила для неё насмешница Фортуна!

— У тебя красивая шея. На такой шее надо носить ожерелье. Я знаю человека, который почти задаром сделает для тебя ожерелье из крупного камня, — продолжал мужчина, беззастенчиво разглядывая Фригию.

— Из булыжников? Я вроде пока что не утопленница, — хмыкнула Фригия, сама удивляясь, что у неё стал развязываться язык.

Ну, конечно, она вспомнила: незнакомец напоминал ей Децила, молоденького красильщика, в которого она в юности была влюблена без памяти. Девушки шутили с Децилом через открытое окно, когда он, приплясывая и весело кривляясь, мял ногами ткани, и вода в большом чане становилась то пурпурной, то цвета неба... Старый, жалкий вор, вот кто её муж! Высмотрел на празднике, да и украл её разноцветную юность.

— К твоей загорелой коже, моя добрая богиня, подойдёт жемчуг вот такого размера, — продолжал незнакомец, показывая на свой отполированный до блеска ноготь.

Он был одет в белую, без единого пятнышка, тунику, великолепно подстрижен и благоухал дорогими благовониями. Тёмные глаза с поволокой — как две вкусные перезревшие маслины.

— Шёл бы ты, приятель, в другом месте ловить мышей! — выпалила ему в лицо Фригия — и сама же расстроилась. Слова, которые она прежде всегда говорила в ответ на уличные домогательства, прозвучали по-деревенски вульгарно и грубо. Проклятая Капуя, поля с репьями, глупые жирные овцы и бараны — вот кто её дружки и подружки!

— Кто ты... потомок Венеры по мужской линии? — спросила Фригия, чтобы хоть как-то сгладить неловкость.

— Моё имя — Леонард, для тебя — Лео.

— И чем же ты, Леонард, занимаешься в Риме?

— Ничем. Живу в своё удовольствие. И помогаю жить другим.

— Выходит, ты у нас лентяй? — хрипловато рассмеялась Фригия собственной шутке.

Они с мужем изо дня в день выбивались из сил, лишь бы угодить хозяину, изредка заезжавшему в загородное имение. Да и как иначе?

— Пусть бык работает, пусть осёл работает, пусть раб работает, — произнёс Лео как заклинание. — Человек создан для другого.

— И для чего, если не секрет?

— Для красоты и любви, моя госпожа.

— Ой, догадалась: ты — сводник! — прыснула Фригия.

— Можно сказать и так, — снисходительно улыбнулся Лео. — Я и впрямь знаю всех людей в Риме, и когда свожу их между собой, кое-что с этого имею. Прибыль — вот, Удача, твоё второе имя!

— Хочешь сказать, чесать языком — прибыльное дельце? Нельзя же до старости оставаться цыплёнком, да и одной красотой сыт не будешь, — вспомнила Фригия любимые мужнины поговорки.

— О чём ты, моя госпожа? Я с утра съел грушу — и до сих пор сыт.

— Вот бы наши рабы просили столько же, — засмеялась Фригия, — они бы уж и ноги не таскали.

У неё даже губы заболели с непривычки, как в юности, когда она через окно пересмеивалась с Децилом.

— Разве я слаб? Посмотри на меня, — согнул Лео в локте бронзовую от загара руку. — Половина римлян умирает от ожорства, вторая половина — из-за того, что работают, как волю. Я держусь золотой середины. Мне надо жить долго.

— Зачем тебе?

— Хочу посмотреть, к чему всё придёт. Куда катится мир.

— Сроду не встречала таких, как ты, Леонард, — удивлённо сказала Фригия. — Ноги как у мальчика, а рассуждаешь как старик. Сколько же тебе годков?

— Уж не моложе тебя, моя добрая госпожа. Тебе, должно быть, сорок?

Фригия хотела возразить, что ей всего лишь тридцать два, но не могла сообразить, что лучше: признаться, что она выглядит старше своих лет или пусть думает о ней, как о сорокалетней старухе?

— Надо же, ты сохранился, как юноша, — покачала головой Фригия. — Заболталась я тут с тобой.

Внезапно она решила, что пора возвращаться домой. Всё, хватит дразнить гусей и смешить людей...

— Позволь мне проводить тебя до дома, моя госпожа, — предложил Лео в том же непринуждённом тоне. — В Риме легко заблудиться.

— Слуги увидят. Скажут мужу, я была не одна...

— Но ведь ты не бросишь в меня сандалий, если я пойду следом?

Теперь Фригия спиной чувствовала, что Лео не отстанет от неё в уличной толпе.

По дороге ей встретился светловолосый мальчик — красивый, как юный бог. Он прижимал к груди грязного белого котёнка, словно нёс какое-то сокровище.

И Фригия привычно стала думать о том, кого бы она хотела родить: мальчика или девочку? У мужа есть трое взрослых сыновей-лоботрясов от первой жены, ему никто не нужен, а ей-то что дальше делать со своей жизнью? Муж даже уже и не смотрит на неё, а бегаёт по молоденьким рабыням.

Лео по-прежнему шёл следом, и Фригия загадала: если он не отстанет до колонны Траяна, пожалуй, она остановится и снова с ним заговорит.

* * *

Громко топая и запыхавшись, Верий Манса вбежал в комнату и остолбенел.

Фригия держала в руке серебряное зеркало, принадлежащее жене патриция, и расчёсывала волосы. На столике перед ней теснились хозяйские флакончики с духами и створки от раковин, наполненные всевозможными притираниями, в чашечках на мраморном полу курились благовония.

Задохнувшись от бега и пахучего дыма, Верий какое-то время с раскрытым ртом изумлённо разглядывал жену.

— Эй... Что это ты? Что с тобой? Что ты делаешь? — окликнул он её наконец.

— Сам не видишь? Новую причёску, — отозвалась Фригия, разглядывая себя в зеркале.

— Сейчас же, я сказал. Сию минуту, положи всё на место... Я должен с тобой поговорить!

— Говори, я тебя слышу. Что-нибудь случилось?

— Да, случилось. Именно, случилось. Потому-то я и здесь, что случилось, — по привычке торопливо и сбивчиво, словно боясь, что его перебьют на полуслове, затараторил Верий. — Наш добрый господин... Цецилий... он прислал письмо. Ты знаешь, сейчас он с семьёй в Лукании, и потому... Но речь о другом. Он чересчур поспешно собирался в дорогу и взял не все припрятанные в доме деньги. Свёрток в эфиопской вазе... был там... и просит срочного ему передать...

— И что с того? — равнодушно спросила Фригия. — И почему ты всегда такой переполошённый, как на пожар?

— Как это что? Как это что? Ты что, не понимаешь? Этих денег нет, их нет в вазе... Их нигде нет. Они пропали!

Верий ожидал, что после такого известия жена вскочит, всплеснёт руками, бросится к нему, начнёт расспрашивать — много лет они вместе обсуждали куда более мелкие вопросы, но Фригия даже не пошевелилась. И её поведение было не менее странным, чем пропажа хозяйских денег.

— Ты же знаешь, хозяин мне... нам с тобой... бесконечно доверяет. И этот дом в Риме... он ведь именно нас пригласил за ним приглядеть. Да что с тобой сегодня? — начал пугаться Верий загадочного молчания жены. — Ну, хорошо, я открою тебе всё, с чем пришёл. Один из наших рабов, я даже скажу тебе кто, Нигидий, распустил слухи, будто видел у тебя в руках эфиопскую вазу... и потом ты отлучалась из дома. Он клянётся... так вот, не думай, я ему назначил тридцать плетей...

— Отпусти Нигидия, — нехотя произнесла Фригия. — Он не виноват. Это я взяла деньги.

— Ты? Слава добрым богам! Я-то подумал, опять слуги воду мутят. Верни их скорее, прямо сейчас верни, Фригия, верни же их...

— У меня их нет.

— Как это нет, Фригия? Что значит, нет? Где они?

— Потратила. Все.

— Как тебя понимать? Погоди... Как потратила? Чужие деньги? Они же нашего господина... Ты разве об этом не знала? Скажи: знала или не знала? Ты что же, не знала?

— Не зуди, как комар над ухом, Верий. Ну, знала я, знала. Не твои же. Свои ты хранишь в надёжном тайнике.

— На что? Как это? Как? На что, безумная, ты могла их потратить?

— Купила ожерелье из жемчуга, — ответила Фригия. — Вот. Ручная работа. Такого ожерелья ни у кого в Риме нет.

Только теперь Верий заметил на шее у жены нитку из крупного жемчуга. Трясаясь от ярости, как в лихорадке, он подбежал, схватился за неё рукой... Нитка лопнула, и бусины с треском раскатились по мраморному полу. Верий поднял одну и, следуя своей дотошной привычке всё проверять и перепроверять, поднёс к глазам.

— О, боги! Ещё не легче. Да это же подделка! Самый что ни на есть дешёвый речной жемчуг. И за него ты отдала все деньги? Тебя обманули, Фригия! Ты хотя бы понимаешь, что тебя обманули! Надурил какой-то проходимец, в Риме их хоть пруд пруди! Теперь мне придётся выкладывать хозяину свои... из своих... а за что? За это? Почему ты на меня так странно смотришь, Фригия? Да что с тобой? Скажи что-нибудь, только не молчи и не смотри так...

— Поцелуй меня, Верий. Разве ты никогда не хочешь поцеловать меня? — сказала Фригия, показывая пальцем на ложбинку у себя на шее. — Сначала в губы, а потом вот сюда...

* * *

Экскурсоводы в римском зале сменялись один за другим. Чего я только не услышала за полчаса! Оказывается, мраморные изваяния бывают сборными, когда на них меняли головы, оставляя фигуры в полный рост прежних императоров или античных богов.

ЧЕЛОВЕК С МЕШКОМ

Мешок был тяжёлым, поэтому Фабриций шёл медленно. Чтобы не отвлекаться и понапрасну не растрчивать силы, он старался смотреть под ноги, на потёртые ремешки своих сандалий. Но время от времени ему приходилось отрывать взгляд от земли, когда над ухом раздавались знакомые голоса.

— Что тащишь, Фабриций? Не надорви пупок...

— Эй, приятель, кишки вывалятся!

— Гляньте-ка! Был цирюльник, а стал — осёл!

Но Фабриций только молча прибавлял шаг, чтобы скорее свернуть на соседнюю улицу, где его будет узнавать хотя бы не каждый встречный.

Отдуваясь и охая, Фабриций перекинул груз на другое плечо, вытер лысину и с упорством муравья продолжил путь в сторону дворцов Тиберия.

Лишь на перекрёстке, возле лавки Тита Марлеция, он позволил себе опустить ношу на землю, чтобы перевести дух.

В школьные годы они с Титом обучались грамоте и счёту у одного учителя по прозвищу Линейка и с той поры считались друзьями детства. Хотя что это была за дружба?

Во время уроков щуплый, робкий Фабриций сидел на скамье с краю, а толстяк Тит то и дело в шутку спихивал его на землю. Но потом сам же первым протягивал руку: такой у него был характер.

Заметив, что возле дверей его лавки кто-то остановился, Тит выдвинул на улицу своё тучное, похожее на круглый хлеб тело.

— А, это ты, Фабр... — узнал он школьного приятеля. — Что тащишь?

— Что надо, — сдержанно ответил Фабриций.

— А куда идёшь?

— Не твоё дело.

— Тяжёлый, гляжу, мешок-то? Что там у тебя?

— Не скажу.

Но Тит вовсе не обиделся. Он с любопытством посмотрел на остроносое, измождённое лицо Фабриция, его гладко выбритую, без единой волосинки, голову, и расплылся в улыбке:

— Да ты, Фабр, ничуть не изменился! С молодых ногтей был скрытным, как улитка. Так и хочется поковыряться у тебя в голове и узнать: что там у тебя на уме? Твоя лысина хоть и блестит на солнце, да, жаль, не просвечивает. Слушай, дружище: а давай-ка взвесим твой мешок?

— Давай, — неожиданно для себя согласился Фабриций. На самом деле, он просто был не в силах идти дальше.

Приятель вошёл в лавку, где на прилавке рядом с весами стоял целый ряд свинцовых гирь. Эти причудливые гири в виде моллюсков, рыб и звериных голов достались Титу по наследству от отца-лавочника, известного в Риме торговца сладостями. Только в те времена торговля шла самодельным печеньем двух видов — медовым да солёным, а теперь в лавке высились целые горы восточных сладостей и засахаренных фруктов.

Фабриций с величайшей осторожностью поставил свою ношу на весы, но как только потянулся за гирей, Тит локтем отпихнул приятеля в сторону и схватился за мешок. Но он не успел развязать верёвку, так как в лавку фурией ворвалась покупательница — Сабина по прозвищу Медная Глотка.

— Я низвергну небеса, если ты заставишь меня ждать хоть мгновение! — закричала она громогласно зычным голосом. — Взвесь-ка мне, Тит, самых сладких фиников, уж больно мой мальчик до них охоч.

Воспользовавшись заминкой, Фабриций схватил мешок и поставил его возле ног, зажав с двух сторон коленями. Тит весело хмыкнул и занялся покупательницей.

— Да ты, Сабина, ведёшь себя сегодня, как знатная госпожа, — сказал он, беря в руку гирию в виде головы барашка. — Ишь как раскомандовалась! Ни одна плакальщица в Риме тебя не перекричит! И о каком таком мальчике ты мне тут толкуешь?

— Как? Ты ничего не знаешь? Астил вернулся! Мой единственный сын Астил... Центурион... первого копыя... второй когорты... одиннадцатого легиона!!!

На каждом слове Сабина повышала голос и дошла до такого крика, что хоть уши затыкай.

— Девять лет Астила не было дома. Девять долгих лет! Хвала Марсу, Юпитеру и Юноне. Он жив и идёт домой. Его видели в Риме, возле Соляных ворот. Все соседи соберутся вечером посмотреть на его трофеи, приходи и ты, Тит, да не с пустыми рука-а-а-ми-и-и...

Последние слова Сабина выкрикивала уже на улице, оставляя после себя в лавке гулкое эхо.

— Сколько шума от одной женщины, — покачал головой Тит, оглядываясь на приятеля. — Эй, что с тобой, дружище?

Фабриций стоял в углу бледный как известка, двумя руками вцепившись в свой мешок, чтобы не упасть. В полумраке на его лбу резко выделялись две скорбные, не по возрасту, морщины.

— Вот что я тебе скажу, Фабр, — жалостливо вздохнул Тит, и от его могучего вздоха с прилавка во все стороны разлетелись сладкие крошки. — Ты меня знаешь, я зря говорить не буду. Встреча с Сабиной для тебя — добрый знак. Кто бы мог подумать, что Астил вернётся, его все давно похоронили. Вот увидишь, скоро я буду угощать твоего Вибия отборными винными ягодами, или можешь схватить меня за язык. Что хоть о нём слышно?

— Ничего.

— Да ладно тебе кукситься, Фабр: всего-то пять лет прошло...

— Шесть с половиной.

— Так ведь не десять.

— Тебе легко говорить, Тит: твои все дома. Пойду я...

Тит хотел на прощанье по-дружески хлопнуть приятеля по плечу, но вовремя передумал: как бы тот не рухнул ненароком под тяжестью своей ноши.

— А всё-таки жаль, Фабр, что мы не взвесили твой мешок, — сказал в дверях Тит. — По весу я бы догадался, что там у тебя. Весь день теперь буду думать.

* * *

Начал накрапывать дождь, который наконец-то пришёл на смену душливой, как в тепидарии, влажной жары. Накануне праздника на форуме мыли мраморные статуи, поливая их водой из бочек и натирая каменные спины мочалками — и это ещё больше усиливало сходство с термами.

Когда-то при Августе на форуме выставили статуи великих людей прошлого: Энея, бегущего из пылающей Трои с престарелым отцом на плечах, древних царей Альбы и Ромула, славных полководцев. Теперь же на главной площади Рима ставили кого попало — любого, кто подкупами и обманом получал на это разрешение от сената и мог изготовить памятник за свой счёт. Под некоторыми изваяниями были предусмотрительно прибиты таблички с надписями: «За любовь к родине и согражданам» или «За заслуги», так как имён богатых ловкачей всё равно давно уже никто не помнил.

Для новой передышки Фабриций вошёл в часовню, посвящённую императорскому культу, безлюдную в это время дня, и присел на мраморную скамью. В центре зала на троне восседал каменный император, по четырём углам от него, в тёмных нишах притаились члены императорской семьи, словно хотели подслушать чужие тайны.

Фабриций задумался: а как бы он расставил здесь своих? Мать с отцом напротив друг друга, жену и сына, пожалуй, тоже, пусть бесконечно друг на друга любят.

Родители умерли почти одновременно — да насладятся мёдом их души! Жена пошла к двоюродной сестре и больше домой не вернулась. В тот день в Риме рухнула ветхая, многоквартирная инсула, и погребла под собой всех жильцов вместе с их гостями, в том числе и лёгкую как пёрышко Либию. Сын с дружкой уехали на заработки в Британию, и оба они словно растворились в тумане северных болот.

Так устроен этот мир: люди исчезают из него тихо и незаметно, как выпавшие волосы, один за другим. Остаётся только мрамор. Только белый вечный мрамор, и ничего больше.

* * *

Наконец Фабриций добрался до нужного дома и три раза стукнул кольцом в ворота.

На стук выглянул слуга-привратник плутовского вида: глаза у него косили, рот скалился в нахальной улыбке.

— Мне нужен грек... Пинарий... скульптор, — выдохнул Фабриций.

— Хозяин всем нужен, ха-ха. Только он болен. Никого не принимает.

— Как болен? Чем?

— Бахуса о том спроси, приятель, — ответил наглый слуга, собираясь закрыть перед носом Фабриция ворота. От него и самого разило вином.

— Но у меня... важное дело... Я шёл... через весь Рим... Сказали, вольноотпущенник Дромон может помочь...

— Вот непонятливая черепаха. Сразу бы так и начинал. Дромон — это я. Показывай, что там у тебя!

Фабриций развязал мешок и вынул из него мраморную голову. Больше года над портретом трудился его знакомый резчик по камню, Катон, добиваясь сходства в разрезе глаз, ноздрей и ушей, даже поставил бородавку на щеке. Этой мраморной бородавкой Фабриций почему-то особенно гордился. Но мастер-самоучка чересчур увлёкся, позабыв, что голова должна держаться на шее, и тогда она не будет похожа на каменный шар...

— Ну и кто тут у тебя? — нетерпеливо окликнул Фабриция слуга.

— Как же? Это я... я сам! Только без шеи.

— Тэкс-тэк... Нумидийский мрамор, — с видом знатока пощёлкал грязным ногтем Дромон по мраморному лбу. — И сколько за такой кусок отвалил?

— Дорого, — коротко ответил Фабриций.

— Значит, деньжата у тебя водятся. Надгробие себе поставишь, ха-ха?

— Не твоё дело. Не пойму, что тут смешного? — не выдержал Фабриций.

— Не обращай внимания, приятель. Влюблён без памяти, вот меня всего от радости и распирает. Учти: амурь нынче требуют большой мзды.

Одним смеющимся глазом Дромон смотрел прямо в лицо, а другим, сердитым и нетерпеливым, заглядывал цирюльнику за спину, где висел пристёгнутый к поясу кошелёк.

Фабриций отсчитал несколько монет, и слуга привёл его на задний двор, где повсюду валялись мраморные конечности, отколотые женские груди, крупные ступни в сандалиях и просто большие и маленькие куски мрамора. Под деревом в лохани пузырился какой-то белый вонючий раствор.

Дромон слегка пнул ногой крупный обломок — это была мощная каменная шея с вздутыми жилами — и сказал:

— Ты родился под счастливой звездой, приятель! Сделаю тебя в образе Геркулеса, приятель, хозяин только вчера отколотил. Снова напился и кричал: «Почему я не Пракситель?!», крушил свои заказы и последними словами клеймил Рим. Греки — что с них возьмёшь? Поначалу шрам будет видно, а потом затрётся, я раствор от всех в секрете держу... Гляди-ка: как раз в пору!

Дромон с кряхтением приложил мраморную голову к толстой геркулесовой шее. Сначала Фабрицию показалось, что портрет на ней смотрится нелепо, как яйцо на громоздкой подставке. Но потом новый образ ему даже понравился. Ну, не слишком похож — и что с того? Так гораздо лучше! Пусть в веках он останется сильным и могучим, как Геркулес. Когда Вибий вернётся, он найдёт отцовскую могилу, увидит на ней бюст с мощным торсом, и узнает, что Фабриций был не последним человеком в Риме... Может, для верности сделать и табличку с надписью?

— Авось, до вечера обстрипаю твоё дельце, только бы хозяин раньше времени не проснулся, — озабоченно пробормотал Дромон, пряча мраморную голову в сарае под навесом. — Цербер так и дышит мне в затылок, так что готовься раскошелиться...

Дромон послунял палец, сунул его в угольную пыль и начертил на мраморной голове какой-то одному ему понятный знак. Почему-то этот жест окончательно успокоил Фабриция: так делали в Риме все обувщики и портные, когда снимали мерку с заказчика.

* * *

А Маринки всё не было. Я нарочно несколько раз отходила от волчицы в другой конец зала и отворачивалась, делая вид, что увлечена разглядыванием рельефа на стене. По всемирному закону подлости, именно в этот момент Маринка может появиться и начать меня искать.

«Школа. Рельеф надгробного камня. Подлинник: конец II века н.э...» Строгий учитель с тремя учениками. Похоже, что один опоздал, а у другого такое испуганное выражение лица, словно он вот-вот вскочит и убежит...

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

— **О**х... Вот, напасть!
Старик охнул и даже присел от острой боли: камень угодил почти под лопатку. Из подворотни послышался отвратительный детский смех.

Прихрамывая и потирая на ходу ушибленное место, старик медленно пошёл дальше. В молодости он снимал для уроков сырой полуподвал, где зимой задувало во все щели, и с тех пор у него не гнулась шея.

Теперь он чутко прислушивался к детским голосам у себя за спиной.

— Ш-ш-ш, Линейка!

— Всё равно не догонит...

Ничего, думал старик, догону, только сначала подойдите поближе.

Куспий Плинтий Влар по прозвищу Линейка был самым известным школьным учителем на Авентине, да, пожалуй, и во всём Риме: его именем пугали маленьких детей.

«Не будешь слушаться, отдадим тебя к Линейке, — говорили родители непослушным сыновьям. — Он из тебя любую дурь выбьет»...

А всё потому, что Куспий Влар выработал свой, проверенный способ обучения — болью. На уроках он так безжалостно колотил нерадивых учеников линейкой по рукам, что даже на лицах отъявленных лентяев появлялось испуганно-пытливое выражение. Иногда Линейка таскал детей за волосы, давал пощёчины — но это редко. Он предпочитал наказания линейкой, чтобы избегать прикосновений к вечно грязным, сопливым детям авентинских лавочников.

Несмотря на то что Линейка ежегодно повышал плату за уроки, ученики в его классе не переводились. Что не удивительно: римляне становились никуда не годными уже с пелёнок и кто-то должен был вправлять им мозги.

Дождавшись, когда мальчишки подойдут поближе, Линейка быстро, всем телом развернулся.

— Ой! Да защитит меня Белонна... Скорее! Бежим!

Дети с визгом врассыпную разбежались в разные стороны, но Линейка успел своей длинной, цепкой рукой ухватить за край туники толстого, неповоротливого мальчишку.

— Стой, где стоишь. Если скажешь правду, я отпущу тебя, — приказал старик строгим учительским тоном. — Отвечай разборчиво и по порядку. Как твоё имя? Кто твой отец?

— Я Геркул... сын Тита Марленция... Нас тут вше... вше знают... Это не я брошил камень, правда...

Мальчишка смотрел на учителя, выпучив большие карие глаза. От страха на лбу у него выступил пот, одна капля повисла на носу, во рту не хватало нескольких передних зубов.

— Говоришь, все знают? — повторил Линейка, брезгливо морщась и нарочито растягивая слова. — А вот я тебя впервые вижу. Следовательно, ты лжёшь. Едва родился на свет, а уже маленький, мерзкий лгун. Все вы такие. Почему ты у меня не учишься, бездельник?

— Мне рано в школу... я помогаю отцу в лавке. Пожалуйста, отпустите меня.

— Вытри нос! Где зубы растерял? Я отпущу тебя, если ты ответишь на мой вопрос: кто толкнул Лорея? Ты ведь знаешь, кто это сделал, верно?

— Ой, нет! Я не жнаю никакого Лорея. Клянущь Юноной!

— Опять лжёшь, ибо такова твоя сущность. Ну хорошо, ты даже получишь от меня небольшое вознаграждение, если назовёшь имя. Все дети продажные — хуже, чем судьи...

Линейка начал рыться в складках тоги в поисках кошелька и немного ослабил свою железную хватку. Улучив момент, Геркул изо всех сил ударил старика кулаком по руке, рванулся и большими прыжками, как заяц, припустился по улице.

— Куда? Стой! Держите его, он меня ударил! — кричал Линейка, потрясая в воздухе рукой. — Я запомнил тебя, Геркул, мы с тобой встретимся. Сучьи выродки и лгуны! Чтоб вас всех псы разорвали!

* * *

Морщась от боли, а ещё больше — от отвращения, Линейка наконец-то добрёл до дома своей племянницы Состраты. Как же он ненавидел этот грязный муравейник, населённый детьми, где всегда кто-то пищал, хныкал, визжал, делал на ступеньках лужи, бросал под ноги ореховую скорлупу и огрызки. Если бы не старший из мальчиков, Лорей, он бы никогда и через порог этого дома не переступил.

Едва Лорей научился говорить, Линейка принёс внучатому племяннику покрытые воском дощечки для письма, и тот мигом запомнил все буквы. С камешками для счёта история повторилась: буквально на следующий день мальчик считал до десяти на морских камешках и на пальцах.

На шестой день рождения Линейка подарил ребёнку дорогое тростниковое перо и кусок египетского папируса, и Лорей начал сочинять поэму в духе Гомера. Оказалось, втайне от всех он самостоятельно выучил греческий язык и знал все стихотворные размеры.

А потом случилось то, чего никто не ожидал: во время городского праздника кто-то толкнул Лорея с крыши и он сломал себе спину. В Риме говорили, будто это сделал кто-то из мальчишек, учеников Линейки, из мести...

Как обычно, в дверях на страже стояла хмурая, вечно растрёпанная Сострата.

— Явился? — спросила она, перекивая детские вопли из комнаты. — Так давай, не тяни...

Это была их общая тайна, о которой в Риме не знал никто. Вот уже который год Линейка приходил заниматься к прикованному к постели Лорею и платил за свои уроки родной племяннице, лишь бы она пускала его в дом. Он не пропустил занятий даже в тот день, когда Рим засыпало градом с перепелиное яйцо и на улицах не было ни души.

— Как он сегодня? — спросил учитель.

— Откуда мне знать? Лежит, как полено. Он давно умер для меня. Кормим врачей, вместо того чтобы кормить детей, а ведь у меня и других пятеро. Слышишь, как надрываются от голода?

Линейка понял, к чему она клонит и торопливо протянул приготовленные монеты.

— Верно люди говорят: кого возненавидели боги, того сделали школьным учителем, — проворчала Сострата, засовывая деньги между длинных, как две жёлтые дыни, грудей. — Дуришь Лорею голову табличками, а какой теперь от них прок? Хоть бы Плутон и Прозерпина поскорее сжалились над нашей семьёй...

— Пусти, злобная гарпия, — устало отстранил её от входа Линейка, — У нас урок грамматики.

С первого взгляда было ясно, что письменные занятия сегодня отменяются.

Лорей лежал навзничь с закрытыми глазами и почти не дышал. Он был похож на остроклювого воробышка, выпавшего из гнезда. Услышав знакомые шаги, мальчик с трудом открыл глаза и через силу улыбнулся.

Линейка присел возле его постели и с невозмутимым видом начал доставать из футляра свитки. Они с Лореем давно договорились: у них всё должно быть, как в обычной школе, без скидок на болезнь.

— Итак, Лорей, я задавал тебе выучить...

— Я не выучил, дядечка, — прошептал мальчик. — У меня так болит...

Линейка прокашлялся, чтобы выбить зачекотавшие в горле слёзы и произнёс строгим, учительским тоном:

— Плохо, Лорей. Домашние задания следует выполнять. Тогда мы поступим так. Я прочитаю тебе отрывок из Гомера, а ты повторишь:

Встал с постели своей возлюбленный сын Одиссея,
В платье оделся, отточенный меч чрез плечо перебросил,
К белым ногам привязал красивого вида подошвы,
Вышел быстро из спальни, бессмертному богу подобный...

Он и сам уже понял, что выбрал неудачный отрывок. Белые ноги... сандали... встал с постели... быстро вышел...

— Не надо, дорогой дядечка, — тихо сказал мальчик. — Я не смогу повторить.

Линейка растерянно смотрел на племянника: такое у них было в первый раз. Неужели Лорей терял ещё и память?

— Скажи, дядечка, а как ты поступаешь в школе с теми учениками, кто не выучил урока? — первым прервал невесёлое молчание Лорей.

— Наказываю, конечно.

— А как наказываешь?

— Всё зависит от степени проступка.

— Бьёшь линейкой, да?

— Бывает и так.

— Ты бьёшь линейкой по рукам?

— Ну не по голове же, Лорей! Это плохо влияет на мозг. А человеческие руки предназначены для тяжёлой работы и могут выдержать другие испытания.

— Тогда и меня ударь, дядечка. Я тоже сегодня не выучил урока.

И Лорей с умоляющим видом выпростал из-под покрывала свою тонкую голубую руку.

— Я... я прощаю тебя... на сегодня, — осипшим от нечеловеческого напряжения голосом выговорил Линейка. — Ты хороший ученик. После выучишь...

— Нет, ударь! Так нечестно, дядечка. Ведь я ещё не умер! Ну, ударь меня, как других... Я тебя очень, очень прошу...

Куспий Влар театрально размахнулся и слегка ударил Лорея палочкой для письма, как будто это была линейка. И тут же с ужасом заметил, как пальчики племянника слегка покраснели.

— Как же так, дядечка? Я ничего не почувствовал, — удивлённо сказал Лорей. — Что со мной? Раньше я не мог пошевелить пальцами только на ногах... Прошу тебя, ударь сильнее. Я же не выучил урока!

Но Линейка уже не мог сдерживать рыданий. Он согнулся пополам и закрыл лицо руками: всё, что угодно, только не это, больше никогда, никого, ни одним пальцем, ни за что...

— Какой ты у меня хороший, дядечка, — прошептал Лорей. — Даже ударить не умеешь. Я знаю: ты самый добрый человек во всем Риме.

* * *

Может, Маринка что-то перепутала и сейчас ищет меня по всему музею? И телефон почему-то не берёт... Да нет, не могла она заблудиться, любая смотрительница покажет, где стоит капитолийская волчица — второй этаж, искусство Древней Италии и Древнего Рима. Она стоит сразу у входа в зал, к чему-то чутко прислушиваясь и глядя куда-то сквозь людей.

ВОЛЧИЦА

Присцелла просыпалась затемно, перед рассветом, и, скрестив худые ноги, сидела, пригнувшись к темноте.

С улицы тянуло навозом, будто это была родная деревня. Крестьяне торопливо гнали к форуму телеги, пока с наступлением дня не закрыли проезд по улицам Рима, и на пути им лучше не попадаться. Однажды Присцелла вышла из дома слишком рано и угодила под колёса зеленщика, вывалившего на неё целый воз ранних огурцов и зелени. Даже от пяток потом пахло петрушкой и сельдереем.

После того случая Присцелла стала дожидаться, когда грохот повозок сменится на стук деревянных башмаков — бедняки из домов выходили первыми — а затем на благородное шарканье сандалий. Вот тогда пора!

Это была её ежедневная обязанность — с утра пораньше обходить городские рынки и лучшие лавки, чтобы выбрать самые свежие продукты к столу Валерия Прокула. Присцелла знала вкусовые пристрастия не только самого сенатора, его супруги Анфитилы и двух их сыновей-близнецов, но и постоянных гостей дома. И никак не переставала удивляться: на лицо Юлий и Юний были похожи как две капли воды, но один почему-то любил сладкое,

а второй — солёненькое. Не говоря о госпоже с её постоянными капризами: то на завтрак свежих устриц подавай, то гусиных яиц в белом соусе.

Сегодня Присцелла сразу направилась к рыбным рядам возле моста Феодосия. Даже в жаровне только что выловленная в Тибре мокрель сохраняла едва уловимый старческий запах гниющих водорослей, которым пах Рим, все камни в Риме. Сладковатое дыхание Тибра на несколько мгновений словно возвращало Присцелле зрение, и она ясно видела жёлтоватую речную гладь, очертания моста, небо цвета рыбьей чешуи над водой... О, как же прекрасен Рим ранним утром!

— Хвала Юпитеру, ты у меня первая покупательница, — окликнул её лавочник Квинтий. От него так остро пахло рекой и рыбой, словно его самого только что выловили в Тибре.

— И я приветствую тебя, Квинтий. Зажарить бы твои усы на сковородке, да моим господам они придутся не по вкусу, — отозвалась Присцелла. — Им отборных ракушек да морских ежей подавай.

— В кастрюлю всегда успеется, — тоже пошутил Квинтий, который давно не носил усов. — Окажи мне честь, Присцелла, возьми рыбку.

— Твоих завонявших головастика? — шумно повела носом старуха. — Ты хорошо сделал, Квинтий, что со всех сторон обложил их щавелем. Но меня не проведёшь.

— Клянусь масками предков: от тебя ничего не укроется, — восхищённо воскликнул Квинтий.

Про длинный и необычайно чуткий нос Присцеллы среди римских лавочников ходили легенды: старуха безошибочно определяла на нюх переержанную брынзу или припаленную дымом несвежую дичь.

— Возьми, Присцелла, скумбрию в подарок. Наступают родительские дни — моим предкам это будет приятно...

Старуха услышала, как в её корзинку плюхнулась увесистая рыбина. Старуха поднесла корзину близко к лицу, принюхалась: скумбрия была свежей, из утреннего улова.

— Только рабы едят речную рыбу, а мне хозяева давно дали свободу, — проворчала Присцелла. — Ладно, возьму, на кухне выпотрошат, когда закончат с обедом для господ...

— Опять ждёте гостей? Сколько на этот раз?

— Не меньше десяти, сплошь сенаторы да консулы. Да и своих четверо — вот сам и посчитай. Юния и Юлия уже сажают за общий стол, — сказала Присцелла, отходя от прилавка и помахивая корзинкой, из которой торчал рыбий хвост.

При ходьбе старуха сильно пригибалась к земле, и казалось, будто длинным носом она вынюхивает себе дорогу.

— Тю, волчица! — присвистнул ей вслед Манцин, молодой помощник лавочника. — Зачем ты дал ей рыбу? Она опять не заплатила...

— Запомни, дурень: Присцелла приносит удачу тому, к кому утром подходит первой, — ответил Квинтий. — Сам увидишь, сегодня мы и вчерашний улов продадим до последнего плавника...

— А зачем она говорила про близнецов? Все же знают: их давно убили. И хозяев, и детей, всех слуг и рабов зарезали по приказу императора...

— Молчи, у слепых чуткие уши.

— Говорят, Волчица по ночам на луну воет. И они к ней приходят.

— Кто приходит?

— Ну, близнецы, Ромул и Рем. Нет — другие... Квинтий, а ты её за руку когда-нибудь трогал? Вдруг Волчица вообще привидение?

— Вот, глупец. Раскладывай рыбу и не болтай языком.

— Нет, она не дух. Я сам видел, какой у Волчицы язык красный. Наверное, потому что она мясо сырое ест...

— Кончилось моё терпение!

Раздался звонкий шлепок оплеухи, потом хныканье Манцина, но эти звуки быстро смешались с возбуждённым шумом утреннего рынка и голосами рабов-сороходов, которые бежали по улице перед носилками своих хозяев, громко выкрикивая их имена.

* * *

Всё! Если Маринка не появится через пять минут, я уйду. Сколько можно смотреть на слепки со скульптур, разглядывать медный сосуд на кривых ножках наподобие римского самовара, позеленевшие доспехи, весы с гириями, древние монеты в витрине? Батальные сцены на рельефах настраивали на воинственный лад...

МАТЬ ЛЕГИОНЕРА

Первое, что увидела Сабина, известная всему Риму по прозвищу «Медная глотка»: гора! Её сын стал огромным, как гора. Выступы, впадины, тёмная пещера рта...

Астил, центурион первого копьё второй когорты одиннадцатого легиона, явился домой в полном военном облачении, с яркими петушиными перьями на шлеме. А когда, кряхтя и охая, он стащил с себя шлем и железный панцирь, Сабина увидела на щеке сына шрам, почти свежий рубец от глаза до верхней губы. Зато глаза у Астила остались прежние: голубые, обрамлённые густыми чёрными ресницами. Даже не верилось, что эти младенческие глаза видели Галлию, Персию, Африку — целый мир от края до края.

— Мальчик мой, Астил, это ты... — выдохнула Сабина, прижимаясь к могучей груди сына. — Сколько лет пропадал.

Но он лишь недовольно встряхнулся и, как подкошенный, рухнул на лжанку перед столом, жадно потянулся к еде. Даже не ополоснул с дороги пыльные руки и лицо. И Сабина ничего ему не сказала, смолчала. В такой-то день!

— Ну вот я тебя и дождалась, — сказала она, пристраиваясь сбоку на гостевом ложе. — Выпьём винца с тобой, Астил, что ли, за встречу? Я вечером и соседей позвала...

Но Астил уже сам плеснул себе в кубок вина, шумно отхлебнул и скрипел, словно ему налили желчи.

— Фу! Разве это вино? Воняет тиной из реки, — сказал он недовольно. — Знала бы ты, мать, какое вино я пил в Армении. Густая кровь, а не вино!

Сабина тоже сделала глоток и какое-то время подержала вино за щекой, чтобы распознать его вкус. Разбавленное маленько, да кто же нынче в Риме не мухлюет? Но она не стала возражать, ответила со смущённой улыбкой:

— Ты прав, Астил. У нас хорошее вино найдёшь разве что в императорском дворце...

— А мы каждый день хлестали его бочками, когда штурмом взяли ту крепость...

— Небось, ты самым первым забрался на стену? Ты ведь у меня с детства прыткий, — поддакнула Сабина.

Но её слова неожиданно привели Астила в ярость.

— Первым?!! Ад и преисподняя! Да, первым! Да только наш легат этого не заметил, и лавровый венок достался Главку, а не мне. Ну, ничего, этот выскочка за всё поплатился. Персы порезали его на куски, как лепёшку.

Астил хлопнул себя по ляжкам и громко захохотал. И Сабина вдруг со страхом увидела, что во рту у сына вместо передних зубов блестят какие-то куски металла.

— Видала? — перехватил её взгляд Астил и широко разинул рот, чтобы мать смогла там увидеть сооружение из металлических пластин. — У меня даже рот в доспехах. В Египте смастерили. Ух, как я теперь девок кусаю! Одной чуть нос не отгрыз.

— Кто же тебя так изувечил, Астил? — прошептала Сабина.

Но, должно быть, настолько тихо, что сын её не расслышал, продолжая с чавканьем жевать мясо.

— Ешь вволю, сынок, — показала рукой Сабина на заставленный кушаньями стол. — Здесь всё твоё самое любимое: я нашла на рынке даже жёлтые сливы. О, как же ты изменился!

— Перестань причитать, — строго прервал Астил мать. — Я этого не выношу.

Насытив первый голод, он зевнул и с удивлением огляделся по сторонам.

— Ну и дыра! Я и забыл, в каком грязном логове ты живёшь.

— Что поделать? — пожалала плечами Сабина. — В старости одной не сладко, так и клюёшь по крошке с чужих рук. Хорошо, соседи в долг дают. Но ты вернулся — у нас всё будет по-другому.

— Тут ты в самую точку попала, — снова широко зевнул сын. — Послушай, а что там за драный сундук в углу стоит?

— Забыл? — расплылась в улыбке Сабина. — На дне я храню твою детскую тогу, буллу и прядь первых волосиков. Это мои святыни. Каждый день я вынимала их, умоляя Юнону, чтобы тебя не убили на войне.

— Вот что, мать, перебирайся-ка ты вместе с сундуком в тёмную комнату...

— В чулан?

— Но я там никак не повернусь. А ложе сюда поставлю большое, да покрепче. Смотри-ка, что у меня есть!

Астил вынул из походного мешка мятую, пятнистую шкуру: она была обработана грубо, наскоро и воняла падалью. Страшнее всего была оскаленная звериная голова с жёлтыми клыками и чёрной, подгнившей пастью.

— О, боги! Держать в доме мертвячину? — ужаснулась Сабина.

— Что б ты понимала, мать. Это леопард. Выменял в Персии на голову одного местного князька. Не думай, я и про тебя не забыл...

В воздухе мелькнуло что-то яркое, и на плечи Сабины легла восточная шаль: красные цветы на жёлтом фоне, маки в пустыне.

— Вот что, мать: шла бы ты сейчас к соседям. Мне скоро римских красоток приведут. Вот о каком сражении мечтал я все эти годы!

— Как? Продажные женщины? В моём доме?

— Глядишь, с кем-то и даром повезёт... Только смотри, раньше завтрашнего дня не возвращайся.

Сабина поднялась из-за стола и, пошатываясь, побрела к двери.

— Спасибо тебе, Юнона, что ты сохранила жизнь моему мальчику, — прошептала она, проходя мимо очага с домашними ларами. — Но что же ты, мерзавка такая, с ним наделала?

* * *

Сабина вышла на улицу и вжалась в стену дома в надежде, что никто из соседей её не заметит. Она не знала куда идти и никого не хотела видеть. Но, как назло, на неё буквально наскочил лекарь Требий, гремя своим ларцем со склянками.

— Правильно ты говорила, Сабина: пока кровь не брызнет, никто из них не поумнеет, — сказал он, останавливаясь возле соседки. — Ты у нас всё наперёд знаешь, как сивилла. Они думают перехитрить самого Улисса.

— О чём ты мне тут в уши дуешь? — вяло поинтересовалась Сабина.

— Ты всегда говорила: продажные девки плохо кончат. Похоже, Фортунита, и до утра не доживёт.

— Какая Фортунита? С белыми волосами, как коза? У неё вроде ещё сынок был?

— Ну да, Флор. Верно ты говорила, Сабина: в наше время женщины забыли, что такое пристойность и где её искать.

Он ждал, что Сабина по своему обыкновению примется громко ругать продажных женщин, потом перейдёт на замужних и на всех остальных, но соседка угрюмо молчала.

— Ты сама-то, случаем, не больна, Сабина? Дать тебе порошок? — поинтересовался Требий.

— Обойдусь и без твоей отравы, — огрызнулась Сабина. — Что там, ты говоришь, с этой... как её... Фортунитой?

— Клянусь фуриями, уже этой ночью Фортунита будет плясать у них в гостях. А всё равно надо идти: за три дня вперёд заплачено, не возвращать же задаток.

— Возьми меня с собой, — неожиданно попросила Сабина.

— Пошли, вместе и за чёрной собакой ночью гоняться веселее. Что-то я тебя не узнаю, Сабина... Может, ты ещё и вина захочешь плеснуть на её могилу?

— Может, и захочу, если ты купишь его за свои, Требий...

Так, по-соседки нехотя зубоскаля, Сабина не заметила, как оказалась в просторной, с изяществом обставленной комнате известной в Риме гетеры Фортуниты.

На кровати без памяти металась молодая женщина, её длинные белые волосы потемнели от пота и были похожи на обвившихся вокруг головы клубком змей. По сравнению с ним тело Фортуниты казалось таким хрупким, что и дотронуться-то страшно, все косточки можно пересчитать. Сабина вдруг вспомнила железные зубы Астила...

В углу комнаты за восточной ширмой с павлинами сидел светловолосый мальчик лет семи и играл с котёнком. Он то поднимал, то опускал перед котёнком оливковую веточку, и при этом лицо мальчика было таким серьёзным и отрешённым, словно он выполнял какой-то только ему известный ритуал.

— Эй, Фортунита, очнись, — потрепал больную за плечо Требий. — Я здесь.

Фортунита послушно приподнялась на локтях и быстро-быстро заговорила:

— Флор, мой цветочек, собирайся, мы уезжаем в Грецию, он меня любит... он уже за полгода заплатил за меня... Зачем здесь моя мать? Прочь! Флор, держись от этой сводни подальше!..

И, взмахнув тонкими руками, Фортунита снова откинулась на подушку.

— Какая мать? — спросила Сабина, оглядываясь по сторонам. Кроме неё, других женщин в комнате не было.

— Не слушай её. Она с утра никого не узнаёт, — с тайным удовлетворением в голосе сказал лекарь.

Сабина недовольно поджала губы. Одной ногой в могиле, а блеет о какой-то там любви, Греции. Родила сына, когда сама ещё в куклы играла...

Но привычные слова осуждения сегодня никак не шли на ум, их относило в сторону каким-то невидимым течением. Да и в голове была качка, как на корабле. Сабине отчего-то было даже жаль эту глупую Фортуниту, которая никогда не увидит единственного сына взрослым. Сама, конечно, виновата, а всё равно...

Сабина шмыгнула носом, отвернулась и стала лучше смотреть на котёнка.

— Его зовут Валент, — с готовностью повернул к ней голову мальчик. — Правда, красивый?

— Небось, блохастый, — проворчала Сабина. — В щёлочи бы его помыть.

— Валент маленький, его нельзя в щёлочи. Ему надо много прыгать, чтобы лапы окрепли.

Сабина вздохнула: она и с детьми-то разучилась разговаривать, столько лет прожила одна, сама по себе. Теперь вот и к Астилу нужно заново привыкать...

Тем временем Требий осмотрел больную и вынес свой вердикт:

— Вся надежда только на богов. Нужно заколоть белую сову в храме Януса и там просить об исцелении.

— У меня нет совы, — отозвался из угла Флор.

— Хм... Тогда хотя бы парочку белых голубей.

— Но где их купить в такой час?

— В крайнем случае, белого кролика, — пришёл в раздражение лекарь. — Какой ты непонятливый, Флор! Янусу подойдёт любая белая живность. Хотя бы твой котёнок. Если, конечно, хочешь, чтобы мать осталась жива...

— Мой Валент?!!

Флор схватил котёнка, прижал к груди и стремглав выскочил за дверь.

— Ну вот, всегда так... — недовольно пробормотал Требий. — А кто останется с умирающей? Мне её, что ли, всю ночь караулить? У меня и других полно...

— Иди, я сама с ней посижу, — сказала Сабина.

— Ты? Ну, соседка, ты меня удивляешь...

— И почему с умирающей?!! Чтоб тебя псы разорвали, Требий! — вдруг закричала Сабина своим знаменитым зычным, мужским голосом. — Живо открывай свои коробки и доставай порошки! Сам говорил: за три дня вперёд заплачено. Смотри, плут, только попробуй мне её не вылечить, я тебя на весь Рим ославлю!

Пока Требий обиженно гремел склянками, Сабина подошла к кровати, где лежала больная.

Не найдя под рукой ничего подходящего, она намочила в кувшине свой платок с маками, и положила Фортуните на горячий, похожий на розовую жемчужину, лоб.

* * *

Сколько можно ждать? А вдруг я пропустила от Маринки смс-ку? Да нет, последняя от неё была недельной давности: «Взахлёб читаю послания апостола Павла. Полный восторг! Скорее приезжай, обсудим».

Но что я могу сказать по поводу апостола Павла? Откуда мне вообще знать, когда и каким образом я приду к вере, и уж точно не через разговоры на Маринкиной кухне. Пикнул телефон. Наконец-то сообщение! «Древняя, в музей не получилось, срочное дело, прости, что пришлось зря ждать. Буду дома после 6, жду с нетерпением!»

И на том спасибо. Может, и не совсем зря — в кои-то веки в музее побыла.

МАЛЬЧИК И ЕГО КОТЁНОК

Флор сразу решил, что ни за что не понесёт котёнка жрецам. Лучше он сам убьёт Валента на пустыре и принесёт в жертву этому прожорливому богу Янусу. Поэтому он заранее прихватил с собой на кухне нож и теперь нёс его под плащом за поясом. Котёнок за пазухой мяукал и скрёбся, но Флор

старался лишней раз не смотреть на Валента, чтобы в последний момент не смалодушничать. От этого пушистого комка теперь зависела жизнь его матери, а значит — и его тоже.

Как назло, удобное место на пустыре оказалось занято авентинскими мальчишками. Они жгли костёр, жарили на костре улиток и чему-то смеялись.

«Им-то хорошо, — с тоской подумал Флор, сворачивая к реке. — У них мать не умирает, им не нужно никого убивать...»

Когда вдали блеснула розовая от закатного солнца полоска Тибра, в голову Флора пришла новая мысль. А что если обойтись без крови? Ведь Валента можно просто утопить... Нацепить на шею камень, зашвырнуть на глубину, да и убежать, не оглядываясь. Всё лучше, чем втыкать в белое, тщедушное тельце нож.

Флор огляделся, чтобы подыскать подходящий камень, и заметил тропинку, ведущую к пещере. Возможно, там найдётся какой-нибудь кусок ткани или даже готовый мешок. В укромных местах за воротами Рима часто ночуют бездомные бродяги или собираются христиане. Тогда Валента можно просто закутать в тряпку, да и бросить подальше в воду... Он совсем ещё глупенький, неловкий, быстро не выпутается.

В пещере был большой, удобный для сидения камень, и Флор присел на него, чтобы оглядеться и собраться с духом.

Валент сразу же затих и перестал своими острыми коготками царапать грудь, задремал, наверное. Флор подумал: вот и хорошо, пусть отдохнёт перед дальней дорогой, успокоится, ему не так страшно будет умирать. Может, он даже не заметит во сне, что перешёл в другой мир.

В тишине было слышно, как Валент громко замурчал, словно запел прощальную песенку на своём кошачьем языке. Удивительно, что это маленькое существо могло издавать такие замысловатые, нежные звуки.

На стенах пещеры были какие-то рисунки — их внезапно осветил луч закатного солнца. Сначала Флор решил, что это мальчишки начертили непристойные картинки с надписями, вроде тех, какими испещрены многие дома и ворота в Риме. Но в пещере рисунки были другие, более искусные. Похоже, кто-то из взрослых старательно вырезал их на стене ножом и обводил углём.

На одном рисунке был изображён человек с длинными до плеч волосами и добрым лицом. Он нёс на плечах овцу, но как будто не на заклание, а, наоборот, спасая от опасности.

Флор вдруг вспомнил, как однажды к ним домой под видом клиента приходил старик-христианин, громко ругался на мать, называл её заблудшей овцой. И Флор догадался, что человек с длинными волосами на рисунке, наверное, и есть тот самый Христос, о котором твердил строгий старик.

Мальчик ещё раз внимательно рассмотрел рисунок, потом достал нож и подрисовал овечке острые ушки и усы. Получилось, будто нарисованный на стене Христос несёт на плечах не овцу, а котёнка.

«Кто бы ты ни был, помоги матери, мне и Валенту, — прошептал Флор, обращаясь к рисунку на стене. — Или хотя бы матери и Валенту... А если

ты сразу так много не можешь, пусть хоть один из них сегодня не умрёт. Хотя все вы, боги — злые обманщики...»

От его телодвижений котёнок проснулся и снова стал царапаться. Флор достал его из-за пазухи и попробовал пристроить у себя на плечах, схватив за задние и передние лапы, как на рисунке. Но Валент вдруг совсем обезумел от страха, начал дёргаться, больно царапать шею, шипеть, как мать в забытьи.

И Флор сразу же очнулся, пришёл в себя: что он до сих пор делает в пещере? Вдруг, пока он тут тянет время, мать из-за него умерла?

Хорошо, река была совсем близко. Он забросит котёнка подальше в воду и крикнет: «Отец Янус, очисти от болезни мать!» Для верности можно прибавить: «Это и тебе, Нептун!», а они между собой сами разберутся.

Ближайший спуск к реке упирался в лодку, в который сидел рыбак и распутывал сети. Флор замер на ходу, лихорадочно вспоминая, где ещё поблизости есть тропинка под обрывом. Из-под его сандалий посыпались камешки, рыбак обернулся.

— Слышь, малец? Ни за что не поверишь, — обратился он к Флору, как к старому приятелю. — Чайка прямо в сети угодила... Вот, жадюга! А я гляжу, чё там крыло из воды торчит?

— А она какая? Белая?

— Белее снега. Да только уже не жилица. Как думаешь, что мне с ней делать? Обратно в воду бросить? Поохотилась на рыб, пусть теперь сама их кормит...

— Я сам! Мне... мне... мне отдайте! — тонко вскрикнул Флор. — Мне надо!

— Бери, не жалко. Только на что она тебе? Чего это ты, малец, весь дрожишь? Случилось что? Там у тебя за пазухой, случаем, не хлебушек? Я страсть как проголодался.

— Нет, это Валент... Мой котёнок...

— Ишь, ты, Валент! Важнецкое имя. Вот ему за это.

Рыбак бросил в траву мелкую, истерзанную рыбёшку. Флор опустил котёнка землю и тот набросился на рыбу, пытаясь ухватить её то за хвост, то за голову.

— Не кормишь, что ли? — засмеялся рыбак. — Первый раз в жизни такое вижу, чтобы птица в рыбацкие сети попала. Чудеса, да и только. Хотя ещё и не такое бывает. Один человек шёл по дороге — и живого Христа встретил.

— С овечкой?

— Откуда мне знать? Можешь сам спросить. Завтра в Рим приведут Павла-узника, это я про него. Пойдём его встречать к Капенским воротам?

Котёнок быстро наелся и уже играл в траве, гоняясь за своим хвостом.

Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Окончил ВГИК (художественный факультет). Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза художников и Союза российских писателей. С 2016 года живёт в Калуге.



«И ПУХ ИВАН-ЧАЯ, И СВЕТ НА ЛАДОНИ...»

Сны и тени

Исчезнув бледным силуэтом,
Сказал сосед мой Толик:
—Будь!
Луна своим янтарным светом
Ему очерчивает путь...

За бузиной и за сараем
Никто не ищет и не ждёт.
И дом почти необитаем,
Когда в нём Толик не живёт.

Он фиолетовые руки
В карманы тёплые вложив,
Плывёт по руслу старой муки
И обгоняет миражи.

Сквозь ветра тоненькие нити,
В съедобных лунных заливных,
Идёт культурный — извините! —
Встречая путников иных.

Но это только сны и тени
В недвижимой сумрачной реке.
Вот кот — реальный на ступенях,
И два ещё на чердаке.

Кружева

Больше всего на свете
Я люблю кружева белые,
Когда в шторах гуляет ветер,
А я ничего не делаю.

Когда я ничего-то не думаю,
И вокруг лишь туман и роса.
Небольшую сравнительно суммою
Я купил этот домик и сад.

Больше, больше всего мой свет
Из того, что на свете этом,
Я люблю накрахмаленный свет,
Накрахмаленные воротнички,
И поэтов.

Осенний ковчег

Опустишь, красноногий закат,
На мою невесёлую землю,
Где под крышей малейшей из хат
Я вечернюю пищу приемлю.

Я смотрю на свой детский портрет,
На твои покрасневшие руки,
Издают перепёлки нет-нет
В полумраке прозрачные звуки.

Тыквы нынче заполнили дом,
И цветы все под крышу собрались.
Я смотрю, понимая с трудом...
Как же вместе мы все оказались?

Желание

Луна какая — о-го-го! —
Плывёт путями древними,
Над аккуратным сном снегов,
Знакомыми деревнями.

Ах, я вот тоже полечу
В санях да с колокольцами,
Прижавшись зубом к калачу,
Мелькну я за околицей.

Над аккуратным сном снегов,
С луной — путями древними,
Мы полетим как — о-го-го! —
Знакомыми деревнями...

Печаль холмов

Иду в осенний вечер
И никого навстречу
В бескрайней и дрожащей влагой мгле.
Шумливых нет соседей,
Никто нигде не едет
И не идёт по стынувшей земле.
Лишь выгнутые холмы,
Печали чьей-то полны,
Бегут, бегут в сгущающийся мрак.
Не сочинить ли сагу
Про этих далее брагу
И дружественных, маленьких собак?

Коза

Коза с овальными глазами
Глядит в окно под небесами,
Сквозь золотой прямоугольник
Ей улыбнётся скромный школьник.

И вспомнит дяденька водитель,
Кометой промелькнувший зритель,

Что где-то, кажется в квадрате,
Коза сидит как председатель.

И скажут тёмные матросы,
Решая сложные вопросы
Под небом серым, как холстина:
— Вот люди держат животину!

Коза, собака, кошка Мурка,
В своей продолговатой шкурке,
Живут со мной под низким небом,
От моего питаюсь хлеба.

Коза с душой грустящей птицы,
Каких на свете единицы,
Глядит в окно под облаками,
Под их косматыми боками...

Гуси улетают

— Твоя жена гусей видала! —
Кричит мне Толик со двора.
Он точит лезвие кинжала:
— Уже курлыкают, пора!

Моя жена гусей видала?
Как интересно все живут!
А я видал — ольха дрожала,
И как змеился тёмный пруд.

Потом бродил в шуршащей чаще
И о Саврасове вздыхал.
Вот он — художник настоящий...
И полицмейстер так сказал.

А ведь она гусей видала!
Сквозь золотую кисею!..
А я, как флюгер из металла,
Продрог и тоненько пою.

Лунная шаль

На сердце... на сердце печаль.
А кошка на ней.
Гляжу в заборную даль,
И как-то светлей...

Всё тянет и тянет в плече.
Ну что ты пришла?
Пришёл пыльный комнатный зверь,
Кусочек тепла.

Твоя деликатная тень,
Усатый мой друг,
Щекочет мне сердце, и лень
Движения рук

Мне в сумерках делать и ног
На жизни кругу,
Вон лунный возникнул кусок
В седом пирогу.

На сердце... на сердце печаль.
А кошка на ней.
Накину я лунную шаль,
Так будет... светлей.

Лето

В краю, где небо таковое,
Как водоём.
Нам надо пожелтевшим полем
Идти вдвоём.

И, поднимая край пушистый
Своей щеки,
Я размышлять хочу о смысле
Небес реки.

Я размышлять хочу о цвете
Стеблей травы,
О тихом, симпатичном лете,
Таком, как вы.

Август

Летающие нити и кони седые,
Грубеющей тканью тяжёлые травы,
И пух иван-чая, и свет на ладони,
И свет над полями, и зелень отавы.

И всё это слито в немую картину,
В туманной олифе осеннего солнца:

В репейнике лошадь, косматая грива,
И стебель стеклянный, и ответ оконца.

Вздыхать или охать могу бесконечно,
Идя в длинных травах пред долгой зимою.
Всё это не вечно, все это не вечно!
И всё это впитано, впитано мною...

Клонитесь, клонитесь, тяжёлые травы,
Летите, пушинки, трещите, заборы,
Горите под солнцем, златые оправы,
Смотрите, о жёны, с разумным укором.

Фаберже

*Борису Ефремовичу Белову
при нашем последнем расставании*

Я пью протяжное прощанье
Пустых осенних берегов,
Пилы далёкое жужжанье
И гомон птичьих голосов.

Летят синички между травок,
Седых, устойчивых стеблей,
На луг стекает (рано-рано!)
Закатный розовый елей.

А Фаберже, пожалуй, други,
Сюда допущен был слегка.
Все эти шарики и дуги
В его сердечные бока

Вошли и — жизнь определилась,
Как серебристый ручеёк.
И, как таинственная милость,
На лоб спустился мотылёк.

Венера

Глубокая скважина вздрогнет,
И будет розетка трещать,
И лампочка будет неровно
Меня в темноте освещать,

И Толик появится в двери
И скажет:
— Во звёзды горят!
А это Венера.
— Уверен?
— Да все мужики говорят...

Погоду на завтра не знаешь?
Ну ладно, пойду досыпать.
Вот где-то скрипит, понимаешь,
А где — не могу я понять...

Глубокая скважина ухнет,
Вздохнёт и надолго замрёт.
И тут же все звёзды потухнут,
И Толик мгновенно уснёт.

Деревце

Я сегодня с деревцем прощался,
И оно как будто понимало.
Шляпу я снимал и улыбался,
А оно тихонько трепетало.

Ох ты, безответная судьбина!
Всё, о чём молчишь ты, — мне знакомо,

Жди пока какой-нибудь дубина
Подойдёт и скажет два-три слова.

Может, я — последний человечек,
Что к тебе по-русски обращался,
Что с тобою в несколько словечек
Кротко и разумно попрощался...

Зимние щи из квашеной капусты

Щи без сметаны — это день прозрачный,
День бабьелетний с ласковой тоской,
Где солнца луч, туманный, огнезрачный,
Прощается с любимейшим тобой...

Щи со сметаной — это мгла сплошная,
Пурга и в серебре далёкий путь,
И кто-то, в белом платье выбегая,
Кричит тебе:
— Сметаны не забудь!..

Как любит русский этот воздух вольный
В молочно-фосфорическом огне...
И труден — ох! — вопрос твой
протокольный —
Какое состоянье выбрать мне?

Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более двадцати лет работал врачом-психиатром. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом» имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.



МОЛОДАЯ ЛУНА

Повесть

1

Мы, группа студентов-первокурсников Воронежского медицинского института, приехавших в колхоз на уборку урожая, оказались на хуторе Бык. Из-за одних таких названий нашу карту средней России можно рассматривать бесконечно. Есть тут и Дураки, и Никола-Ленивец, и Вечность, и даже Водка...

Сохранилась фотография, и все на ней такие серые-серые. Серые ватники (видно, день был холодный), серые платки и кепки, а лица сквозь серость всё равно юные, с выражением серьёзно-насуспенным у большинства.

Хутор расположен был на высоком берегу Дона, на крутой его излучине. Хотелось смотреть и смотреть, и даже сделать что-то с открывшейся красотой и мощью, но делать было нечего. Обнять разве попытаться, широко расставив руки.

Дворов на хуторе было десятка два, в них студентов и расселили. Нас с другом моим Генкой и ещё пятерых определили к старушке, жившей с внучкой лет шести. Спать можно было или на земляном полу хаты, на соломе, или на чердаке, на соломе тоже.

В первое же утро оказалось, что никакого отхожего места во дворе нет, и хозяйка-старушка, не смущаясь нисколько, посоветовала ходить «вон в ту лесополосу». Ну мы и ходили в неё через пустырь, и даже забавно порой было встречать возвращавшихся оттуда девиц. Уж сколько потом похожего, автобусного было: «Мальчики туда, девочки сюда». Кому-то это претило, а мне нравилось даже. Демократизмом таким на биологическом уровне.

Завтракали и ужинали мы всей командой человек в двадцать во дворе одной из хат, за длинным, наспех сколоченным из неструганых досок

столом, толчёной картошкой с мясом. Главным это оказалось блюдом и на этот колхозный срок, и на два последующих. И ничего вкуснее и сытнее этого для меня не было потом.

Рядом с хутором лежало большое кукурузное поле, которое мы и должны были убирать. Милая, в общем-то, оказалась работа: идти по сухой, комковатой земле между двумя высоченными, в полтора роста, рядами кукурузы, початки обламывать и складывать в мешок из новенькой, приятно пахнущей, шершавой мешковины. Идёшь с ноги на ногу, початки с хрустом ломаешь, съёшь в мешок, а с обеих сторон, то рядом, то впереди или сзади, кто-то тем же самым занимается. Чудесно: и один ты работаешь, но и в компании тоже.

Во время уборки я влюбился в кукурузу. Какая мощь в стебле высоченном, какая милота в початках длинных с густыми пучками нитей в конце, то зелёными ещё, то желтоватыми, то чёрными почти! И как приятно было «раздеть» початок, разломив вдоль плотную, сочно хрустящую его одёжку. А под ней новое чудо: нагой початок с ровными рядами то белейших, то желтоватых, то жёлтых крупных зёрен... Есть можно было кукурузу и сырой, в её «молочно-восковой» спелости, и варёной, и поджаренной на живом огне. Всякая она оказывалась вкусной и сытной.

Пели мы в колхозах много. Всё к этому располагало: молодость, воля, компания тёплая. Почти везде всегда можно было петь — и во время работы, и идя на неё или обратно и особенно по вечерам, где-нибудь на куче соломы. Да и пора наступала во всей стране самая певческая: шестидесятые годы на пороге были.

Иногда и выпивали перед тем, как идти к девчатам в солому песни петь. Целая была процедура с чуть знобящим и тем приятным ощущением греховности. Скидывались по «рваному» (рублю то есть), покупали водки у магазинной продавщицы на дому, добывали стакан, один на всех всегда, и что-нибудь загрызть-занюхать. Становились в кружок, в место укромное, разливали при свете спички водку и пили: кто давясь, а кто и лихо вполне.

Початки кукурузные были наконец со всего поля собраны, и настала пора поле это на силос косить. Приехал колёсный трактор «Беларусь» с синей кабиной и притащил за собой зелёный кукурузно-уборочный комбайн, чем-то напоминающий громадного кузнечика. Тут же и грузовик подоспел, в кузов которого забрались мы с Женькой Колесниковым.

Три механизма тронулись, такие разные, пошли-поехали тесно, и из хобота комбайна ударила то густая, то жиденькая струя мелко изрубленных кукурузных стеблей и листьев. И соком травяным сразу же запахло мощно, горько и кисло. Мы с Женькой стояли с вилами у боковых бортов напротив друг друга и смотрели, как растёт перед нами ворох рубленой кукурузы. Вот с краями бортов он сравнился, и мы начали разгрести, разравнивать его вилами. Борты скоро скрылись, а ворох всё рос и рос, а мы всё растаскивали и утаптывали его. Приходилось и под струю, бившую из высокого хобота, попадать, и она окатывала тебя всего, напоминая зелёную, плотную, тяжёлую воду. Кукурузный сок заливал лицо и тело, запах его забивал ноздри, и мгновениями казалось, что ты барахтаешься в плоти, утробе самой природы...

Ворох над кузовом рос, начиная покачиваться на ходу всё ощутимее, а земля внизу отодвигалась всё дальше. Между кукурузой в кузове и обрезом хобота зазор исчез почти, и тут трактор, комбайн и машина остановились.

Ехать потом, лёжа на спине, было истинным наслаждением и от расслабленности после напряжения работы, и от баюканья мерно качавшейся горы из рубленной кукурузы, и от прохлады её сырой, такой чудесной на жаре. А ещё и от неба прямо у самых глаз.

Так работали мы с утра до вечера около недели, и ни в погоде прекрасной ничто не менялось, ни в работе чудесной. У меня мелькало даже, что так бы можно и месяцы, и годы прожить: в нашей именно хате со спаньём на соломе, с той же именно компанией милой, с той же работой вольной и азартной. И даже с едой неизменной: толчёной картошкой утром и вечером, обедом прямо в поле мясом холодным, тёплым хлебом и густым, пахнущим детством молоком...

Остаток колхозного срока мы проработали на току. Тоже хорошая была работа. Перелопачивать зерно, чтобы не «загорелось», а то и машины им нагружать вручную, если погрузчик вдруг ломался. Очень хороша, мила была стихия зерновая, близкая душе до самых тайных глубин. Так, словно ты её вместе с молоком матери в себя когда-то вобрал.

А лучше всего были поездки на элеватор для сдачи зерна поздними вечерами. Лежишь на тёплом или похолодевшем уже зерне, массу тяжкую его под собой с удовлетворением странным ощущаешь, ход машины стремительный чувствуешь, а над тобой ветерок скорости тёплой степной ночи. И звёзды, а то и луна. И почему-то интересно было прикинуть, какая она: в убыли — старая, или в прибыли — молодая?

Въезд на территорию элеватора был, как внезапный в город въезд: огни, шум пёстрый, люди... Иногда приходилось машину вручную разгружать, и вот это была работа авральная, до седьмого пота, чтобы другим машинам поскорее место освободить.

А на обратном пути, стоя в кузове у кабины, часто пели. Пели, не слыша из-за встречного ветра ни соседа, ни даже самого себя...

Отъезд наш получился довольно забавным. На станции мы оказались часа за два до отхода поезда и мысль выпить, отметить отъезд возникла неизбежно. Словечко даже мелькнуло интересное, с армейским, старинным прикусом: «стремянную» принять.

К глубокому нашему разочарованию, ни в одном магазине спиртного не оказалось. Никакого, даже шампанского вечного и неизменного. Продавщицы объясняли, улыбаясь, что приказ такой поступил: спиртного до отъезда студентов не продавать.

Времени у нас было много, я и предложил Женьке Колесникову на окраину посёлка прогуляться: вдруг туда приказ не дошёл? Приказ-то повсюду дошёл, но зато углядел Женька в одной из забегаловок, в дальнем углу, на верхней полке, бутылку ликёра «Розовый», которая, похоже, простояла там годы. Продавщица и соблазнилась случаем сбыть её.

В пустой забегаловке было душно, как в бане, ликёр был отвратительно сладким и липким. Захмелели мы как-то особенно быстро и блаженно. И такой разговор у нас душевный пошёл, что мы и про поезд забыли. Очнувшись, лишь гудки паровозные, настойчиво-призывные, услышав. Ну и бросились бежать в их сторону изо всех, хмелем подорванных сил. И, надо же так совпасть, на подножку последнего вагона запрыгнуть успели. Отдышавшись, пошли по вагонам, отыскивая своих ребят-девчат. И покачивались преувеличенно, показывая, что вот мы-то, в отличие от всех остальных, «стремянную» принять сумели. А в том, как красавица Людя Благоразумова встретила с в о е г о Женьку, было что-то такое, что у меня даже сердце защемило.

2

Много жилья поменялось за время учёбы, и каждое помнится до мелочей. А первое вообще оказалось прямо-таки судьбоносным: вошёл в комнату, которую мы с Генкой сняли в обшитом зелёными досками домике, сутуловатый, светловолосый, под «ёжик» стриженный парень нашего примерно возраста и представился, как сын хозяев. Разговорились мы с ним и вот продолжаем разговор, то устный, то письменный, седьмой уже десяток лет.

«Совпали» мы как-то сразу, с самых первых фраз. А часа через два, к концу первого нашего разговора, я неожиданно для самого себя сказал, что, хоть и поступил в институт медицинский, но стать хочу писателем. Никому ещё этого не говорил, кроме Ирины и Генки, и надо же было так «расколоться»!

Не раз я думал, получив от него письмо или собираясь ехать к нему в Воронеж: сколько же это может продолжаться? Генки, первого моего, с детсадовских времён, друга давно уже нет на свете, а Гребень, Юрий Филиппович Гребенников, слава Богу, жив. И живёт в том же самом зелёном домике, в который мы с Генкой впервые вошли когда-то жизнь тому назад. Это и хорошо, и грустно почему-то...

* * *

Вторую квартиру мы нашли быстро, по подсказке. Дом каменный, угрюмо-тяжёлый, крылечко, дверь открыта, а в двух метрах от порога люк погребка зияет, чёрный такой квадрат. Оттуда руки показались с банкой стеклянной, красно-помидорной и красноватое мужское лицо с седым ёжиком над ним. И хриплый голос прокричал: «Земля треснула, и черти выскочили!» Оказалось потом, что этой фразой хозяин встречал совершенно всех, к нему приходивших.

Узнав в чём дело, он привёл нас в довольно большую комнату, со столом и двумя кроватями привычного уже нам образца: ржавенькое железо и доски. А за печкой, в закутке, и третья такая же оказалась. Показывая, хозяин предложил тут же кому-нибудь её занять. Мы отказались, и он сказал: «Дураки: лучшее место! Тепло и маркизу можно пригласить». Потом оказалось, что «маркизами» он всех женщин, возраста не учитывая, называет. А дом свой, которым гордился, «Виллой а ля Базиль».

Василий Алексеевич его звали, или заглазно, Васюнчик, Васятка, Вася Хрипой. Жил он один, на пенсии, а про место последней, долгой работы говорил с гордостью: «Руководитель самодеятельности Дорпрофсожа Ю. В. Ж. Д.!» И неплохо, признаться, звучало...

Время проводил в суетливых хозяйственных хлопотах, постоянно приговаривая: «Дом невелик, а присесть не велит!» Или: «Без хозяина и дом сирота». Одевался во всякую рванинку, довольно живописную, но раз, примерно, в неделю становился франт-франтом: коричневый коверкотовый макинтош, шёлковое белое кашне, жёлтые туфли, шляпа и фотоаппарат на ремешке через плечо. К «маркизе» визит, так это называлось. Женат никогда не был, но имел в молодости роковую, трагическую любовь, о которой вспоминал иногда за рюмкой со слезами на глазах.

Нередко навещали его бывшие постояльцы с выпивкой, и тут он весь пылал. Закуску азартно готовил, напевая что-то опереточное, бодренькое и непременно произносил тост, начиная им застолье, всегда один и тот же: «За наших матерей!» А разгулявшись, мог пропеть голосом хрипло-дребезжащим: «Так наливай сосед соседке, соседка любит пить вино! Вино-вино-вино, оно на радость нам дано!» А иногда и на табуретку вскакивал и восклицал: «За маркизок!» Выпивал и выплёскивал донные капли в потолок. Целое представление получалось.

Всё было бы хорошо для нас на вилле «Базиль», если бы не голод поздними вечерами и не холод зимой. Иногда мы с Генкой не выдерживали, переглядывались понимающе, и кто-нибудь бормотал: «На вокзальчик?..»

Затея была часа на два и больше: ходьба, трамвай, редкий в эту пору. И молчали мы сплошь почти: туда от голода, оттуда от сытости.

Вокзальный буфет был в подвальном этаже и работал всю ночь: только кофе, бурда тёпленькая, и пирожки-булочки. А над буфетом огромная картина: Сталин с лопатой в руках. Стоит в мундире без погон, опирается на черенок лопаты в позе отдыха, и смотрит прямо на тебя с лёгкой, добродушной улыбкой. Уютный такой Сталин... Наевшись до отвала, мы, как и дома, переглядывались и вставали...

Вася наш Василёк то ли экономил на топливе, то ли печка была плоха, но холод у нас в комнате стоял зимой мучительный. Защита от него была одна: приходиться домой только ко сну, что мы и делали.

Надевали на себя почти всю наличную одежду, включая шапку-ушанку, и в постель, на доски, прикрытые лишь ватным одеялом. Генка сразу с головой закрывался, а я всегда почти прочитывал главку из «Войны и мира» Толстого. И так она почему-то въедалась в душу, что мешала заснуть, добавок к холоду. Запомнился мне роман с этого прочтения так, что в следующий раз его перечитывая, я чувствовал с удивлением, что читал всё это едва ли не вчера.

В середине зимы хозяин уехал в Москву почти на месяц, объяснив нам, как разжигать печку, а мы этого сделать не смогли. Много вечеров бились: не горит, хоть тресни! И пришлось нам уже не в холоде, а прямо-таки в стуже настоящей жить, дожидаясь хозяина и проклиная и его, и себя, и печку...

Вот тут-то я и узнал по-настоящему, что такое бессонные от холода ночи. И что такое странный при этом пот, липкий, как клей — не от жары, а от холода. «Это воды Стикса, я узнаю их...» — продиктовал когда-то дочери умирающий от голода и холода Василий Васильевич Розанов.

Боясь холода до паники, я переживаю его несравненно тяжелей, чем голод. И когда при случае прикидываю на себя ситуацию войны или иного экстрима, то холод пугает меня сильнее всего. Душа от него замерзает, вот что ужасно...

Вот так прожили мы с Генкой на вилле «Базиль» целый учебный год. Потом я переехал в общежитие, а Генка на другую квартиру.

Лет через шесть, уже живя и работая в Калуге, получил я от Василия Алексеевича письмо и даже фотографию: в парадной, уже описанной, форме. Вокруг что-то южно-курортное, а сам Василий Алексеевич совершенно прежний. Я не очень-то и удивился, зная его общительность редкую и памятьливость на постояльцев. Даже переписка небольшая между нами произошла, и в каждом письме передавал он привет жене и «проказнику Андриюше», сыну то есть. И даже приехать в гости собирался, но письма его вдруг прекратились. То ли заболел тяжело, то ли умер... Пришлось погрузиться, по-вспоминать и его, и виллу. Особенный был человек. Мирской, вот именно. И жил на миру уютно как-то, совсем по-домашнему...

* * *

Общежитие, «общага» меня сразу очаровала. Казалось, что так можно и жизнь прожить: в комнате на семь человек, где приходилось буквально протискиваться между кроватями и тумбочками. И комната, и всё общежитие представлялись театром, где шло бесконечное, интереснейшее представление, в котором и самому приходилось время от времени участвовать.

Самое интересное всегда для меня люди: вот несколько соседей по комнате в первом в жизни общежитии.

Димка, первокурсник, поступивший в институт вне конкурса, как производственник: мотористом на большом речном катере работал. Запомнился тем, что из постели даже днём редко вылезал. И тем, главное, что полюбила его, какой-то дикой, таинственной прямо-таки, любовью толстая, страшненькая девица с женского этажа общаги. Татьяна, Танька-Встанька, как иногда её называли. Заходила в комнату нашу без конца, и в дальний угол к Димке. Он был с ней откровенно насмешлив и груб, иногда гнал прямо-таки от себя, а она уйти не могла. Ясно это было видно, ну не может уйти человек, ноги не идут. Сначала мы похохатывали над всем этим, подшучивали, а потом и попритихли. Догадывались, может, что тут не комедия перед нами разыгрывается, а драма безответной любви...

Димку из института быстро выгнали, но, вернувшись после зимних каникул, мы застали его всё в той же кровати: не спешил из общаги уходить, зацепился как-то. Но было и новое: вся стена над кроватью в царапинах, бороздах и выбоинах оказалась. Рассказывал он со смехом, что Таньку прищучил, затащил в сапогах в постель: она стенку, отбиваясь, и повредила.

На вопрос, достиг ли цели желанной, только рукой махнул: «Нет, отбилась, зараза!»

После этого отношение наше к Таньке резко похолодало. Почувствовали, похоже, что, если «отказала», да ещё так несокрушимо, значит, нет тут для неё ни трагедии, ни драмы...

Володя Крюков, сосед мой по кроватям. Астеник высокий с беззащитным, детским выражением лица. Но щетина на этом лице росла густейшая, до синевы после бритья. Пятикурсник, на два года меня старше. Отношения у нас были самые дружеские. Из вечных отличников он был.

Сидим как-то на кроватях друг против друга, и я ему, неожиданно для себя, пожаловался на какие-то сложности в делах с подружкой.

— Эх, Юра... — вздохнул он. — На что ты жалуешься? Я такому лишь позабавить могу. У меня ж только и есть в жизни, что зачётная книжка.

И даже в тумбочку руку сунул, достал зачётку и шлёпнул ею по коленке.

А он и вправду всегда один мне попадался, идёт, бывало, навстречу один-один своей сложной, с качанием винтовым, походкой астеника — за сотню метров узнаешь. И ни с девицей, ни на танцах многочисленных его было не встретить. Только в залах и зальчиках читальных. И непонятно было, почему? Красивый же парень, умница, характера чудесного... Да ещё и щетина такая: гормоны, стало быть, работают вовсю...

Приехал я в Воронеж через пять лет и с ним у института встретился. Обрадовались друг другу, разговорились. Оказалось, что он аспирантуру окончил и работает на кафедре физиологии ассистентом. Вид заморённый, в глазах смесь тревоги и тоски, не замечавшаяся раньше.

— Видок у тебя... Работа, что ли, тяжело даётся?

— Да что там работа! — Помолчал, вздохнул, глаза свои тоскующие поднял. — В студентку свою влюбился... — Ещё помолчал. — Боюсь, умру...

Я опешил прямо-таки. Стою, молчу, жду продолжения. И он молчит, а потом руку вдруг протягивает.

— Пошёл я, извини... Да я тебе только и сказал. Вырвалось как-то...

И пошёл замысловатой своей походкой. Я шагнул было вслед — догнать, сказать ему что-то... И остановился. А что тут скажешь?

Долго потом эта встреча в голове у меня держалась. Хотелось что-то понять, суть некую найти. Ждал он, выходит, много лет этой неведомой мне студентки, вот и дождался...

Коля Юровский, великан таинственный и лежень, вроде Димки. Лежит, бывало, даже обувь не сняв, заложив руки за голову, и в потолок смотрит. И молчит-молчит. И о чем-то думает думу великую и до поры никому неизвестную. Илья Муромец какой-то, мелькало у меня. Как думу додумает, так и подвиги пойдёт совершать.

Один он даже и совершил, с моей подачи. Получал я иногда из дома ящик с жареной курятиной и на стол сразу его выставлял для общего угощения. Или сразу курятину съедали, или всё-таки оставалось кое-что на дне. А тут один Юровский в комнате оказался, я его к ящику и пригласил. Стали есть не спеша, я уже и на спинку стула стал отваливаться, сытый

по горло. А Юровский вдруг посмотрел на меня своими непоколебимо спокойными глазами и спросил:

— А можно, я вволю поем?

— Давай-давай...

Он и съел оставшиеся пол-ящика, а я понаблюдал за этим его подвигом с кровати.

— Премного благодарен, — сказал он по-старинному и головой глубоко кивнул.

Вообще, был склонен к старым, редким в употреблении словам. И умным был, очевидно, но книг в его руках я как-то и не видел.

Да, кое-что из одежды он изредка продавал и сам это называл «торги Юровского». Даже оповещать о них просил нас, соседей, чтоб конкуренция на «торгах» была.

Судьба этого богатыря осталась мне неизвестной. А интересно было бы узнать: куда в конце концов приспособил он свою силу непомерную? Или она истлела так, в самой себе...?

* * *

Перед майскими праздниками подхожу к институту и вижу над входом четыре больших портрета: Маркс, Энгельс, Ленин и Хрущёв. Бросилось в глаза, как «волосатость» их слева направо убывает плавно: от максимальной у Маркса до отсутствия её у Хрущёва. Усмехнулся, а потом подумал: Хрущёв-то здесь откуда? Из другой он совсем вроде бы оперы... Может, тут же это и забыл бы, да лекция в тот день подвернулась по истории КПСС, на которую забрёл, чтобы на лекторшу, старушку Адмони, полюбоваться. Во время гражданской войны из Испании она к нам приехала, самой Ибарури, говорили, соратница. Маленькая, сухая, с голосом пронзительным, глазами огненными. Иногда во время лекции даже туфли девчоночьи свои сбрасывала и стояла, переминалась, на цыпочки вставала в одних носочках. Чудо, а не старушка. И хотелось в конце лекции крикнуть, подняв кулак: «Но пассаран!»

А я вдруг подумал, что вот ее-то про портрет Хрущёва и надо спросить, это ж напрямую её касается. Ну и спросил.

Думала она долго, даже как-то померкла вся. Наконец сказала: «Да, вы правы, тут что-то не так. Классики марксизма-ленинизма — это одно, а руководитель страны совсем другое. Надо разбираться».

А на другой день портрет Хрущёва исчез. Доволен я был очень: в такое дело влез с победой!

Через месяц примерно меня из общаги и выгнали. Под компанию попал, под «чистку» молодёжи, студентов прежде всего. Милиция стала задерживать на улице парней в узких-узких брюках или с волосами до плеч. Брюки распарывали по шву до колен, а волосы остригали под «ноль» и отпускали. И опять я подумал, в некоем «политическом» плане: неужели они не видят, какой ширины брюки на Ленине, на памятниках ему, и какой длины волосы на фотографиях Чернышевского, Белинского, Герцена? Хорошо бы и тут подсказать кому-нибудь...

«Чистка» и общаг наших институтских коснулась, конечно. Ходила комиссия по комнатам, в шкафах шарила и в тумбочках в поисках «криминала», спиртного прежде всего. Безобразная была картина, и один парень с последнего курса сказал, не выдержав: «Вы скоро в промежность к нам ползете!» Шум, говорят, был большой, даже исключать сгоряча из института его вроде бы собрались, но одумались. Ведь фразу-то эту придётся в протокол заносить, в ней же «криминал».

В разгар «компании» сидел я поздно вечером с подружкой в сумрачном конце коридора чужого этажа на диване, напротив двери в комнату. Какой-то парень плечистый дошагал не спеша до нас вплотную, наклонился, взглядываясь. Лицо смутно мне знакомое, хмельное и злое. Рыжий к тому же.

— А ну, пошли отсюда! — пробасил-прохрипел. — Повадились тут, понимаешь...

Повернулся и за дверью комнаты исчез.

Я сидел вялый, в «расслабухе», и не вдруг сообразил, что сказанное оскорбительно, да ещё при подружке. Вскочил, к двери рванулся, но она оказалась запертой, что в общаге бывало редко. Стал стучать, плечом в неё толкаться. Не открывали, не открывали, да и открыли. Другой, совсем уже незнакомый парень, на пороге возник, отталкивать меня начал. Ещё один появился, а там и рыжий замаячил. Стали они теснить-толкать меня от двери по коридору, да и подружка в этом им помогала, меня оттаскивала. Но кулаков, точно помню, никто в ход не пускал.

А на другой день вызывают меня в комитет комсомола и объявляют, что я драку в общежитии ночью учинил и требуют объяснений. Я сразу понял, что дело плохо: и по реакции этой быстрой, и по тому, что «чистка» как раз в разгаре была. И угадал вполне: исключили меня из общаги.

Огорчился я сильно, потому что уж очень жизнь общежитийскую любил. Чувствовал, что меня словно из рая изгоняют. Благо ещё, что было куда переселиться: к Генке, была у него на квартире свободная койка...

* * *

На крутом спуске к реке Воронеж, берегу, в сущности, водой давным-давно покинутом, лепились друг над другом домики-домишки, всегда деревянные, лёгкие, иных склон удерживать не мог. Что-то необыкновенно милое было в них, простецкое, доверчивое, к себе притягивающее. Если смотреть сверху вниз, то дворики их так беззащитно, так приветливо показывали содержимое своё незатейливое: сараи и сарайчики, будки, будочки, печурки летние, верёвки бельевые... А крылечки с тремя-четырьмя ступеньками так и звали взойти по ним или присесть-посидеть. Виднелись в двориках иногда и люди, женщины в основном спокойной какой-то и оттого завидной занимавшиеся работой: то над тазом склонившись, то над грядкой... И садики-огородики крохотные тоже были очень милы и заманчивы.

Удивительно хороши были и улочки-проходы между домами, всегда сверху вниз: к реке, к реке... Устраивались и укреплялись эти улочки многие годы, и чего там только не было для крепости и упора: дерево, камень,

кирпич, щебень, жость, железо самое разное... И с каждой улочки река виднелась, река, река... Самое же, может, удивительное, что каждая улочка сверху вплотную к самому центру города подходила: только что ты был у реки, поднялся по улочке не спеша: и вот уже проспект Революции шумит-гудит державно...

Вот в один из таких домишек на склоне я и попал после общаги. Если чем-то он и выделялся в ряду других, то крайней, удивление вызывавшей древностью и дряхлостью. Перед входом в «нашу» комнату даже нескольких половиц не было, а лежали доски в виде мостков.

Хозяйка этой хижины была ей под стать: крошечная горбатая старушка с лицом, словно бы мхом тронутым от старости. Как она отживалась держать у себя таких обалдуев, как мы, было непонятно: пенсию ведь ей регулярно носила почтальонша. А деньги, к чему они были ей? Хорошо помню, как ловко цапала она мою красную десятку крохотной ручкой-лапкой и прятала в своё тряпье...

Кроме нас с Генкой в комнате жили двоюродные братцы, Валерка, наш однокурсник, и Копайчик, как все его звали. Трудно было представить более разных людей. Валерка был смазливенький такой, тихий мальчик, которому удавалось оставаться прилизанно-аккуратным даже в нашем бардаке. Всё возился вокруг самого себя, удобства ради, или учебник лениво листал. Часто голову полотенцем зачем-то повязывал. Любимое занятие: гоголь-моголь делать, а потом медленно есть-смаковать. Блюдо, кстати, популярное тогда, а теперь, возможно, выпавшее из обихода. Немудрёное такое: желтки яичные от белков отделить, сахаром засыпать, взболтать и готово. Так я его и не попробовал, хотя собирался из интереса. Мутило от одного вида приготовления...

Копайчик же был вылитый гоголевский Ноздрёв. Даже в университет поступил по-ноздрёвски. Как раз в начале вступительных экзаменов прошёл в Воронеже страшный по силе, длительности и крупности ледышек град. Чуть не все окна в городе выбил, людей немало ранил, а маленькую девочку, по слухам, вообще «засёк». Вот Копайчик и сыграл игру под этот град. Бинтовал голову и в таком виде на экзамены являлся. Всегда спрашивали, что с ним? Всегда отвечал: ребёнка спасал от града. Ну что было делать экзаменаторам? Четвёрку ставить, не меньше. И ставили...

Удивился я как-то роскошным, ресторанного вида, ножам и вилкам у братцев. Копайчик и объяснил с совершенно невинным видом, что он их из ресторана утащил. И добавил, что в Луганске, откуда он приехал, ему вообще в счёт заранее нож с вилкой ставили, знали за ним такую слабость...

С первого же дня стал он у нас с Генкой деньги занимать, по очереди. Без отдачи, разумеется. Когда же давать перестали, то прозвище нам за это придумал: «Тимовские волки». Очень хорошо, по-моему...

Когда мне через год, пятикурснику уже, вновь дали место в общаге, я и рад был, конечно, но и хижины старушкиной было жаль. Трусобность жилья была привычна, мила даже, вызывая странное чувство, что живём мы не в доме-домишке, а в кибитке кочевой, которая вот-вот с места стронется

и поедет куда-то. Возможно, дворик, травой дико заросший, вид с него на волю-вольную приречного луга и реки это чувство вызывал. Сидишь, бывало, с книжкой среди дворового бурьяна под полузасохшей яблоней, и как-то не верится, что самый центр большого города в двух шагах...

3

Медицинский институт был и остаётся, уверен, одним из самых трудных вузов — объём информации, которую надо усваивать, поистине громаден. На «понимании», которое так выручало меня в школе, тут далеко не уедешь. Надо прежде всего знать, и как можно точнее. Была и ещё причина, утяжелявшая мне учёбу: единственная «тройка», полученная в сессию, лишала стипендии на целых полгода. Получая от матушки весьма небольшие деньги, я такой «роскоши» не мог себе позволить. Вот при таких обстоятельствах и надо было как-то «писателем стать», так я формулировал главную свою жизненную задачу. Стать врачом, и желательно хорошим, это было всё-таки дело второе.

Начал я лекции пропускать для занятий своих литературных, пока не выяснилось, что и за это стипендии лишают, если превысишь некий лимит. Так и проучился я весь первый курс, вырывая с трудом и редко, пару часов на дело своё главное. Хорошо сдал обе сессии, а в начале второго курса меня осенило: надо со старостой курса, Николаем Никоновым, поговорить, он ведь журнал посещаемости лекций ведёт.

Николай был вполне зрелым мужиком, уже и фельдшером поработав, и в армии отслужив. Отношения у нас были вполне дружеские: в сборную института по лыжным гонкам оба с первого курса, с первого сезона вошли. А мало что так быстро и крепко связывает людей, как спорт. Одни эстафеты командные чего стоят! В них даже что-то от боя, в котором победить надо, чувствуется... На мою просьбу ставить мне «плюсы», если меня на лекциях и не будет, Николай молчал долго. Потом спросил, как сессии сдал. Кивнул одобрительно и итог разговора подвёл: «Ладно, буду отмечать, хрен с тобой. Но это, пока учишься нормально, понял?!»

Вот так я и получил «вольную» на целых пять лет. На лекции начал ходить выборочно, а на старших курсах и вовсе перестал — литература затягивала в себя всё глубже. Но учёба шла нормально, один только раз сбой вышел на страшной для всех фармакологии: схватил-таки «тройку». Не повезло дико, билет совершенно незнакомый попался: то ли выпал он из моего билетного набора, то ли прозевал я его?

Без стипендии пришлось туговато, но приспособился я быстро. Хрущёв помог. Объявил, что уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме и вскоре, для начала как бы, сделали бесплатным хлеб в общепите. Лежал он горками, чёрный и белый, бери, сколько хочешь. А рядом блюдо с сахаром — сколько хочешь, в чай сыпь. Вот это и решило для меня проблему питания, самую для кошелька трудную. Чай стоил две копейки, салат овощной четыре, гарнир от второго блюда пять и полпорции супчика

простенького тоже пять. А если денег совсем не было, то можно было одним хлебом с горчицей наесться до отвала. Такая кормёжка вполне организм удовлетворяла — я и тренировался, и в соревнованиях участвовал точно так же, как и раньше. Когда вернулась стипендия, пришлось даже некоторое усилие сделать, чтобы вернуться к прежней диете, так мне новая сделалась легка и мила...

Экзамены же хорошо сдавать удавалось, занырявая в учебники на время сессии со всеми потрохами, как в воду. Даже окружающий мир начинал по-иному восприниматься, каким-то зыбким, чуть нереальным становясь. Было в этом даже что-то приятное, лёгкое опьянение напоминающее. И, самое уж удивительное, в некоторые предметы при таком их изучении я словно бы влюбляться начинал. В те, которые не одного запоминания, но понимания именно требовали: в физиологию, например. Так она мне стала интересна, что хоть жизнь ей посвящай вместо литературы. Тогда как раз писали много о физиологе Гансе Селье, авторе теории стресса. Я даже книгу его нашёл и прочитал с огромным интересом. Название книги забыл, а вот эпиграф к ней всю жизнь помню: «Тем, кто не боится стресса жизни».

На пятом курсе пошёл цикл психиатрии. Я давно о ней подумывал: как-никак, а о душе человеческой наука, пусть и о больной. Недалеко от писательства и философии стоит. Да и были психиатры с мировым именем — Фрейд, Юнг, Адлер — философами-писателями одновременно.

Почитал я внимательноше учебник психиатрии, на практические занятия с разбором клиническим больных походил, съездил в составе студенческой группы в Орловку, областную психиатрическую больницу огромную, старинную, и почувствовал с полной определённой: вот оно, моё!

В Орловке было кое-что, могущее и смутить, и оттолкнуть даже: огромность палат, множество больных странного, мягко говоря, вида, шум, крик, смотрители-санитары, здоровенные мужики разбойной какой-то внешности. Но и это, чувствовал-догадывался я, моё тоже. О душе ведь всё здесь в конечном счёте, о душе...

А один больной меня прямо-таки восхитил. Вскочил на кровать, внимания властно так, привычно потребовал и продекламировал выразительно, по-актерски:

— У свободы крылья велики, но не сладят с нею дураки!

Помолчал и ещё выдал:

— На Воронеж-второй пришло два вагона лаптей. Дар напрасный, дар случайный: всё равно их носить не будут!

* * *

Вспоминаешь учёбу, а вспоминаются-то люди. Свой брат студент, преподаватели, больные... Вспоминаешь учёбу, а вспоминается-то жизнь. Чем занимались, когда, с кем и какая была погода... А, собственно, учёбу как вспомнить? Читал, слушал, смотрел, понять и запомнить пытался, ну и сделать иногда собственными руками что-нибудь... А потом опять люди, лица, голоса...

...Ректор Одноралов, бычьей какой-то внешности и повадки человек. Идёт по коридору из кабинета или в кабинет, смотрит прямо перед собой и на встречаемых, здоровающихся студентов не обращает внимания. Ему и кивнуть-то трудно, такой загривок. Лицо обширное и всегда одинаковое, спокойно-угрюмое, щёточка седых усов под вислым носом. Одинокий-одинокий такой, и кажется, что таким и должен быть ректор. И дверь кабинета его непоколебимо закрыта, будто только он и открывает её. Он и лекций не читал почему-то, и не говорили о нём почти, но его присутствие всё-таки в институте чувствовалось таинственным каким-то образом.

Есть китайская мудрость, что о властителе народ должен знать только то, что он существует. Вот наш ректор почти таким и был, так мне представлялось. Слышал о нём только, что уехал в эвакуацию в войну, лишь рюкзак махорки захватив, и что получает в месяц семнадцать тысяч. И ещё, что на экзаменах очень снисходителен и на оценки щедр.

Сменил его к концу нашей учёбы рыжий, тощий, быстрый мужичок, перешедший в институт с поста начальника всей областной медицины. Ну тот показал такую активность, что Одноралов вспоминался студентам, как ангел небесный.

Лекции же по анатомии, по главному на первом курсе предмету, читала Калерия, как все её звали. Говорят «божий одуванчик» — так это о ней. Лицо у неё было странно молодое под нимбом чистейшей, с голубоватым отливом, седины. Читала она с наслаждением, особенно когда термины латинские выговаривала, выпевала прямо-таки. А на первом же занятии практическом в анатомичке, достала из кармана халата пачку папирос «Наша марка» и ухватисто так, смачно закурила. И объяснила, обеда всех весёлыми глазами: «С фронта привычка...».

Удивительно, что вторым, так же влюблённым в свою науку, лектором оказался патологоанатом, который начал вводную свою лекцию фразой: «Групп, дорогие друзья, это поэма!»

А удивительней всего, что через много лет рядом с моим кабинетом психотерапевта оказался кабинет патологоанатома Юрченко Павла Тимофеевича, тоже влюблённого в патанатомию по уши. Уж как им, всем трём, удавалось любить такую, страшноватую на взгляд со стороны, работу, тайна есть. Свыше дар, не иначе...

Завкафедрой физиологии Конев — по прозвищу, конечно, «Конь». Соответствовал он этому вполне, даже и с избытком. Не только из халата медицинского, но и из науки своей, казалось, как-то «выпадал», со своей фигурой громадной, костистой, с лицом под стать, с голосом трубным. Читал прекрасно, с яркой простотой и напором. А если при демонстрации опыта что-то не получалось, объявлял громогласно, с оттенком трагичности: «Мы нар-р-р-вались на патологию!». Репутацию имел человека добрейшего. А погиб нелепо, но в каком-то дальнем соответствии со своим обликом: на море под винт катера попал. Говорили о его гибели долго и жалели очень...

Войткевич, завкафедрой гистологии, членкор АМН СССР. Невысокий, плотный, краснолицый, носатый, с глазами пронзительно-едкими. Сделал

он из гистологии, науки, в общем-то, милой и тихой, о тканях организма на микроуровне, настоящее для студентов пугало. Особенно зарисовка клеток была страшна. Чуть форма или цвет нарисованных клеток отличается от в микроскоп видимых — отработка! Значит, приходи вечером и вновь, по-лучше, поточнее рисуй. И так не один раз быть могло. Мука мученическая и бессмысленная совершенно. Зачем же Войткевич муштру эту пустую завёл? А для большего страха перед экзаменом по гистологии своей, нет другого ответа. И этого он, несомненно, добился. Главная страшилка у нас гистология была, как сопромат в технических вузах.

А ещё любил он вдруг поднять студента и спросить что-нибудь по поводу читаемой лекции. А подняв, фамилию непременно спрашивал. Услышав мою, усмехнулся едко: «Ну-ну... Так что такое ассимиляция, если изволили понять?» А я не просто понял, я помнил дословно: память дикая тогда была. «Ассимиляция есть процесс уподобления внешних веществ собственному организму», — отчеканил. И тут же увидел, как помрачнел лектор и даже замялся на миг. И сказал наконец брезгливо: «Садитесь...».

А через много лет рассказал мне приятель из однокурсников, что попал он как-то в глухое воронежское село, на кладбище забрёл и обнаружил там могилу нашего Войткевича. И имя-отчество совпало, и годы жизни, примерно.

Удивился я, конечно, очень такому месту последнего приюта для академика. Потом сообразил, что воля его такой оказалась. Как же иначе? А село родиной было, скорей всего. Или, может, что-то самое лучшее, важное в жизни с ним было связано, как знать...

Иван Дедов, однокурсник. Был какое-то время президентом Академии медицинских наук, пока её не упразднили, создав одну, общую, академию. Теперь должности его не знаю, но видел не так давно по ТВ кусочек беседы президента России с ним. Должность, выходит, есть — и немалая. Показали его внятно вполне и вполне для меня узнаваемо. Вся суть его крупного, спокойного и очень простого лица осталась прежней. Он и он: Иван, Ванька... И прозвище вспомнилось: «Ходок». Не знаю, как девицы его воспринимали, а среди парней было оно вполне солидным, почётным даже.

А вот чудо чудное. Шапиро, наш преподаватель по венерическим болезням, большой шутник и, похоже, выпивоха, вошёл как-то в комнату для практических занятий и сказал прямо с порога:

— Убогий, что это вы разлеглись на диване, как Клеопатра? В нём же спирохет полно...

Я послушно сел, как надо, а он всё продолжал на меня смотреть, сообщая что-то.

— Послушайте, а нет ли у вас родственника-провизора с такой же шикар-ной фамилией?

— Есть, брат отца, дядя то есть...

— Воевал?

— Воевал и награды имеет. Аптекой военной заведовал.

— Ну, точно, он, дядюшка ваш, свела на фронте судьба. Жмот был страш-ный, стопки спирта налить жалел. Увидитесь, привет передавайте!

Женечка Жуков, преподаватель философии. Средних лет, головастый с зачёсом на лысину, который называли довольно остроумно: «внутренний заём». Добродушный, весёлый — потому, видно, и прозвище ему было «Женечка». Дал он нам как-то задание нечто вроде доклада-реферата написать по книге Энгельса «Антидюринг». Мне поставил «отлично» с плюсом, а потом стал спрашивать на занятиях часто о том, о сём. А ещё потом пригласил в кружок научный по философии, который вёл. Сказал, что у меня способности к этой науке есть. Я отказался, конечно, такого мне ещё не хватало. Он, однако, упорство странное проявил, несколько раз уговорить пытался. Сказал, что после окончания учёбы можно будет в аспирантуру поступить, да не куда-нибудь, а сразу в институт философии Академии наук. Разрабатывалось там, сказал, философское осмысление-обеспечение главных наук, и медицины в том числе.

Кое-что в этом мне вдруг показалось заманчивым. Путь, уже заготовленный, наверх, как говорится. Степени научные, звания, успех... Да и тяготение в сторону философии у меня действительно было, недаром всё время работы на заводе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина читал. Сам захотел, никто не неволил...

Подумал я, подумал и вновь отказался решительно. Не хотел на философию литературу свою любимую менять.

Преподаватель любезной мне психиатрии Гуськов. Высокий, сутуловатый красавец лет тридцати. Позёр и пижон, но какой-то очень милый. Вот вошёл в аудиторию размахисто в белейшем, по фигуре подогнанном, необычно коротком халате, вот сел, разместив не спеша удобно и красиво свои длинные ноги в блестящих туфлях, вот сигареты и зажигалку на стол выложил... Возникало при наблюдении за ним какое-то киношно-театральное чувство. И курил он всегда папиросы «Театральные», длинные, тонкие, «дамские».

Девушки наши прямо-таки таяли, «балдели» от него. Забавно это было, но и понятно вполне. А я был доволен тем, что именно психиатр у нас такой мужик неотразимый.

Практические занятия по гинекологии, не первые уже. Женщина на кресле, рядом преподавательница, толстуха весёлая, а вокруг студенты тесным кольцом. Мы с другом моим Юркой Пугаевым позади всех и к креслу подходить не торопимся. И вообще, и особенно сегодня. Вагинальная пальпация — ну её подальше! Для такого дела темнота нужна, а не беспощадный свет операционной лампы...

— А вы чего там прижухлись?! Такие мужики и оробели! А ну сюда, быстро! — кричит и даже рукой машет толстуха наша. — Зачёта не получите иначе!

А вот иное совсем. Дежурю ночью (поддежуриваю, так говорилось), в отделении грудной хирургии, дремлю в ординаторской за столом. Шаги торопливые, дверь открылась рывком...

Оказывается, с больным очень плохо, а настоящий дежурный врач в приённом покое, вызвали его оттуда уже. Да, плохо: лицо серое, губы синие, пульса никак не найду... И вдруг слышу вполне внятное:

— Как зовут?

— Юра.

— Давай, Юра, давай...

Ну, что тут? Камфору, кофеин, кислород...

Взгляд больного ловлю, и он вдруг ломается, уходит куда-то в глубину. Прикладываюсь ухом к груди, к сердцу: тихо там, тихо...

Первая эта смерть передо мной случилась, и больше всего поразила простота и быстрота её прихода. Только что слышал от человека: «Давай, Юра...» — и вот уже нет его, живого... «Но что-то сделать было надо же? — мелькает в голове. — Массаж сердца непрямой, дыхание рот в рот?..»

Тут как раз и приходит дежурный врач и ничего подобного делать не собирается. Спокоен вполне и этим как бы черту подводит: больной умер, всё...

4

На практику после окончания четвёртого курса я ехал с Юркой Пугаевым, по диковинному прозвищу «Аргентина». А потому что, крепко выпив, он начинал время от времени восклицать восторженно: «Аргентина!» На вопрос же о причине отвечал: «Люблю её!» Надо и название райцентра, в который нас направили, объяснить: Грязи. По легенде, ехал Пётр Великий через деревушку по грязи редкостной и спросил, как она называется. Оказалось, никак. «Ну, так и быть этому месту по имени «Грязь!» Вот и пошло — и Грязь, и Грязи... Очень хорошо, по-моему, слово уж очень родное!

К электричке, о которой договорились, Аргентина не пришёл, и я, в Грязях уже, стал ждать следующей. Гулял себе по перрону, осматриваясь. Живое местечко, узловая станция. И поездов шло много, и людей было густо.

Останавливается на несколько минут скорый, и Аргентина — вот он передо мной, очень довольный. На крыше вагона, оказывается, приехал.

— Деньги есть?

— Ни хрена, на тебя рассчитывал...

Выругался он, помолчал, поскрёб в затылке.

— Ладно, в больнице добудем что-нибудь...

Небольшие деньги мы просто-напросто заняли в бухгалтерии под недельную стипендию, и на питание были приписаны к больничной кухне. А на первый ночлег определили нас в рентгенкабинет, где как раз было две кушетки. Быстро-быстро всё прокрутилось, даже поужинать плотно успели до закрытия кухни.

День конца июня долог, и после ужина раннего надо было жить. Решили побродить, посмотреть эти самые Грязи. Немалый оказался городок для райцентра, только очень уж однообразно-скучный и пыльный.

К вечеру зашли в городской парк. Былолюдно и как-то беспокойно. И скоро я понял почему: парней приклатнённо-хулиганского вида попадалось многовато. Аргентина тут же и объяснил, что Грязи известны как место бандитское, потому что станция узловая. И появиться здесь, и смыться отсюда очень удобно.

Танцплощадку окружало кольцо девиц и парней, с большим перевесом первых. Сама же она была почти пуста, и этим и чужда, и призывна одновременно. Две-три пары всего кружились под звуки чудесного и модного в то лето вальса «Под небом Парижа». Пел Ив Монтан, как-то очень просто, доверительно, по-приятельски. Чудилось даже мгновениями, что это ты сам поёшь...

В углу парка был типовой жестяной «шалман», туго набитый парнями и мужиками. Прекрасный пол представляла лишь буфетчица, как всегда в таком месте и в такое время.

Взяли мы с Аргентиной самое дешёвое тогда вино, «Алжирское», по рубль две копейки бутылка. Выпили за начало практики, закусили карамельками, постояли у танцплощадки, уже поднабравшей танцующих, Монтана ещё разок послушали, да и отправились в больницу, в рентгенкабинет, спать. День как-никак был утомительный своей новизной.

Пробуждение оказалось необычным: кто-то тряс меня за плечо сильно и грубо. Открыл глаза и увидел перед собой милиционера. А второй рядом с Аргентиной, сидящим на кушетке, стоял и говорил ему что-то.

— Где ваши вещи?!

Ничего я не мог понять спросонья. Плечами пожал, потом заглянул под кушетку: чемоданчика там не было.

— Делись куда-то...

— Делись! — крикнул милиционер со злостью. — А штаны тоже «делись»?

На стуле рядом ни штанов, ни рубашки не было, но растоптанные туфли стояли аккуратно, как миленькие.

— Вот, они остались... — Я ткнул пальцем, чувствуя на лице неудержимую, дурацкую ухмылку.

— Чего лыбьтесь! Думаете, мы мусора?!

— Ничего я не думаю...

— Но мы не мусора! Мы вас подозреваем, между прочим!

— Как это? — опешил я.

— А так... Ограбление подстроили!

— Сами себя высекли, так, что ли? — хохотнул я нервно. — Вроде вдовы унтер-офицерской?

— Какой вдовы?! Умничает ещё, понимаешь... Будет тебе вдова, когда разберёмся! И офицерская, и всякая!..

Подошёл второй милиционер, пожилой, лысый, посмотрел на меня с насмешливым прищуром:

— Хороши, миляги! Как гуси общипанные... Так почему окно настежь открытым оказалось?

— Воры оставили, — пробормотал я.

— Э-э, нет! Персонал говорит, что оно при вас ещё открытым было. Так и оставили, вроде приглашения?

— Да что вы, в самом деле! Нам-то какой резон?!

— Разберёмся, какой... К десяти чтоб в милиции были, как штык!

Когда они ушли, я спросил Аргентину, что это за мусора какие-то?

— Неужели не знаешь? — удивился он. — Это ж их блатары так зовут, ментов... Ладно, досыпать давай, утро вечера мудрёнее.

Утром приодели нас быстренько, по-семейному как-то: кто что принёс. Мне достались грязно-белые штаны и синяя футболка-подергушка, куцая и тесная. Чарли-Чаплинский такой получился прикид, даже мило показалось. И в милиции нас встретили вполне добродушно, уточнили кое-какие детали мелкие и пообещали сообщить, если имущество наше будет найдено. Его сыскать не смогли, а вот документы были в больницу через день подброшены: обычное в ту пору дело. Интересно, делают ли так теперь?

Вообще же, было во всей этой истории что-то домашнее, шуточное почти. Эдакое маленькое происшествие в большой семье. Да она, тогдашняя Россия, пожалуй, и воспринималась нами подсознательно, как громадная страна-семья...

* * *

Во дворе больницы стояло недостроенное здание поликлиники, и мне вдруг вспомнилось наше с Генкой жильё времён заводской работы. Зашли, и первая же от входа комната оказалась почти такой же, как та, давняя. Щёбёнка вместо пола, стены небелёные... У меня даже в груди потеплело, когда её увидел — тут нам и жить!

Главврач, здоровенный мужик с сонным лицом не поленился пойти с нами и оценить наш выбор. Осмотрел, помолчал, хмыкнул неопределённо.

— Ну, это вам не годится, это для бомжей разве... — Покосился на мои штаны (его бывшие, кстати), хохотнул, дёрнув жирным животом. — Хотя... Живите, дело ваше. Замок только на дверь надо и задвижку на окно. Хотя... — Расхохотался, наконец. — Что тут и взять, вас самих если...

А через несколько дней новоселья Аргентина из библиотеки «Феноменологию духа» Гегеля неожиданно принёс. Мы этой книгой здесь и обошлись, читая по очереди. Кто взял книгу, тот и читает.

Аргентина же, как был любителем философии, так им и остался. Лет через десять после окончания института встретилось у него в письме: «Кручу желонку (скважину в саду к воде пробуривал) и читаю философию». Я порадовался за него: солидные и благородные какие дела у человека!

Деньги, занятые в бухгалтерии, у нас кончились, и пришлось с сигарет переходить на махорку: купили на последние пачку «Моршанской». Самокрутки научились крутить, хохоча над первыми результатами. А какой экономной оказалась махорка: затянулся раза три и «поплыл», больше не надо...

Аргентина вновь выход из безденежья нашёл, договорился с начмедом больницы, что мы вскрытия будем делать вместо ушедшего в отпуск патологоанатома. На мои сомнения только рукой махнул: «Разрежем, чего тут мудрёного. А протокол ты сочинишь, сочинитель!» Это меня задело неприятно: тайна моя раскрылась. Проговорился, что ли, сам того не заметив...

Вскоре Аргентина нашёл и ещё один способ зашибить деньгу: кровь сдать, да побольше, двойную порцию. Я имел довольно смутное понятие об этом деле, но количество крови меня всё-таки смутило. И ещё, что мы

в день сдачи крови в Воронеж за стипендией собирались ехать. Сказал приятелю об этом, но у него на всё подобное один был всегда ответ: ерунда, прорвёмся!

Кровь мы сдали, потом очень плотно поели на кухне и никаких неприятных изменений в себе я не ощутил. А ведь вытекло из меня восемьсот граммов крови...

На вокзале тут же и электричка на Воронеж подвернулась, и я вслед за Аргентиной взобрался на крышу последнего вагона. Странно, интересно и чуть тревожно было увидеть окружающее с такой высоты. И вот тут-то, сидя на краю крыши вагона, вовсю идущего, я и заметил, что у меня кружится голова. Покосился на Аргентину — рожа довольная, весёлая. Ну и я такую же постарался сделать...

Ехать было ошеломляюще хорошо. Воля вольная, даль дальняя кругом и вся она твоя. И разворачивается всё вокруг так плавно, медленно и мощно, словно это сама земля под вагоном по кругу идёт. А ещё и ветер любимый сильный, прохладно-тёплый, плотный, как вода... И лёгкое кружение головы что-то ко всему этому добавляет: сладкое, как первая сигаретная затяжка.

Впереди, метрах в ста перед ажурным горбом моста, показались высокие ворота со свисающими с верхней перекладины верёвками, которые мелькнули над самыми нашими головами.

— Предупреждение такое! — крикнул Аргентина на мой вопросительный взгляд. — Чтобы голову не снесло на мосту, если кто на крыше стоит.

Получив стипендию, мы с Аргентиной расстались, он к себе в общежитие поехал, а я пошёл в свою хибарку у реки. Расставаться было странновато, привык к напарнику за две недели. Ну да завтра опять электричка, опять крыша вагонная, опять Грязи...

Идти по предвечернему Воронежу было особенно приятно. Он даже чуть обновился для меня за разлуку. Особенно свободно было и вольно, а ещё и деньги в кармане, совсем хорошо. Иди, куда хочешь, делай, что в голову взбрёт...

И вдруг, как подарок — Инка Медведева навстречу. Подруга по лыжным гонкам и вообще подружка. И такая вся такая! И улыбка до ушей, как всегда при встрече.

Обнялись, и мне вспомнился вдруг финиш первой моей гонки в составе институтской команды. Тягун убойный, потом поля кусочек, толпа, транспарант красный... Финишировал я не на мускольной, а лишь на душевной, казалось, силе, в каком-то полузабытьи. И на палках повис, добежав. Приходя в себя, почувствовал, как меня тёплым и мягким чем-то накрыли. Оказалось, Инка своим пальто... Спросил, помнит ли?

— Не-к... — мотнула она головой. — Вот, как в столовке Лесного института обедали потом, помню. Тебя и разглядела тогда толком...

— Слушай, ты ведь из Старого Оскола, кажется?

— Кажется ему! Знать надо, миленький, помнить!

— А говорите вы там: «старый осёл»?

— Ещё бы! Надо же, догадался!

— Слышал просто, в пионерском лагере у вас был.

— И я была! Барский дом бывший, двухэтажный... Может, даже в смене одной совпали, только ты ведь был малявка для меня тогда...

— Куда нам до вас! Доктором стали, а мы в Грязях сидим по уши...

— Так ты в Грязях на практике?! — Она засмеялась. — Да я ж там тоже была, замечательное местечко. Сумку у меня там спёрли на вокзале.

— Сумку что! Нас с приятелем догола обчистили. Ты же видишь, какой я теперь нарядный?

Инка осмотрела меня с головы до ног и расхохоталась надолго. Отдышавшись, мокрые от слёз щёки ладонями вытерла. Потом вновь осмотрела внимательно, помолчала и вдруг сказала с досадой:

— Как же это я сразу не разглядела, что ты такое чучело? Тебе обрадовалась чересчур... Плохой признак...

— Почему?

— По кочану... Мы ж расстаёмся, дурачок! Диплом получу на днях, и прощай, Воронеж.

— И куда потом?

— А к «старому ослу», куда ж ещё...

Дошли незаметно до Петровского сквера, постояли перед памятником: хорошо, величественно Пётр Великий стоял, опираясь рукой на якорь. Потом на смотровую площадку вышли, и вид с неё был до горизонта: склон к реке, сама река, правый берег... Я и крышу хибарки, в которой жил, разглядел на склоне привычно и Инке показал.

— Надо же! — удивилась она. — Такая там у тебя глушь и дичь, а отсюда близко...

— Зайдём? Никого нет сейчас, в разгоне мои сожители. Надо только затовариться хорошенько. Деньги карман жгут: и стипендия, и за кровь получил...

— За какую ещё кровь?!

— За донорскую, естественно. А ты что подумала?

— Ничего... Не успела. Сочетание опасное: кровь, деньги... И сколько ж ты сдал?

— Восемьсот граммов для начала.

— Ну, ты даёшь! — Она уставилась на меня возмущенно-удивленно. — Сегодня сдал?

— Ага, с утра пораньше. А потом к тебе на крыше вагона, — похвастал я.

Мне почудилось, что она меня ударит, но она лишь замолчала, потупившись, а потом стала перечислять негромко:

— Идиот, придурок, осёл хренов...

— Хватит! На столько я не тяну...

— Потянешь! Не пойду я в развалюху твою, понял? Нечего мне там с тобой, малокровным, делать!

Взгляд у неё был злой, напряжённый — и надломился вдруг. Она расхохоталась, невольно как-то. Эта смешливость постоянная нравилась мне в ней больше всего...

* * *

Идём вечером в парк у танцплощадки постоять, на людей посмотреть, музыку послушать. Обычным, ритуальным почти это у нас стало. Вдруг парень навстречу: идёт нетвёрдо и за голову обеими руками держится, а вблизи кровь видна между пальцами. Остановились, переглянувшись, вслед ему посмотрели, но пошли всё-таки к парку. А тут и второй навстречу: и выглядит так же, и кровь с той же стороны.

— Штампуют их там, что ли? — пробормотал Аргентина.

Немного прошли, и «Скорая» навстречу. Тут-то мы и повернули назад, к больнице: серьёзные дела, похоже...

Оказалось, драка произошла у танцплощадки между местными блатарями. Одного уже в операционную взяли: ножевое ранение в область сердца.

Оперировал заведующий хирургическим отделением, серолицый, заморённого вида мужик лет пятидесяти. Я всегда здоровался с ним особенно уважительно, хорошо представляя, какое это бремя и какая ответственность: хирургией здесь заведовать. Будешь и заморённым, и серолицым!

Попали мы к самому началу: рёбра над сердцем хирург здоровенными кусачками перекусывал. Да так быстро, грубо, смело! И смотреть, и слышать хруст рёбер под режущей сталью было жутковато... А вот и перикард, а вот и сердце бьющееся, живое... Хирург низко склонился над операционной раной и всё закрыл, лишь затылок его с потными, жалкими какими-то из-под шапочки волосами, было видно. Наконец выпрямился и чуть развернулся боком:

— Вот рана на сердце, вот...!

Да, был надрез на сердце виден, и надо было его показать: и редкость, и действиям хирурга объяснение. А то и оправдание...

Операция на сердце в райбольнице! И посторонний парень вдруг в операционной: корреспондент газеты местной...

Операция закончилась успешно, больного в реанимацию поместили, и он быстро на поправку пошёл. В районной же газете появилась статья про уникальную в здешних условиях операцию. Плохонькая, решил я, статейка. Конец, последняя самая фраза, расхохотаться прямо-таки заставила: «А в больничном саду разрывались от счастья сердца соловьёв...».

Через много лет прочитал где-то, что орнитологи, знатоки соловьёв, считают такое вполне возможным: напряжение организма соловьиного при пении очень велико. Тут-то мне и вспомнился дурной мой хохот над «красивостью» в районной газетке...

А вскоре и ещё одна «удача» на нашего заведующего хирургией свалилась: первый секретарь райкома с язвенным желудочным кровотечением на операционный стол к нему попал. Редкость, таких «тузов» обычно в областную больницу везут, но тут экстренный был случай. И вновь всё прекрасно обошлось. И даже на долечивание в областной центр секретарь ехать отказался. Сказал, что «своим» докторам доверяет. И фамилию его помню: Батеха. А вот фамилию хирурга — нет. Зато лицо его запомнилось своей серой замученностью. И шапочка мятая, на сторону сбита...

Была библиотека рядом с институтом, и всю жизнь она вспоминается, как милое, уютное, родное прямо-таки пристанище на целых пять лет. Подарок судьбы!

Крохотный зальчик на несколько трехместных столов, кафедра для библиотечарш, за ней стойки-стеллажи, а на них книги. Да ещё и свободный доступ к ним, что было в ту пору редкостью. Именно здесь я главное для себя знание-понимание литературы постиг самостоятельно, по мере возможностей и сил. И первые рассказы написал, которые, как мне казалось, чего-то уже стоили...

Бывал я в библиотеке чаще всего днём и заставал там всего нескольких, одних и тех же чаще всего посетителей. Особенно запомнился плотный, широколицый мужик в полковничьем мундире, не разгибаясь строчивший что-то в толстых общих тетрадах. И поразительно макавший деревянную ученическую ручку в чернильницу-непроливайку. Я даже у библиотечарши спросил — что за чудо такое? Полковник оказался отставником и студентом-заочником Литературного института имени Горького...

В библиотеке у меня было два дела — читать и писать. Читать, чтобы хоть немного ориентироваться в безбрежном океане литературы. Маяк некий найти, мне именно близкий, родственный, вот на него и держать, когда сам пишешь.

Писанием своим я и гордился, и стыдился его. И скрывал от всех по мере возможности.

Соорудив перед собой высокую стопку из выбранных с большим тщанием книг и журналов, я или писал за этой маленькой «баррикадой», или читал что-нибудь. Книги были — классика наша в основном и журналы: «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Писал же рассказы, как сам это определял, или просто куски текста, самому себе неясные. То быстро, многословно, то возьась подолгу с каждой фразой, меняя и переставляя слова. Кончал же работу с ощущением исполненного долга. Вот почему-то надо было мне написать рассказик маленький или просто текста кусок. Зачем надо, перед кем долг, я не мог бы толком ответить. Перед самим собой, перед судьбой своей, которую я представлял лишь судьбой писательской? Написанное казалось мне то очень даже хорошим, то совершенной ерундой. Перепады эти были очень болезненны, но я их терпел и словно бы ожидал чего-то. Оно и случилось: непривычно чёрный, особенного большого формата двухтомник Эрнеста Хемингуэя.

Чтение двухтомника меня ошеломило. Было такое чувство, что я искал, искал некоей помощи, подсказки в своих попытках писать, и вдруг это получил...

Написал быстро, один за другим, несколько маленьких рассказов «под Хемингуэя». Перечитывая каждый и сразу после написания, и через какое-то небольшое время, всегда поражался, как же они плохи. Главное, как они мертвы по сравнению с рассказами Хемингуэя. И сравнивать их было всё равно, что сравнивать живого человека с искусственной, мёртвой его копией.

Прочитал и суждения самого Хемингуэя о работе писательской. Про поиск необходимого, единственно верного слова, про «теорию айсберга», у которого над водой видна лишь малая часть, а остальное скрыто под водой. Вот и писать, считал он, надо так же: написанное тобой лишь поверхностная часть вещи, а главное в подтексте, «под водой» быть должно. Понятно вполне, а сделать так я был не способен.

Осознав всё это, всё-таки продолжал попытки, на какую-то внезапную удачу надеясь. Устав же от них до тоски, начинал писать своё, туманное, как Бог на душу положит...

Через год-полтора слава Хемингуэя уже всюду шла-шумела по стране, приятно кольнув моё самолюбие: я ведь сам по себе, одиноко его «открыл». Писать же «под Хемингуэя» стало в конце концов едва ли не модой, и даже словечко подходящее появилось: «хэминх... винка».

А Хемингуэй так и остался одним из самых любимых моих писателей, и попытки подражать ему даром не прошли. Неприязнь к многословию сохранилась, опаска выставить напоказ самое главное, сугубое в вещи.

* * *

Под Новый год на третьем уже курсе Гребень пригласил меня на «систему», как назывались тогда вечеринки в узком кругу. Сказал, что и «чувиха» для меня будет, девица то есть. А главное, «хата» для затеи этой имеется.

«Хата» была на улице Мира, имевшей державный, почтение вызывающий вид. Даже лестница, по которой мы поднимались, была особенная, широкая, с площадками просторными, ступенями низкими. И двери квартир лакированные, филёнчатые были этому под стать. «Вот так “хата”», — думал я, с холодком неприязни и смутной тревоги ощущая несовместимость такого тёплого, родного слова со всем окружающим. А квартира была совсем уж чужда, отстранённа, начиная с высоченных потолков. «Нам бы чего попроще», — подумал я, озираясь.

Оказалось нас четыре парня и четыре девицы. Четыре пары, иначе говоря. Когда познакомились, хозяин квартиры тиснул меня за локоть и показал глазами, бормотнув: «Вот твоя». Меня это царапнуло неприятно, но скоро и забылось в оживлении и шуме застолья. А там и хмель первый, разговор пёстрый с криком и смехом, а потом и танцы быстренько так раскрутились. Про «свою» я и забыл, какая была помилей да поближе, ту и приглашал. И так оно все шло и шло вполне прекрасно, и я даже одну из девиц особенно выделил, приглашал подряд.

— Пойдём покурим, — положил мне руку на плечо один из парней.

— Договор надо соблюдать, — сказал он, когда вышли, и тут же меня в лицо кулаком ударил.

Потыкались мы секунды какие-то, и я вдруг уже на кафеле площадки лестничной лежу. Встал и опять там же оказался. «Боксёр, что ли?» — мелькнуло. Пытаюсь встать вновь и не могу, кровь из носа льёт на кафель, и ладони по ней скользят. А тут и крик женский, голоса парней и надо мной

лицо той самой «чувихи», с которой я танцевал, и клипса у неё из уха вдруг рядом падает. Я её схватываю тут же.

— У «Спартака» завтра в восемь, — говорю. — Тогда верну.

Она шевельнула губами, но слов было не разобрать.

Встаю с трудом и вижу, что «боксёра» моего в угол притёрли, и Гребень там со своим ёжиком белобрысым...

А потом что ж? Умылся, чувствуя ладонями лицо своё набухшее. Рубашку девицы забрали, кровь свежую замыть. А ещё потом совсем странно было: сидели мы с «боксёром» в креслах напротив друг друга, встречались взглядами и молчали.

— Ещё выйдем? — сказал он наконец.

— Нет, — говорю, — с меня хватит пока. До другого раза...

А тут и музыку вновь включили, и мы с Гребнем ушли, помахав прощально всей компании.

Я не стыд поражения в драке, а едва ли не гордость испытывал. Что сделаешь, если такой рубака попался? Вставать и вставать, пока в силах, что я и делал. Пункт, так сказать, чести защищал. К тому же и Гребень меня порадовал, сказав: «Парни восхищались твоим мужеством, когда ты мылся». Мужество важнейшее для нас тогда было слово: точно по Хемингуэю. Сначала оно, а потом всё остальное...

А ещё, вдруг вспомнил, клипса в кармане у меня. Как-то забыл я про неё в суматохе, а девица, надо же, промолчала. Похоже, согласилась на встречу у «Спартака», а это для меня было в конце концов что-то вроде победы...

Спать лёг, не зажигая света, а утром первым делом посмотрел в зеркало: под глазами «фонари» синие, нос и верхняя губа распухли и тоже посинели. Но хуже всего оказалось с самими глазами: белки у обоих были совершенно красные. Это меня испугало: глаза не шутка. Должно же пройти, как синяки проходят, механизм-то тут одинаковый, подумал, успокаивая себя. Осмотрелся, всё вижу, как обычно, книжку взял, то же самое. Обойдётся, только дома надо посидеть какое-то время, не идти же на люди, на свидание с такой рожей. Шарахаться будут...

Сидеть пришлось около недели, нетерпеливо наблюдая, как меняют цвет синяки и просветляются склеры глаз: от красного к коричневому, а там и к пятнышкам белым...

Вот за эту неделю, тяжело тоскуя в одиночестве, я и написал рассказ, который впервые счёл получившимся, «Весной».

...Лесник, человек одинокий и старый, лежит в райбольнице и вдруг случайно узнаёт, что умрёт скоро и неизбежно. И никак не хочет он умирать, глядя в потолок больничный, а хочет умереть у себя дома, в избе своей, на опушке леса стоящей, или, лучше всего, вообще на воле, чтоб небо в смертный час над собой видеть, а не потолок. И время для этого самое подходящее, его любимое — апреля конец. Это он и делает: умирает, упав у родного крыльца на спину и глядя на звёздное небо. Звёзды были влажные, со слезой как бы. Эта фраза стояла в самом конце и, оказывается, зацепилась в памяти навсегда...

В оставшееся до окончания института время (три года), я почти все лекционные часы в библиотеке и провёл, читал там и писал. И написал ещё два рассказа, которые оценил, как удавшиеся: «Дуб» и «Солнце». В первом описал жизнь дуба могучего, одиноко стоявшего на окраине села, и смерть, гибель от попавшей прямо в него немецкой бомбы. Жил-был дуб лет триста, и вот на этом месте лишь воронка громадная с вывернутой наизнанку землёй вокруг... Второй, «Солнце», о неизбежной и скорой, вот-вот, смерти заблудившегося в пустыне человека. Один день жары чудовищной он сумел пережить с великим трудом и мукой. С не меньшим мучением пережил ледяную ночь, ожидая страстно, как спасения, восхода солнца. И зная, конечно, что наступающего дня ему уже не пережить. И вот оно встаёт, солнце, чтобы согреть его блаженно, а потом медленно убить. Его последнее солнце, так кончался рассказ.

Три первых удавшихся рассказа — и всё о смерти. Да ещё у парня здорового, спортивного, полного сил. О смерти-то о смерти, но ведь и о жизни тоже, которая так хороша и которую так жаль! Как-то они сходились, сплетались у меня, жизнь и смерть, не разделить.

Потом эти рассказы потерялись в житейских передрыгах, а жаль! Вдруг они и впрямь шедеврами были, как я и оценивал их при первом прочтении?

Так я писал и писал до окончания института, а потом в армии, где прослужил два года лейтенантом-врачом, а потом в селе Ахлебинино под Калугой и в самой Калуге, работая наконец-то врачом-психиатром.

Посылал рассказы в журналы Москвы и Ленинграда и получал их обратно с весьма одобрительными отзывами и однообразной припиской в конце: «К сожалению...». Иногда добавлялось: «Присылайте что-нибудь ещё».

И вдруг как прорвало. Первая в жизни публикация — рассказ «Максимишч» в газете «Труд» в 1971 году. Получил я за него третью премию в проводившемся газетой Всесоюзном конкурсе, разделив её с Вениамином Кавериным, автором знаменитого романа «Два капитана». Моей, кстати, любимой книгой в детстве. В следующем, 1972-м, году вновь третья премия в том же конкурсе, а в 1973-м специальная премия ВЦСПС (профсоюзов СССР). Особенно радовал меня состав победителей конкурса, состоявший из известных в стране в ту пору писателей: Фазиль Искандер, Владимир Войнович, Михаил Рошин, Борис Можаев, Павел Нилин...

В 1972 году, через два месяца после моего газетного, так сказать, дебюта, журнал «Нева» напечатал мой рассказ «Возвращение с войны». В 1973-м рассказ «Марья», в 1974-м повесть «На этой земле», которую в том же году опубликовала «Роман-газета». И тут же, в 1974-м, появился в «Литературной газете» рассказ «На новом месте».

Тиражи всех этих изданий по теперешним понятиям были совершенно фантастическими и составили для моих четырёх рассказов и повести примерно 40 миллионов экземпляров. Написал это, и оторопь взяла — неужели было?!

6

Местом встречи была у нас большая, ограждённая высоким кустарником площадка перед входом в институт с многими лавочками по обе стороны, на которых провёл я много то безмятежных, а то и тревожных часов. Сидишь, а перед тобой без конца народишко твой родимый идёт туда-сюда непрерывно. И это то зачаровывает дремотно, как созерцание речной воды, а то вдруг зацепит твой взгляд что-то, и вздрогнешь, и очнёшься. Вот девица распрекрасная, полузнакомая, а жаль; вот парень могучий, соперник по гонкам лыжным; вот старец-профессор, бывший когда-то аж министром здравоохранения России; вот преподавательница английского, красивая, одетая строго, но и как-то маняще...

Изредка близкие приятели и приятельницы возникают, кивают, рукой взмахивают приветственно, а то и подходят, садятся рядом, если место есть. На минутку, а кто и на много минут. Новостями поделятся, забавное что-нибудь расскажут. Тут главное пошутить уметь, на шутках-прибаутках разговоры такие держатся.

Садился я на лавочку почти всегда после еды плотной и сытость дурманящую переживал. Народ в основном спешил на лекции, а я вставал наконец кряхтя притворно, и шёл в верный, всегдашний свой приют — в библиотеку. Читать и писать...

Вторым местом для «светской» жизни был «Бродвей», или просто «Брод», — так называли центральную улицу города, причём имелась в виду лишь одна её сторона и лишь в часы вечерние. В остальное время это был Проспект Революции. Молодёжь собиралась вечерами на «Бродвее», чтобы бродить из конца в конец его, разглядывая друг друга, узнавая, сходясь, перемешиваясь, знакомясь. Клички шуточные были в ходу. У Гребня, обычного моего спутника, имелись приятели «Амига» и «Флава». А что это значило он, по-моему, и сам не знал толком.

Кроме перемешивания, кипения людского однообразного были и два дела: «застроиться», то есть выпить, и «чуву заиграть», то есть к девице незнакомой присоединиться. «Застраивались» в забегаловке, где за купленные жетоны автомат наливал порцию дешёвого вина. Такая вот была нагая поилка, а закуску имей с собой или рукавом закусывай. А ещё проще было купить бутылку в магазине, да и распить в подходящем углу. Удивительно, что пьяных я на «Бродвее» как-то и не видывал, а вот навеселе бывали многие. Модно было в те годы быть под хмельком. Я даже о влиянии Хемингуэя подумал, герои которого пили и пили...

Главным же в «светской» нашей жизни были, конечно, танцы. Бывали они и в Тиму, и посещали мы их с девятого класса. Сходились у кого-нибудь дома вдвоем-втроем, принаряженные, как смогли, волосы примоченные перед зеркалом с бесконечным, тупым упорством со лба вверх назад пытались зачесать, ботинки чистили без крема, плюя на щётку до сухости во рту...

Танцы в клубе бывали чаще всего малолюдные, на грани с отменой. Так и говорила билетёрша и распорядительница тётя Ксюша: «Десять человек наберётся, тогда и музыку дадим».

А вот в Воронеже в начале шестидесятых танцы стали вдруг в такой моде, будто где-то плотину некую прорвало и танцами всё вокруг затопило. Летом на танцплощадки надо было втискиваться, как в трамвай. Зимой танцевали в конференц-залах институтов многочисленных, и попадать туда приходилось с боем. Бригадмилльцев-охранников толпа напиральная иногда сметала, а то и двери срывала с петель. Куда, зачем всё так уж стремились? Пару себе найти, хотя бы на время краткое танца. А вдруг и подольше? А вдруг и надолго?

Летом девушки были очень хороши загаром, запахом реки и солнца от волос, пляжной бездумностью таинственной, до вечера задержавшейся в глазах. Зимой были тоже очень неплохи расслабленностью в жаркой духоте зала, дурманящим запахом духов и пота, горячими под тонкой тканью талиями...

В Тиму я считал, что танцевать кое-как умею. Танго — два шага в сторону, один на себя, и снова, и опять. Фокстрот — три шага вперёд, три назад и так далее. Теперь же и этого не требовалось, чаще всего из-за тесноты. Можно было прижать партнёршу к себе покрепче и переступить с ноги на ногу музыке в такт или вообще как придётся. Эту манеру я сразу же счёл самой лучшей и придерживался её всю свою танцевальную карьеру.

Милы, именно милы, были танцы в читальном зале общежития. Сдвигались столы и стулья, и на освободившемся месте танцевали совсем по-домашнему, часто в той же самой одежде, в которой только что на кровати валяться пришлось. Тут и подурачиться можно было, и посмеяться вволю. Хоть на пять минут загляни сюда, а хоть и надолго задержись, и уйди в конце концов куда-нибудь на чёрную лестницу с подружкой...

Как ни бедны почти все мы были, но рестораны случались-таки, да не так уж и редко. Приспособились: брали водку с собой и заказывали сыр и минеральную воду. Официантки смотрели со злостью, принимая заказ, но всё-таки принимали.

Первый ресторан в жизни — «Москва», самый главный в городе, старинный, бывший «Бристоль». С дверью высокой и тяжёлой даже на взгляд, лестницей пологой, широкой, покрытой красной, вытертой до белизны местами, ковровой дорожкой. Многих повидала эта лестница: молодого Бунина, белого атамана Мамонтова, который на коне по ней в ресторан въехал...

В оркестре выделялся старичок-скрипач, всегда в аккуратном чёрном костюме и с чёрной бабочкой. Изредка он играл на заказ (давали трёшку или пятёрку), и впервые услышанный «вживую» звук скрипки меня поразила сладкой печалью и одиночеством. Лучшими вещами были «Осенняя песня» французская, модная тогда, и «Маленький цветок». Старичка-скрипача звали Зяма и говорили, что он играет в ресторане с незапамятных времён. Хорошо он играл, и при этом почти не танцевали, а слушали. И даже гул разговорный обывчный притихал.

Решиться пригласить даму, даму именно, было нелегко и тревожно. Дело целое! Но если оно удавалось, то странный, стыдноватый такой восторг накачивал...

А запросто можно было в вокзальный ресторан заскочить, оголодав, и съесть быстренько полпорции рассольника с целой тарелкой орловского вкуснейшего хлеба.

Висели там две здоровенные картины. Одна очень длинная, очень узкая и совершенно ресторану чуждая: ровная, пустынная степь с заходящим туманно-красным солнцем. И всё... Я с первого взгляда картину полюбил и всегда старался сесть так, чтобы её видеть. А вторая картина, ресторанный вполне, изображала семейный пикник на природе, на травке, на берегу речки живописной. Была на ней парочка стариков, парочка молодых, и дети, тоже парочка. Лица у всех светились таким довольством и счастьем, что неприятно было смотреть.

В последнее время, кстати, во многих людных торговых местах и даже на будках грузовиков с продуктами появились точно такие же картины-картинки с этим самым счастьем на лицах людей. Из молодости явились через целую жизнь...

7

Огромной частью жизни всегда, с детства самого, был спорт. Мы и слова ещё этого толком не понимали, а занимались им, в самых разных видах, каждый почти день. Кто кого обгонит в беге, на лыжах объедет или коньках, кто дальше нырнёт или проплывёт быстрее, кто дальше камень бросит или каменюку тяжёлую толкнёт. Подрастая, начинали и в высоту и длину прыгать, и самодельные копья и диски метать. Даже с шестом прыгали на рыхлом после только что выкопанной картошки огороде. Были и опасные дела, как хождение по верхней перекладине трапеции на школьной спортплощадке или прыжки в воду с высокого обрыва вниз головой.

Бегать я любил так, словно для бега, а не для ходьбы и на свет родился. И часто бегал по всяким-разным делам, потому что так приятнее и легче было.

Главным успехом было третье место на областной олимпиаде школьников в беге на 100 метров. И приз получил: серебряный, как сказал тренер, подстаканник. Пропал он куда-то, а грамота цела, и результат мой там обозначен: 11,2 сек. Прекрасный результат, целую карьеру спортивную суливший...

* * *

Тренером в любимой моей лыжной секции был Николай Дмитриевич Кузнецов, «Дмитрич». Лет пятидесяти, невысокий, крепенький, с морщинистым добрым лицом и взглядом грустно-приветливым. Гонщик в прошлом.

На пропуск тренировок он смотрел сквозь пальцы, а вот невяку на соревнования воспринимал болезненно. По этой причине я несколько раз больным на гонку выходил и неизменно после неё выздоравливал. Чудо маленькое, но объяснимое: напряжение гонки вылечивало.

Очень хороша была институтская лыжная база: финский домик в берёзовой рощице на самом краю города, у конечной трамвайной остановки «Лесной институт». Институт ещё при царе существовал в прекрасных, величественных двухэтажных жёлтых корпусах.

На базе было уютно: большая комната с низкими лавками вдоль стен, печка горячая, да ещё и с грудкой берёзовых поленьев рядом. Была

и другая комната, в которой жил здоровенный парень, наш студент, с миниатюрной, милой очень, женой. Он отопление и присмотр за домиком обеспечивал и даже деньги небольшие, сторожевые за это получал.

Приятно было неторопливо переодеться из обычной одежды в спортивную, с лыжами повозиться, с девчонками пошутить, смех их чудесный послушать. А после тренировки с наслаждением пить сладчайший кипяток со свежим чёрным хлебом. Тут как-то и примолкали все, в наслаждение это своё, честно заработанное, погрузившись.

Хлеб и сахар неизменно приносил нам Дмитрич. Покупал на свои, словно это обязанностью его было.

Сiju как-то после тренировки, кипяток блаженно попиваю, и так приятно мне видеть напротив кирпично-красную мордашу Королёва, «Короля» нашего. И вдруг вспоминаю, как же я ненавидел спину его час какой-нибудь назад, как держался за неё почти зубами...

* * *

...К концу четвёртого километра был разбитый, туго укатанный спуск. Выбежав на его гребень, я увидел залитую солнцем лощину, склоны которой были густо усыпаны лыжниками. И как странны показались замершие в мгновенном взгляде их спокойные фигуры, перед тем напряжением и страстью, что были во мне! Я бросился вниз, отталкиваясь палками, но они помогали мало, без упора почти проскакивая назад. Встречный ветер холодил глаза, сосал слезы. Внизу увидел перед собой только одного гонщика, оглянулся — второй стоял на середине спуска, весь осыпанный снегом.

Лыжня пересекала дно лощины и сразу же косо шла вверх: последний на дистанции «тягун». Нужно было вложить в него все силы и уже на нервах пройти поляну перед финишем.

Свернув с заледенелой, недержавшей лыжни, побежал рядом по плотному снегу. Вся тяжесть уже пройденной дистанции легла на меня. Слабели ноги, немела спина, и только руки ещё работали, тянули, вытягивали. В виски тупо и часто била кровь, снег смутно белел, казалось, у самых глаз, весь в красных и чёрных, плывущих разводах. И ни на мгновение нельзя было прервать невыносимую эту работу!

В конце «тягуна» я настиг-таки лидера, и несколько секунд мы шли рядом. Тела наши не соприкасались и в то же время были сцеплены невидимыми, напряжёнными нитями, словно в яростной, грудь в грудь, схватке борцов. Тягостно, медленно, за сантиметром сантиметр, я уходил вперёд, преодолевая удерживающую, хоть и невидимую хватку соперника...

Подъём уплощается, всё больше накат, всё свободней движения.

Мелькают последние деревья, за ними яркая белизна поляны, парусящее на ветру полотно финиша, толпа.

Не глядя, но остро чувствуя последнюю приближающуюся черту, бегу яростно, с мукой и самозабвением. Ещё пятьдесят метров, ещё двадцать, вот уже разбегается, убегает от меня, оглядываясь, Виктор. Последнее усилие, ускользающее плечо товарища под рукой, которому я передаю свою муку и страсть...

После соревнований обедаем в столовой лесного института неподалёку. Шумная, топочущая, разгорячённая ватага наполняет зал. Он просторен, в огромных окнах небо, обрезанное понизу зубчатой кромкой леса. Едим, как и бежали, жадно, азартно, много.

Вечером долго не могу заснуть. Лежу, чувствуя себя лёгким, сладко пустым. Перед закрытыми глазами снова утренняя лыжня, плетутся повороты, мелькают деревья, подъёмы, спуски. Прохожу так почти всю дистанцию, пока не засыпаю...

* * *

«Ночной патруль», — случилась в моей спортивной жизни такая гонка. Написать, и то приятно.

Собрались на всегдашней «стартовой» поляне у лесного института под полной, яркой луной. И тишина под стать, только голоса наши ненужные.

Маршрут был до Рыбацкого посёлка, потом по берегу реки до оврага, а ещё потом назад, к поляне. Нехитрое дело, но это при такой луне, а если бы темнота была? На лыжню полагаться только, больше не на что. А кто заблудился, тот и проиграл.

Было и ещё одно отличие от обычной гонки: карабин за спиной. Настоящий, только просверлённый в нужном месте. И надевался он, как рюкзак, на две широкие лямки и висел вертикально за спиной.

На дистанцию мы уходили по очереди, с разрывом в минуту, и я сразу почувствовал, что дело неладно: при сильном отталкивании палками и наклоне ствол карабина бил в затылок вполне ощутимо. Стартовый азарт гнал меня вперёд, а «подзатыльники» придерживали всё сильнее. А вот уже и обошёл меня парень из университетской команды и, подержавшись немного за ним, я всё и понял. Карабин у него был закреплён за спиной так плотно, что никаких «подзатыльников» гонщику не доставалось. Сообразив это, я резко замедлился и почти остановился. Тут и ещё меня кто-то обошёл с так же закреплённым карабином. Ясно было, что продолжать гонку не имеет смысла, если приличное место иметь в виду, но «сойти», назад вернуться было совсем уж позорно. Вот я шёл и шёл вперёд прогулочным почти шагом, стараясь ударов от карабина поменьше получать. Гоночный азарт погас понемногу, оставив после себя горечь неисполненного долга. Зато прелесть зимней лунной ночи в лесу раскрылась вдруг, как сказка. И сама луна, до краёв полная, и свет её на искрящемся, пушистом снегу, и таинственное переплетение теней вокруг, и снеговые, толстые пласты на сосновых ветках, которые изредка рушились вниз, на голову и плечи, как ливень.

А вот и хибарки жилые чернеют, приткнутые к довольно крутому здесь речному берегу, и окна светятся, и столбики короткие дыма белеют под луной...

Рыбацкий посёлок! Мы с Гребнем побываем здесь следующей осенью, искупаемся в ледяной, прозрачной до невидимости почти воде, и я впервые в жизни увижу, разгляжу подробно, что такое настоящий, щедрый листопад. Это когда солнце, тишина, небо синее, плотное у самых, кажется, глаз, а вокруг с деревьев, застывших в полной неподвижности, часто падают вниз,

льются сами собой листья: жёлтые, красные, лимонные. И на голову вдруг упадёт лист, и лица чуть коснётся...

После гонки Дмитрич объяснялся по поводу незакреплённых карабинов, но так неловко было слышать его виноватый голос среди лесной, лунной тишины, что я отошёл подальше. А вернулся, когда он уже доставал термос, хлеб и сахар. И подумал вдруг, что он нам не тренер, а добрый дядюшка. А в эту вот ночь даже и Дед-мороз...

* * *

Соревнования по слалому, первенство города. Крутой берег Дона, солнце, лёгкий ветерок, морозец. Слаломные лыжи, горнолыжные ботинки, всё новенькое. Ботинки особенно удивительны — мощные, на подошве толстой, с ложбинкой на каблуках для креплений. И пахнут чудесно, терпко, кожей настоящей. И легки неожиданно, и по ноге как раз.

А вот трасса слаломная смущает: уж очень флажки стоят тесно, не пройти...

Так и вышло — все падали один за другим или с трассы вылетали. Оставовили соревнования, судьи и тренеры в кружок сошлись, говорят-совещаются, на трассу смотрят, руками что-то показывают...

Начали переставлять флажки, раздвигать в основном, а кое-какие убирать вообще. Дмитрич к нам, двоим своим парням, подбежал, встрёпаный такой.

— Мазь меняем на плюсовую! Быстро-быстро!

— Тупить же будет! — воскликнул Самохин, бойкий паренёк. — Палками тогда работать, что ль?!

— И палками поработаешь, если надо! — крикнул Дмитрич с редкой для него злинкой.

— Нет, я не буду перемазывать, — сказал Самохин. — Трасса полегчала, пройду.

— Смотри, не пожалей! Ну, а ты?

Сложная для меня была минута. Тормозящей мазью мазать было нехорошо, стыдно, но без этого пройти трассу мне вряд ли удастся. Если и не упаду, то с трассы вылечу скорей всего. А главное, Дмитрича жалко, ему-то не до стыда, зачёт — вот что главное...

— Чего не сделаешь для зачёта, — так и сказал.

Трассу я прошёл, на удивление, удачно: не быстро, но и не так уж медленно, без позорности, которой так боялся. И Самохин, молодец, не подвёл, устоял, в числе первых оказался.

Дело это перед самыми зимними каникулами было, и я попросил Дмитрича дать мне лыжи и ботинки домой, чтобы на родной своей горе потренироваться. Долго он молчал, хмурился, пока не махнул рукой:

— Ладно, так и быть, бери! Но помни — три стипендии с тебя, если утреешь...

Дома мне повезло: на нашей горе оказался крепкий, вполне меня державший, наст, да ещё присыпанный пушистым, лёгким снежком. Идеальное для спуска сочетание. Вот тут уж я дорвался! Поднимаясь на гору после

спуска, видел свои следы, круто изогнутые, перепутанные между собой, и просто глазам не верил: неужели это я на скорости, слёзы выжимающей, только что здесь ехал-летел?

* * *

Пятый курс, начало зимы. Стоим в пригородном парке у лыжного трамплина: Дмитрич, тренер по горнолыжному спорту Иванчук, мой приятель Женька Лахин и я. Мы с ним держим у плеча прыжковые лыжи, широченные и высоченные. А перед нами сооружение огромное, высокое, из брёвен и досок сделанное. Оказывается, это трамплин и есть. Немцы пленные его построили вскоре после войны. Удивляюсь, услышав: неужели ничего нужнее построить не нашлось? Мощност трамплина 40 метров: то есть можно, прыгнув, столько пролететь. Это меня озадачивает. Насыпали мы в Тиму трамплины из снега, улетали метра на три, но сорок?

Тренер объясняет чуть виновато, что есть маленький трамплин, учебный, метров на десять, но он на ремонте и придётся начинать сразу с большого. И прыгать сегодня не надо, а просто съезжать. Ну и от «стола отрыва» до спуска чуть пролететь. Пустяк.

Долго поднимаемся на трамплин по деревянной длинной лестнице: мы с Женькой и Дмитрич. Зачем он с нами пошёл, непонятно: обнять, что ли, на прощанье?

Сверху трамплин кажется жутко высоким. На площадке стоит несколько прыгунов: очередь, надо ждать. Вот скользнул вниз последний из них, резко встал на «столе отрыва», взлетел, скрылся и вновь возник тут же в самом низу. Теперь моя очередь, и я начинаю поспешно расстёгивать ватник, чтобы Дмитричу его передать, но он придерживает меня:

— Оставь...

Я киваю, не задумываясь, выхожу к краю площадки, и вдруг кто-то хватает меня крепко за локоть:

— Сними, позорник!

Путаясь пальцами, сдёргиваю ватник и кидаю его Дмитричу со злостью. И с той же злостью «сажусь на горшок» (выражение тренера, тоже позорное) и на злости этой отвлекающей «съезжаю» с трамплина без прыжка. И без всякого страха, злость его не допустила.

Так и ездили мы, «сидя на горшке», всю эту тренировку. Я не упал ни разу, а Женька падал, не было у него моего тимского опыта. Он падал тревожно, как-то враслопырку, и тренер сказал, что падать тоже надо уметь. Расслабиться постараться и руки за голову тянуть..

На второй тренировке я встал впервые на «столе отрыва» и полетел. Секунду какую-нибудь, но и она меня ошеломила. Было такое ощущение, что я всегда в путях каких-то ходил, и вдруг они исчезли. Не только с тела, но и с души. И я словно бы ждал этого и наконец-то дождался. Остаток тренировки был сам не свой: хотелось прыгать снова и снова...

Следующей тренировки ждал, как любовного свидания ждуг. Трамплин вспоминался навязчиво, ход прыжка до подробностей мелких и главная его часть: блаженство полёта.

Попал на крючок. Потом выяснилось, что не я первый, что все прыгуны так попадают. А суть этого мне, пятикурснику-медику, понять было нетрудно: экстремальная ситуация, выброс гормонов, кайф... Но от понимания легче не становилось — подай мне трамплин и всё тут!

Допрыгались мы с Женькой понемногу метров до пятнадцати-двадцати, и тренер был нами доволен. А тут и соревнования по лыжному двоеборью подоспели на первенство «Буревестника»: прыжки и гонка на десять километров. По прыжкам я оказался где-то в хвосте, а по гонке в числе первых. В общем же зачёте третье место! Да ещё и возможность поехать на «зону» в Тамбов.

Перед очередной тренировкой оказалось, что тренер заболел. Ну, мы и решили попрыгать без него, чтоб кайф не пропускать. Добрались до трамплина, который оказался безлюдным, да и приступили. Но всё кончилось, едва начавшись. Упал Женька при первом же прыжке и не встаёт, копошится беспомощно. Я к нему: «Нога, — бормочет, — нога...» По тому, как он вёл себя, как вставал тяжко с моей помощью, понятно стало: перелом голеностопа, скорей всего.

Лыжи я отдал на хранение сторожу в будке, и побрели мы с Женькой с черепашей скоростью к трамваю. Прыгал он на одной ноге, на меня грузно заваливаясь. А на подъёме, перед выходом из парка, попутный парень помог, а потом и с посадкой в трамвай тоже. И вторая была удача: как раз у «Скорой помощи» тот имел остановку.

В конце концов выяснилось: да, перелом, и сустав повреждён, что было хуже всего. Ожидая результатов обследования, я чувствовал смутно вину какую-то свою. словно грозила нам с Женькой некая общая беда, он на неё первым вышел и меня собой прикрыл. А не он, так я бы поломался, уж очень разгорелись мы в своей эйфории прыжковой. Я особенно, по моему предложению настойчивому и поехали, он-то согласился с неохотой...

Проводив Женьку в «травму» областной больницы, я вышел в простор серенького, мягкого мартовского дня. Большая грусть-тоска на меня накатилась. А я ведь не знал ещё, что будет этот день концом моего спортивного пути. Не до спорта станет...

8

Конец четвёртых уже летних каникул, завтра в Воронеж отъезд. Невнятное чувство чего-то здесь, дома, недоделанного возникает во мне с утра раннего и не в первый уже раз. словно долг на мне важный, но размытый, в слова не переходящий, висит. Перед кем, перед чем? Или что-то своё я упускаю, упустил, может, уже? Ответа нет и одно остаётся: выбросить это из головы и последний дома день прожить лучше...

Утро солнечное, тихое, роса на грядках огородных остро вспыхивает-блестит. Попадаю взглядом на отставленный в сторонку чурбак, оставшийся от недавней колки дров на зиму. Подхожу, пинаю чурбак ногой, рассматриваю долго. «Не он ли над душой, как дело несделанное, висит?» — усмехаюсь про

себя. Нет, не он, но расколоть его всё равно надо. И не откладывая, вместо зарядки. Мудрёный чурбак, словно узел огромный, туго завязанный. От одного долгого взгляда на него усталость предчувствуешь...

Вспоминается, как на школьных каникулах перекололи мы с Генкой огромную гору чурбаков свеженапиленных во дворе соседней аптеки. Денег подзаработали. Я так глубоко в это дело вошёл, что просыпался по утрам с мыслью радостной: опять дрова колоть!

Из-за развесистой, в красных крупных яблоках яблони появляется матушка с ведёрком. И в нём яблоки, такие яркие, огромные, что так и тянется к ним рука — поддержать хотя бы, покачать на ладони, живой яблочный холод ощутить. И не удержаться, захрустеть пахучей, сладкой с кислинкой, брызжущей соком плотью.

— Может, возьмёшь? — спрашивает матушка просяще.

— Нет, что ты, тяжелы они уж очень.

— Ну, смотри... — вздыхает матушка. — Своя-то ноша не тянет...

Накормить хорошенько, с собой дать побольше — в этом для неё первое, очевидное самое проявление любви. И ещё обнимать людей она любит очень. И целовать тоже...

На днях зашёл к ней в аптеку, да и постоял в углу, посмотрел, как она работает, «отпускает», по её выражению, лекарства по рецептам, записывая при этом что-то в большую, толстую амбарную книгу. Халат и шапочка белейшие, накрахмаленные, а круглое лицо её такое доброе и светлое, что каждый, обращаясь к ней, тоже, кажется, светлеет. И добреет, возможно. А я смотрю и смотрю, и не могу оторваться. И понимаю вдруг пронзительно, что ей всего лишь сорок шесть лет! А в сорок пять, по пословице, «баба ягодка опять»...

Всю войну мы с ней и с её младшей сестрой прожили в крохотной деревеньке Красный Камыш в десяти километрах от Тима. И она как-то рассказывала мне, что всё время там ждала, посматривала на дорогу: вдруг Вася покажется? Муж и мой отец. Ждала, да не дождалась...

Матушка уходит, а я приношу топор и вновь чурбак рассматриваю, хорошо зная по опыту, что есть, должно быть в нём такое место, при ударе в которое такие узловатые чурбаки неожиданно легко раскалываются. Не найдёшь, долго мучиться будешь. Нахожу его довольно быстро. Чурбак даже крикает, то ли с сожалением, то ли с облегчением разваливаясь на две половинки...

Завтракаю символически, зато чай завариваю, как всегда, крепчайший. Матушка видит это с грустью, скорбью даже в глазах, но молчит. Объяснять пришлось не раз, что так надо для работы. А «работа», то есть сидение за столом над бумагой с карандашом в руке, вызывает у неё смесь уважения и тревоги. Что там такое пишет по утрам сынок? Не на писателя ведь, на врача учится... А я и сам с ней это чувство разделяю отчасти — к чему это, зачем и какой конец этому будет? Да и будет ли?

За каникулы я написал три небольших рассказа и теперь перечитываю их один за другим. И вдруг с удивлением вижу, понимаю, что рассказы

очень даже неплохие. Да хорошие просто-напросто! Живые, энергичные, с глубиной за текстом... Так почему же они мне после первого прочтения не понравились, ни один? Вымученными казались, с затёртыми, плоскими, в глубину именно не пускающими, словами. А может, рабочее усилие осело на них, а потом исчезло куда-то? Но это для меня, а для читателя как? А читатель у меня все четыре институтских года один Гребень, вот ему и покажу.

Писание своё я скрывал, но когда-то и открыть его придётся, отдать или послать куда-нибудь. Но потом, потом. Может, и почувствуешь вдруг — теперь пора. А пока доволен будь, что каникулы прошли не впустую.

Как они похожи, дни каникулярные, словно один и тот же длинный, длинный день. Вот и сейчас писательское моё сидение закончилось, а за ним, как обычно, бег, купание в пруду, большой обед, сон недолгий, баскетбол на школьной спортплощадке и Ирина, Ирина...

Шёл на свидание с ней в ранних, тёплых сумерках. Прямо передо мной на чистом, темно-синем небосклоне висела половинка луны, похожая на крохотное облачко. Изредка взглядывая на неё, я замечал, как она набирает силу, становится всё ярче, вступая понемногу в ночные свои права.

Чувство неисполненного какого-то долга, смутно беспокоившее меня в последнее время, вновь шевельнулось при виде луны. У Ирины же шестой курс, подумал вдруг, будто открытие важное сделал. А на шестом женятся все, кто только может.

О женитьбе на Ирине я раньше и не думал как-то, а просто уверен был, что она непременно случится. Когда-нибудь. А раз так, то чего и думать, если и без того хорошо. Теперь же как щёлкнуло внутри: пора! Увести ведь могут девуку...

На мосту, месте встречи, я остановился ждать, глядя то вниз, на поблёскивающую под луной воду, то в сторону, откуда должна была появиться Ирина. Лёгкий приречный туман, чуть подсвеченный луной, висел вокруг таинственно. А вот и Ирина, тёмное такое пятно, а вот уже и силуэт её, а вот и она сама с руками прохладными, телом тёплым. В этом её появлении, возникновении медленном и неуклонном было что-то подтверждающее только что решённое мной.

Она тут же сказала, что у верхнего их огорода солома свежая есть, там и посидеть можно. Скоро и оказались мы на этой соломе, и такой она была приветливой. И пахла чудесно, не только хлебом, но и домом родным. И вольно было в ней, и удобно!

— Давай поженимся, — сказал я.

— Давай, — быстро и просто ответила она.

Домой я возвращался на рассвете, напористо шёл в гору, с радостью чувствуя своё молодое, сильное тело. То бежать хотелось, то смотреть в небо. Луны больше не было, зато прямо передо мной на светлеющем небосклоне сияла, переливаясь, яркая голубоватая звезда. Она показалась мне даже лучше, интереснее луны. Венера, звезда утренняя. Но и вечерняя тоже...

Застолье, проводы меня в Харьков — жениться. Мне странно как-то, неловко, сам себя я, что ли, провожаю? Прощаюсь с самим собой, холостым? Или это приятели меня холостым провожают, а встретят уже женатым?

У троих за столом удивительные фамилии: Пугаев (Аргентина), Шалунов, Убогий. Как из одной какой-то бедовой команды. Но и более разных людей трудно найти, уж я-то знаю.

Пьём «сучок», закусываем субпродуктами из здоровенной, зелёной консервной банки и «чернушкой», хлебом. Шалунов, жгучий красавец, ведёт рассказ о елецкой своей жизни с уголовным уклоном. Оно и понятно, «Елец всем вора́м отец», кто этого не слышал. Любит он свой Елец и им гордится.

Я то слушаю, то нет, и вдруг знакомое что-то мелькает: «Засосна», «Мотя, утиная головка»... Да это же из «Жизни Арсеньева» бунинской, из описания Ельца! Городской дурачок был этот Мотя, издевались над ним, а похороны елецкие купцы ему устроили роскошные. Какую же толщцу времени память об этом Моте пробила...

Потом Аргентина рассказал, как он невинность вскоре после окончания школы потерял. Странно было услышать это слово от мужика с грубым, разбойничьим лицом. Работал он в депо железнодорожном, и пришлось ему шлаковую яму чистить вдвоём с пожилой, злой тёткой. Когда кончили, повела она его в стационарное общежитие рядом, грязь под душем смыть. А потом и в комнату свою завела, налила ему водки и сама выпила. И в постель затащила. И как-то выходило у него, что она и плохая была, и хорошая. И всё казалось мне, что именно он, дружок мой Пугаев-Аргентина, должен бы рассказы и повести писать...

Поздним вечером был вокзал, перрон, мороз, скрип снега под ногами, пар от дыхания. Генка уезжал со мной, как друг старейший, а Пугаев с Шалуновым нас провожали. Выпито было крепко, и врезалось в память, как они, хмельные, сначала идут за тронувшимся вагоном, а потом и бегут, размахивая прощально руками...

Харьков встретил нас таким же морозом, только света в пасмурный день было по-южному больше. В ЗАГС пошли мы с Ириной, её подружка Лера и мои друзья Генка и Гребень, учившийся в Харькове. Так тепло там было с мороза и так приятно-тайнственно от бордовых стен. И на Ирине было красное платье из особенной, пухловатой словно бы материи, и лицо покраснелось под стать, и глаза сияли с мороза.

На мне был чёрный костюм, первый в жизни, да не купленный, а пошитый в ателье. Гребень в этом деле мной руководил, и ткань выбрал (трико), и ателье, лучшее в городе. А рубашка была без галстука и чёрная. Тут уж я сам решил, по смутному какому-то позыву...

Сочетание интимности нашего дела с официозом учреждения вызывало протест, желание отклониться. Ну я и отклонился: шампанское предложенное отверг и фотографироваться отказался. И с Ириной при этом не посоветовался, даже взглядом. Нет, и всё! Нам-де не до ваших глупостей...

А дальше, вечером, в предоставленной нам тётушкой Ирины квартире получилось совсем уж дико. Подруги Ирины и мои друзья сидели молчаливые, напряжённые и даже пили, казалось мне, неохотно. Ну я и решил для оживления прочитать свой любимый, маленький бунинский рассказ «Темир — Аксак-Хан», крайне мрачный, но и радостный одновременно в самой тайной глубине. Думал, наверное, клин клином выбить, но не помогло. Всё тот же дух тоски и разобщённости витал над бедным нашим столом. И тогда я, окончательно отчаявшись и разозлившись, попросил дорогих гостей уйти. Незачем маяться без нужды, так и сказал. Ну, гости и ушли послушно.

Остались мы с Ириной вдвоём на широченной, покрытой огромным, от потолка, ковром, тахте, и стало нам наконец-то хорошо...

На другой день погуляли по центру Харькова, переглядываясь и улыбаясь друг другу онемевшими от мороза губами. Потом посидели в круглом, стеклянном, похожем на аквариум ресторане. Ирина выглядела не то чтобы радостной, но спокойной и довольной, и это как раз было лучше всего. Я тоже, в лад ей, чувствовал нечто похожее. Сознание правильности нашего поступка общего, вот что было главным. Но и радость вдруг укалывала откуда-то из глубины: сидит-то передо мной не просто подружка Ира Попова, а жена! Приятно и значительно слово это про себя говорилось. И ещё чувство ответственности за неё, за нас, обоих, незнакомое раньше, возникало вдруг... Я и срок любви нашей посчитал впервые — семь лет.

Ровно в полночь мы уезжали в Курск, а оттуда домой, в Тим. Мороз ещё усилился, а площадка с автобусами была покрыта громадным, серовато-белым облаком пара и выхлопных газов.

В автобусе оказалось довольно тепло, да и ехали мы, обнявшись, согревая друг друга. Чудесно было покачиваться вдвоём на быстром ходу автобуса, дыхание Ирины чувствовать на щеке, ближние и дальние огоньки видеть в полузамёрзшем оконном стекле...

Свадебное застолье в Тиму было совсем иное, чем в Харькове: тесное, шумное, жаркое, радостное. Мы с Ириной сидели во главе стола и без вина хмелели. Радость, витавшая прямо-таки над столом, особенно удивляла. Одним хмелем её невозможно было объяснить, что-то иное тут было, серьёзней и глубже.

А на позднем зимнем рассвете я проснулся от стука в окно. Оказалось, дядя Коля, наш родственник, в застолье бывший, пришёл опять и попросил с порога:

— Тысяча извинений! Дай в зев плеснуть что-нибудь, мотор горит...

Получил он и в «зев», и с собой пузырёк со спиртом. Закрывал за ним дверь я с большой грустью: чудесный ведь человек, а вот пропал же пропадом... И ошибся.

Всё потерял дядя Коля: и семью, и работу начальником немалым, и остался один в своей, подзаборной уже почти, жизни. Больше ему и терять было нечего, разве что жизнь саму. И вдруг узнаю, что завербовался он на год куда-то на Севера, на лесоповал. Лечебный курс работой там пройти решил, такое было его объяснение. Через год вернулся непьющим, на тяжёлом

новеньком мотоцикле «Урал» с коляской. Быстро продал домишко за бесценок и уехал на том же мотоцикле. Новую жизнь начинать.

Оказалось, что списался он, на лесоповале будучи, со своей первой, школьной ещё, любовью. Она согласилась встретиться, и зажили они вместе, и живут хорошо. Очень далеко где-то...

Подобные истории слыхивал я не раз, и всегда они бодрили, радовали душу. Есть, значит, для человека и такой упор перед самой уже погибелью. Первая, такая далёкая, полузабытая и вдруг такая уцелевшая любовь...

10

Окончившая институт Ирина была направлена на работу в Сумскую область. В Сумы мы приехали поздним вечером. Ирина с подругой заночевали в вокзальной комнате отдыха, а я в подвале, в багажном отделении, на каком-то здоровенном, старинного вида сундуке. Прекрасно поспал с толстенной книгой Бунина под головой. И дамы мои были ночлегом довольны и веселы, и утро было чудесное, обещающее жаркий и долгий летний день.

Они отправились в облздравотдел, а я погулял по городу и был совершенно им очарован. Уютный, зелёный, спокойный, с добродушными, улыбчивыми жителями, со спокойным, губернских времён, центром и тишайшей, зеркально сияющей рекой Псёл в низких, зелёных берегах. И перекусил прекрасно, сидя на лавочке в сквере, вкуснейшими тёплыми, домашнего вкуса пирожками с картошкой. Пирожковый уличный опыт был у меня огромный, но такая начинка встретилась впервые и согрела не только желудок, но и душу.

Ирину я встретил уже на улице и в который раз удивился, как она хороша, несмотря на пятимесячную беременность. Да та и незаметна почти была, так, лёгкая припухлость лица и лёгкая прибавка в стане, по-старинному говоря.

Оказалось, что направили её на должность детского врача в село Юнаковку недалеко от Сум и что ехать туда можно было прямо сейчас, рейсовым автобусом с автостанции.

Обрадовала близость города, а остальное как-нибудь уладится, решили мы. Тем более что работать ей придётся совсем недолго, до декретного отпуска, а потом видно будет.

Погуляли мы, пообедали в уютном ресторанчике чем-то вкусно-сытным, хохлацким и поехали на закате в Юнаковку. На полпути в автобусе стало вдруг очень пасмурно и, оглядевшись, я увидел огромную, иссиня-чёрную тучу. Она обещала обломный ливень, и хорошо было бы успеть спрятаться от него в юнаковскую больницу. И ведь успели добежать до её крайнего маленького краснокирпичного домика. Было заперто, я постучал, и дверь неожиданно быстро открылась. Высокий, сухой седовласый старец стоял на пороге с приветливым выражением лица.

— Прощу, — сказал он так, словно нас-то и ждал давно.

Вошли в большую, высокую комнату, половина которой была засыпана красно-желто-белыми яблоками. Густо пахло ими и бушующим за приоткры-

тым окном ливнем. И в старце, и в комнате было что-то неожиданное, свежее и чудесное.

Оказалось, что он в этой комнате и живёт одиноко, работая в больнице лаборантом. Узнав наши обстоятельства, предложил для ночлега свою комнату, сказав, что уж себе-то на ночь место найдёт. И мы провели в этой «яблочной» комнате совершенно чудесную ночь, как туристы в походе.

Утром Ирина пошла являться главврачу, а я бродить по территории больницы. Она состояла из трёх одноэтажных зданий великолепной постройки: темно-красный, тоньше обыкновенного теперешнего, кирпич, большие стройные окна, высокий фундамент и, удивительней всего, скрепы кованые, бронзовые на углах. И двери под стать окнам — филёнчатые, высокие, важные. Явно старинная была больница, что потом и подтвердилось. А дом, в котором мы заночевали, был жильём для земского врача. Чехов мог бы тут жить и работать...

Квартира для Ирины оказалась снятой, и на больничном УАЗике мы туда и поехали, мебель больничную с собой захватив: полутораспальную кровать с панцирной сеткой, стол, тумбочку, три стула.

Квартирой оказалась большая и совершенно пустая комната в длинном частном доме. Вход в неё был отдельный, что порадовало больше всего.

В центре села стояло два магазина: «Продтовары» и «Промтовары». В первом мы купили чёрного хлеба, а во втором несколько больших, на толстой глянцевой бумаге, плакатов с одним и тем же изображением: девушка-красавица в белейшем халате и косынке, а вокруг неё россыпь белейших кур с красными гребешками. Ирина хотела ими два голых окна в своей комнате закрыть-завесить.

Рядом с магазинами высилась церковь из красного кирпича, приземистая и бокастая на южный манер. Недалеко от входа сидел бородатый человек в чёрном балахоне — священник, конечно. И таким одиноким казался он здесь...

Уехал я через три дня, спеша к институтским занятиям. Оставлять Ирину одну было горько и стыдно...

11

Железногорск, суета сборов Ирины в больницу, рожать. Мне в этом как-то не находилось места. Вышел на крыльцо покурить: какая ночь! Ясная, чистая, словно замершая в ожидании чего-то.

В больнице Ирина быстро скрылась за белой дверью акушерского отделения, а мы с её сестрой Галей остались ждать в комнатке со стульями вдоль стен. Ждали и молчали, молчали и ждали. На меня накатили вдруг воспоминания о недавнем экзамене по акушерству, и от этого становилось всё тревожнее и тяжелей. Вспоминалось самое опасное, страшное прямо-таки...

Время шло то медленно, то быстро. На езду с остановками было чем-то похоже. Но вот наконец дверь белая открылась, и женщина с весёлым лицом появилась в ней:

— Всё нормально, с мальчиком вас!

Переход к радости был резким и сильным, и я ощутил его вполне физически. Вот именно «облегчение» случилось, хоть взлетай и лети. И в лунной ночи, когда мы с Галей возвращались домой, тоже что-то изменилось: то ли лунный свет потеплел, то ли сама молодая луна стала крупней и ближе. И ещё чувство благодарности было к чему-то неопределённому, всеобщему, включая и луну, и свет её, и тени резкие от света. «Три семьсот», — повторялось и повторялось в голове. Вес родившегося сына три семьсот! А Ирина? Чудо она сотворила, и я с ней чуть-чуть...

На другой день увидел я и жену, и сына, они как-то вместе были как одно существо. Личико сына зыбилось, то туманней становясь, то ясней. Красное и очень маленькое, а глаза, нос и губы крохотные, словно я ожидал, что всё это окажется гораздо крупней. А жена была именно такой, какой и быть должна — усталой и счастливой.

Вечером посидели с Галей и Веной, мужем её, выпили, песен попели старинных: «Рябину», «Степь да степь кругом», «По диким степям Забайкалья»... И было в них что-то особенно подходящее к случаю, корневое, родовое. А ещё чувствовал я, что сильно с ними обоими и дочками их сблизился за последние несколько часов. Сын потому что у меня появился...

12

Вернувшись в Воронеж, отметил я рождение сына с друзьями-приятелями. В общежитии, где ж ещё? Во время приятного этого дела случилась вдруг весьма неприятная «заваруха», в которой я был никак не виноват. Сообщили тут же новому ректору, ну он и показал, что «новая метла чисто метёт». Разборка была быстрая и всё клонилось к исключению меня из института, как организатора пьянки. Вот тут как раз меня и вызвали на военную кафедру и предложили выбор: или исключают, или я пишу заявление с просьбой взять меня в армию, на полный офицерский срок. И я легко это заявление написал, решив, что его можно будет отозвать после госэкзаменов.

В общем, всё закончилось всего лишь выселением из общежития, что меня не очень-то и удручило. Учиться оставалось всего год, и жильё сразу нашлось — к Женьке Шалунову, красавцу из Ельца, на частную квартиру можно было подселиться.

Дом недалеко от вокзала по степени дряхлости был похож на дом у реки, где я жил после первого выселения из общаги, а хозяйкой была тоже одинокая старуха. Но было и отличие — высокие окна и высокие, с лепниной гипсовой, потолки. И хозяйка отличалась от прежней: говорила вполне интеллигентно с уклоном в старину, в школе преподавала, да ещё и математику в старших классах. Нередко хохот одинокий раздавался из её большой, затрапезной комнаты — телевизор, значит, смотрела. Как-то остановила меня в коридоре, пожаловалась с недоумением: «Пошла наемни на пьесу «Жизнь индейки» — и представляете, никакой индейки не оказалось, слова о ней не сказали. Ну как это прикажете понимать?» Я лишь плечами пожал и даже смутился. Подумал: не тронулась ли часом? А в тот же день афишу увидел: «Жизнь — индейка».

Шутила, значит, старуха, а я, дурачок, и не сообразил. В другой раз, тоже в коридоре, маленький выговор мне сделала: «Вот вы с вашим гостем-приятелем, слышала я, всё о Фёдоре Достоевском разговариваете, а дверь наружную потом толком не закрываете! Лишнего употребляете?»

В общем, за грузную статью, важность и лепнину на потолке её дома стал я в конце концов, и про себя, и в разговоре её «графиней» называть. Графиней Жонголович (её фамилия). И ведь прижилось! Графиня и графиня, очень мило. Кстати, хозяйка развалюхи у реки, крошечная горбатая старушка, тоже прозвище у нас имела — Яга. А вот это уже не мило и даже нехорошо...

Каморка наша с Женькой на две кровати впритык выходила окном прямо на проходную паровозоремонтного завода, на котором работал когда-то молодой Андрей Платонов. И жил рядом, и написал об этом: «В молодости я любил мать, поле, колокольный звон и потную работу. Колокольный звон летними вечерами слушали пристально слободские нищие и я». В той же призаводской слободе поселился ссыльный Мандельштам сразу по приезде в Воронеж: «Я живу на важных огородах, Ванька Ключник мог бы здесь гулять...».

Жизнь в нищенских условиях меня нисколько не тяготила. Привычка к этому уже наработанная была, и, главное, великая сила и потребность молодости любить всё, что ни посылает тебе жизнь и судьба. Ну, почти всё. Думать так я не думал, но чувствовал вполне. От нутра, от живота шло понимание необходимости любви. Люби, иначе плохо тебе будет! Неожиданно легко на душе у меня во время этой «ссылки» было, чему я удивлялся, пока не понял, откуда это взялось. От семьи, от жены и сына, которые были теперь у меня и меня согревали...

Из Ельца в воскресенье, раза два в месяц, приезжал к Женьке отец, заведующий заводским гаражом. Очень они были внешне похожи и на редкость разнились по натуре. Женька был вяловатый, молчаливый лентяй, а отец его бойкий, быстрый, остроглазый говорун. На пружинах весь, о таких говорят.

Программа выходного дня была у них всегда одна и та же: прогулка по городу с закупкой продовольствия для Женьки, потом «капитальный», как он говорил, обед в лучшем ресторане «Москва», а вечером непременно оперетта. Мне они вдвоём нравились чем-то, трудно уловимым. Слаженностью, пожалуй, наработанной, как у эстрадной пары.

Мы с Женькой дожили в своей каморке мирно и благополучно до окончания института. Хорошим он оказался парнем при ближайшем рассмотрении. Меня иногда почему-то называл «господин Убогий» и хитро улыбался при этом. На работу его распределили чудесно, в родной Елец, где он, красавец и здоровяк, вскоре умер внезапно от инсульта...

13

В последние зимние каникулы поехали в Тим втроём: мы с Генкой и общий наш друг Гребень. Я впервые ехал не к подружке своей любимой Ирине, и не к жене даже, а к семье. К жене с сыном. Пока ехал, разница эта лишь

угадывалась, а когда их обоих сразу увидел, то ощутилась вполне. Вот они, мои единственные.

Ирина, всегда красивая, теперь расцвела прямо-таки, раскрылась во всей своей женской прелести. Материнство светилось в ней, как роса на цветке.

А сын поразил, в изумление восхищённое привёл. В роддоме, три месяца назад, увидел я красненькое, сморщенное, такое крохотное личико и ничего больше, а теперь был передо мной, пусть и маленький, но полный человек. Он и моргал, и смотрел на меня темно-карими, как у Ирины, глазами, и ноздри у него вздрагивали при дыхании и губы вытягивались вперёд. На руках у меня оказавшись впервые, заплакал испуганно, а для меня бодряще. И руки мне в конце концов намочил совсем уж по-свойски...

И всё время я чувствовал удовлетворённо и радостно, что мы, трое, не только внутренне связаны между собой, но словно бы и внешне неким кругом магическим, невидимым окружены, очерчены. Мать, отец, сын. Это мы, семья, а все остальные люди — совсем уже другое... И ночью было по-особенному: вдвоём мы с женой, вдвоём, но ведь и сын рядом, можно руку протянуть и покачать его кроватку.

К ножкам железной этой кровати я приделал деревянные полудуги, потратив на это почти целый день. Когда же кроватка закачалась на них размашисто, то особенную совсем испытал гордость...

Когда наступил день отъезда, то прощание оказалось неожиданно трудным — и с женой, и с сыном, и с обоими сразу. И сопровождали они меня весь почти обратный путь: то жена, то сын, то оба...

А месяца через два, нежданно-негаданно, я опять их увидел. Собрался вдруг торопливо и укатил на поезде Воронеж — Киев, уходящем в ночь. По пустынным улицам мела метель мне в спину, подталкивала, посвистывала — домой, домой, к семье!

Зимой мы всегда ездили до Курска, но Щигры встретили меня таким солнечным, прекрасным, тихим утром, что я решил рискнуть. Тридцать два всего километра до Тима, как-нибудь доберусь, сокращу дорогу втрое. Где-то подъеду, а то и просто дойду. Авось, не труднее, чем на гонках лыжных, будет!

Шапки-ушанки моей, засунутой ночью в рукав пальто, не оказалось, но и это меня не образумило. Плевать, шарфом голову обмотаю, если что...

Поезд ушёл, и тогда только я спросил мужика в промасленном путевском ватнике, как тут с дорогой на Тим. Тот посмотрел удивлённо:

— Какая дорога, парень?! Два дня метелило, ночью только притихло. Ты глянь, завалы какие!

Завалы да, имели место, но делать было нечего. Прорвёмся!

Идя по улице, выводящей на тимскую дорогу, я увидел попутный магазин, и с ним мне повезло, торговали там по-сельски: и продуктами, и вещами. Купил на дорогу килограмм рыжих, каменной твёрдости, пряников, килограмм подсолнечной халвы одним здоровенным куском (подарок семье), и кепарь впридачу. Он был роскошным: из толстенной, рыхловатой ткани коричневой и здоровенным козырьком. «Аэродром» — так такие называли.

Вышел из магазина с удовлетворением: на голове тёплый кепарь, который при нужде даже на уши можно натянуть, а в руке студенческий чемоданчик-баульчик с едой.

Когда же вышел из Щигров на тимскую, занесённую свежим снегом, дороге со следами лишь саней, то холодок тревоги прошёл-таки по спине. Тридцать два километра такой, примерно, дороги лежало впереди...

Идти было вязко, медленно, и я попробовал бежать рысцой. Стало побыстрее и даже, казалось, полегче. Это обрадовало и подбодрило. Чемоданчик, правда, мешал, и приходилось менять руку.

Вдруг, вижу впереди, со стороны темнеющей деревушки, выезжает на дорогу подвода и поворачивает в сторону Тима. Я бегу за ней прежней своей рысцой и замечаю с удивлением, что подвода приближается. Догоняю я её, надо же!

В санях сидели две бабы, и, когда я совсем уж приблизился, одна из них стала нахлёстывать лошадёнку. Они же испугались, понял я. Да и было чего: бежит по дороге в чистом поле мужик с чемоданом и за ними гонится. Не с добром же?

Лошадёнка прибавила ход, но ненадолго. Вот я опять близко совсем, а вот уже и поравнялся с санями, и тут повёл себя совершенно дико. Обогнал сани с каменным лицом, даже головы к ним не повернув. Почему, сам не понимал. Мог бы подъехать попроситься или хотя бы крикнуть бабам что-нибудь шутливое. Нет, обогнал и убежал, скрылся за поворотом. А бабы, может, решили, что я им померещился...

А я бежал и бежал, потом шёл, потом стоял недолго, отдыхая, и снова всё, и опять. День был — лучше не бывает. Ни ветерка, ни облачка единого на небе синем, морозец нежный, а солнце ещё нежней. И видел я час за часом одно и то же — поля холмистые белоснежные, и небесную над ними синеву. Несколько раз ел пряники, разгрызая их с трудом и заедая рассыпчатым, пресным, безводным снегом. Во время отдыха очень тянуло прилечь на снег, в пух его манящий, и остаться между небом и землёй.

На всём пути оказалась одна-единственная деревня, а другие прошли, чернея вдалеке от дороги. Зашёл в первую же кособокую хатку напиться. Не избалован был хорошим жильём и всё-таки ужаснулся: низкий потолок провисший, земляной пол, печка, стол, лавка под крохотным оконцем, а на ней серолицая баба в ватнике, тёплом платке и стёганных бурках с галошами. И смотрит прямо на меня, вошедшего, словно хоть кого-нибудь ждала и дождалась...

К Тиму я подходил на огромном, в полнеба, малиново-розовом закате в состоянии весёлой дурашливости: стихи читал вслух, песни напевал. Опынение от усталости было и от предчувствия того, что скоро, вот-вот, Ирину и Андрюшу увижу...

Дома были три чудесных дня. Жена выглядела ещё похорошевшей, и сын подрос. Один день мы провели в доме Ирины, у матушки её, а моей теперь тёщи, Марии Денисовны, учительницы школьной. Удивительная была женщина! Красивая, крупная, статная, приветливо-немногословная. Что-то

из старины в ней было, дворянское, боярское... Лет через пять будет первые гостить она у нас в Калуге, и мой коллега-приятель скажет, её увидев: «Ну и тёща у вас, императрица прямо!»

Очень приятно было и поработать в этот короткий приезд — снег вокруг полузанесённого домика своего почистить, уголь у Марии Денисовны с дороги в сарай перенести. А в доме её больше всего удивил и запомнился внушительный такой потолок в большой комнате из широченных, коричневых от времени, чуть лоснящихся досок, чем-то неуловимым напоминавший хозяйку...

Матушка была очень довольна моим появлением внезапным. «Хорошо, что тянет к семье», — сказала. А поход мой пеший её испугал: «А если б погода вдруг сломалась, метель поднялась?» Я и сам так подумал в пути, вспомнив начало метели в пушкинской «Капитанской дочке». Там тоже солнце в степи сияло в тишине, и вдруг — маленькое облачко на горизонте... Несколькими раз осматривался, облачко то самое ища, и успокаивался, и жену с сыном вспоминал, словно на их помощь надеюсь...

14

Летом моего последнего институтского года Ирине надо было выходить на работу. И сына семимесячного с собой брать, и работать с ним на руках. Как? А как придётся...

У меня шли госэкзамены, но проводить их я поехал, выкроил несколько дней.

Жильё для Ирины было уже снято — опять комната в частном доме, но рядом с больницей. В ней хоть мебель какая-то оказалась, не то что в прошлый раз, шаром покати. Ирина на другой день вышла на работу, а я остался с сыном.

Раньше я лишь брал его на руки ненадолго, да спящим в дороге держал, а теперь остались мы вдвоём, и это оказалось для обоих трудно. Ему особенно, потому что пришлось всё время кричать и плакать с коротенькими для отдыха перерывами. Что я только ни делал, чтобы хоть чуть-чуть его утешить: и по комнате носил, и на руках укачивать пытался, и на диван то клал, то сажал спиной к подушке, но ничего не помогало. Плачет и кричит, кричит и плачет. Уже и замученным он стал выглядеть, что меня всерьёз напугало. Что дальше-то будет?

А дальше, совсем уж отчаявшись, схватился я, как за соломинку, за книжку со стихами Пушкина, взятую в дорогу, посадил сына в угол дивана и стал читать ему и отчасти себе эти стихи, как открывалось. И ведь помогло, затих сынок. Мерность, монотонность голоса моего подействовала, что ли? А, может, пушкинские именно стихи помогли каким-то чудом?

На другой день мы с этой квартиры переехали на другую, где хозяйкой была старушка, которая могла бы за сыном присмотреть.

Новая квартира оказалась у церкви, как и прошлогодняя, и даже священник так же на лавочке рядом сидел, словно нас дожидался. И у меня вновь мелькнуло, что хорошо бы с ним поговорить...

Старушку я быстро переименовал в старуху, такая она была неприветливая, со злинкой на крупном, отёчном лице. Как с ней будет сынок ладить, Бог весть. Песенку колыбельную она ему не споёт, похоже...

Когда входили в дом, с высокого крыльца блеснула в конце огорода речка, и я обрадовался так, будто близкого человека увидел. Живая вода, большое дело!

Пробыл я в Юнаковке дней пять, посидел с сыном в сумрачной комнате старухино дома, пока Ирина была на работе. Он ко мне попривык, плакал гораздо меньше, а когда случалось, помогали стихи. Мы с ним даже на речку сходили, посмотрели на воду, лозняк, лужок, на гусей, плавающих гордо.

У старухи нашлась детская кроватка, которую сын и занял. Хорошая такая кроватка, даже с перильцами, чтоб ребёнок не выпал. Я любовался прямо-таки, как сын стоит в ней, покачиваясь и держась руками за перильца...

И в первый в Юнаковку приезд, и особенно во второй, Ирина поражала меня своим состоянием и поведением. Обстоятельства складывались для неё тяжелейшим образом: незнакомая, ответственная, трудная работа, ребёнок грудной на руках, вызовы к больным в любое время суток... Смотрел я на неё с тревогой и сочувствием, бессильный помочь, а видел лишь спокойное смирение и терпение. Это и восхищало, и удивляло. Как, откуда такое? Много лет прошло, пока не понял, что христианка истинная она по натуре. Была и есть...

Пришла пора мне уезжать, а сыну «идти» в колхозный детский сад, в угрюмый, обшарпанный дом на краю сельской площади. Увидел я его во время прогулки всей семьёй и тревогу почувствовал. Вспомнил свой детсад и плач горький и долгий в первый там день. Только ведь мне шесть лет было, а сыну было семь месяцев...

Внутри детсад оказался ещё хуже, чем снаружи. Отдал я плачущего Андрюшу молоденькой девушке, и она стала его переодевать. Потом улыбнулась мне сочувственно и ушла с ним, кричащим надрывно.

Мучительно хотелось сделать что-то резкое, нужное. Да просто-напросто взять сына и уйти! Но куда? Нет, тут уж, видно, судьба такая — этот садик. Для всех нас троих...

15

Госэкзамены оказались самыми лёгкими из всех, которые пришлось сдавать за шесть лет учёбы. Экзаменаторы слушали вполслуха, листали неторопливо зачётную книжку, да и ставили средний, примерно, за все годы учёбы балл. Вот и я получал раз за разом своё верное и любимое «хорошо».

Сдав экзамены, пошёл на военную кафедру отзывать написанное добровольно-принудительно заявление. Заведующий только плечами пожал: «Раньше думать надо было. Теперь назад не отыграешь».

Тут же мне выдали ордер на получение отреза на шинель, отреза на мундир и на сапожный «товар». Дело и вправду далеко зашло!

Огорчён я был немного: что в глушь какую-нибудь по распределению на три года ехать, что в армию идти, невелика разница. Уж как-нибудь уволюсь за такой-то срок...

Получать «товар» пошли с Пугаевым-Аргентиной, загремевшим в армию по похожей на мою истории. На один и тот же крючок нас, значит, ловили. Он был совершенно беззаботен, сказав, что уволится, как только захочет, а способов — пруд пруди.

Воинский склад был на спуске к реке: длинное, старинное, крепостного вида здание. Внутри сумрак и прохлада, приятные в жаркий день.

Выдавал «товар» пожилой старшина, угрюмый и немногословный. А «товар» оказался на удивление хорош: светло-серое, толстое, плотное шинельное сукно; сукно мундирное, темно-зеленое, потоньше; кожа на сапоги мягкая, поблёскивающая тускло. А лучше всего была коричневая кожа на подмётки с чудесным резким, спиртовым запахом.

Старшина увязал всё это бечёвкой в два тюка, и мы вышли во двор, в жару из прохлады. Присели на лавочку у дверей перекурить, и старшина за нами вышел, прислонился к притолке плечом.

Я приподнял свой тючок, понявчил:

— Никогда не думал, что такое будет...

— Будешь больше, чем был! — рявкнул старшина со странной злобой.

Я встретился с ним глазами и вдруг всё понял: мечтал он стать офицером, да не пришлось...

Вручение дипломов прошло однообразно и скучновато, да иначе и быть не могло. Все мы были одинаковы в это время, словно группа бегунов на старте длинной, как жизнь, дистанции. Вот на ней, со временем, всё гораздо разнообразнее станет.

Так и стало уже через десять лет, когда почти все мы впервые вновь встретились. Даже комиссия по проведению встречи организована была — как солидно!

Сидел я, как и в прошлый раз, рядом с Генкой и Аргентиной, и всё шло теперь очень живо. Председатель комиссии Люда Дугина называла фамилию и имя, и человек шёл в президиум. Были тут и главврачи, и доктора наук, и даже два заведующих кафедрами в нашем же институте. Сидим мы, аплодируем, и вдруг слышу: «Самый популярный из нас человек в институте — Юрий Пугаев!» Развёл Аргентина руками изумлённо, да и побрёл в президиум. Только подошёл он к столу, как слышу: «Самый популярный из нас человек в стране — Юрий Убогий!» Ну, и я пошёл следом, на ходу прикидывая, в чём же тут дело? Догадался быстро: повесть моя недавно в «Роман-газете» большим тиражом опубликована была, вот тебе и «популярный».

Хлопали нам, не жалея ладоней. Сидеть рядом с другом было и хорошо, и жутковато, как на краю обрыва высоченного...

К выпускному вечеру читальный зал превратили в застольный, и это было поразительно. Там, где день за днём и год за годом горбились мы перед толстенными фолиантами, науку медицинскую грызли, теперь белели скатерти, блестели тарелки, бутылки, фужеры, рюмки. Гуляй, душа! Но гулять душе как-то и не хотелось, моей, во всяком случае. Чем-то всё происходящее поминки напоминало. Да и было по чему — по воле и беззаботности, по молодости и ветру в голове.

Запомнился председатель экзаменационной комиссии, огромный мужик с большой бородой, профессор-хирург из города Горького. Важно обходил он столы, чокаясь с сидящими не рюмкой, а фужером. У меня и сорвалось, для самого неожиданно: «А в фужере-то минералка?!» Он посмотрел прерзительно и рявкнул: «Дурак!»

Засиделись мы сильно и стали расходиться, когда за окнами совсем рассветло. Мне с Аргентиной было по пути, а ещё и Женька Лахин к нам пристал, которому всё равно надо было ждать электрички. Он очевидно хромал, и я вспомнил вдруг, как вёл, почти нёс его прошлой зимой от лыжного трамплина до трамвая...

Брели мы неспешно на розовый, краснеющий быстро, восход, а с железнодорожного моста и солнце увидели — большой, красный, размытый по краю круг. Голубое небо в вышине выглядело чуть припотевшим. Было тепло-тепло и как-то нежно.

У дома графини Аргентина повернул во вторую, далёкую от института, общагу. Уходить в наш угрюмый дом из такого чудесного июльского утра очень не хотелось, и я предложил Женьке дойти до ближайшего магазина и подождать открытия.

Магазин назывался в околотке «Редькин», по фамилии владевшего им когда-то купца. И кладка краснокирпичная была точь в точь такая, как и в юнаковской больнице, и от этого вдруг на меня пахнуло мимолётным тёплом.

Крыльцо, на котором я надеялся посидеть, было грязным, но зато у стены магазина были составлены горкой пустые дощатые ящики, тара. На них мы и уселись удобно. Да на них и полежать можно было, если захочется.

Покурили, поболтали. Оказалось, что Женька распределился по любимой своей специальности, акушерству-гинекологии, в дальний, глухой район. Удивительно! Насколько мы с Аргентиной сторонились этого дела, настолько Женька вцепился прямо-таки в него. Как землю обетованную наконец-то нашёл.

Женька в конце концов заснул на ящиках, а я сидел с закрытыми глазами, нежился в утренней свежести и теплоте. Плыл внутри себя самого куда-то...

...Главное, будет ли в армии время писать? В институте-то было, да толку немного, Хемингуэю подражание почти всё. Великому Хэму. Учителю:

и как писать, и как жить... А сам погиб от руки собственной... Вот тебе и мужество, главное, чему учил. Оно, что ли, его к этому привело? Может, и так...

Голос женский... Очнувшись, я увидел перед собой хорошо знакомую продавщицу магазина.

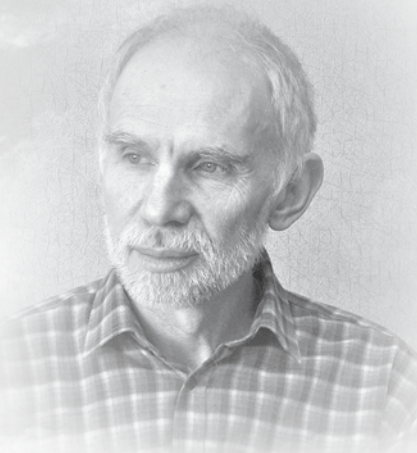
— А-а! — протянула она. — Клиенты-студенты! А я думаю, что за лежбище у меня тут?

Немного спустя мы сидели на тех же ящиках, но с «Алжирским» вином и закуской. От вина окружающее казалось ещё лучше, чем раньше. Именно тут, рядом где-то, были мандельштамовские «важные огороды», и Андрей Платонов родился, жил и работал на заводе, до труб которого было рукой подать. А друзья мои Аргентина и Генка тоже здесь, рядом, спят ещё, конечно. И моё последнее жильё в Воронеже за ближайшим углом. Да и Курск, и Тим неподалёку. Родина! Будет ли она в армии? А это куда пошлют. Посмотрим...

Над бурьяном у длинного серого забора напротив возникли две белые бабочки. Летали медленно, изломисто, то парой, то врозь. Вот разлетелись далеко, из вида пропали и вдруг явились вновь танцующей такой парой, чем-то напоминая людей...

Александр Трунин

Александр Васильевич Трунин родился в 1954 году в селе Кольцово Калужской области. Окончил русское отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор трёх книг стихов и многих публикаций в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Дети Ра», «Зинзивер» и других. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.



ЛЕТЕЛО СЕРДЦЕ В НЕБЕСА

* * *

Надо жить, а стало быть, надо иметь
конуру, желательнo чтоб не текла,
деревянное ложе и всякого рода медь,
и немного глины, и что-нибудь из стекла,
да ещё полотно отрез и в руке иглу.

Пусть пылает тихий огонь в глубине печной,
напеваеt жена, спит ребёнок в красном углу,
и никто не стучится в дверь в тишине ночной.

16.01.2022

Время и место

1

Разбирая старые архивы,
вижу, удивляясь сам себе,
как дороги наши были кривы,
но к единой вывели судьбе.

Люди, птицы, ветры и метели,
будний день, на пустяке пустяк.
Не смогли б, хотя б и захотели
эту встречу мы устроить так,

как случилось. В тусклом коридоре
встретились, болтали полчаса
ни о чём, верней, о всяком вздоре.
Но летело сердце в небеса.

02.02.2022

2

Лежал. Не спал. Всё думал о своём —
о том, как хорошо нам жить вдвоём
на серенькой окраине Калуги,
как утром просыпаемся, встаём,
пьём кофе, потрудившись, устаём,
гулять выходим по лесной округе,

как смотрим вовремя под ноги или вдаль;
о том, какой тяжёлый календарь
и в прошлом был году и будет в этом —
что ни число, то новая напасть;
нам горечи хватает нынче всласть,
вот-вот, чуть-чуть — прощайся с белым
светом.

Но снова утро, кашляет сосед
за стенкой. За окном уж много лет
один и тот же дворник, отпрыск юга,
лопатой бодро шаркает. Пора,
не сплю, не сплю. И радуеt с утра,
что время — есть.
И место есть — Калуга.

04.02.2022

* * *

Сквозные дали, гулкие, осенние,
кружится лист и шёпотом поёт
о смерти, о любви, о воскресении,
но краток этот призрачный полёт.

Он лёг на землю, и душа невинная
вольна теперь — не сетуй, не зови.
Но снится май и песня соловьиная
о жизни, о надежде, о любви.

03.02.2022

* * *

Этот дом, похожий на ковчег,
двухэтажный, выкрашенный охраю.
В нём живёт старинный человек,
слышу, как вздыхает он и охает.

Плыть ему не нужно никуда,
хорошо на склоне Арарата.
Схлынула тяжёлая вода,
и душа спокойствием объята.

Немощи — пожил и заслужил,
нелегка была его работа.
Голубь в поднебесье покружил,
сел на крышу, ходит, ждёт кого-то.

03.02.2022

* * *

Времени мало, вечности — хоть отбавляй.
Здесь оборвётся, там не умолкнет ввек,
что прозвучит сегодня — собачий лай,
мимо промчит машина, вздохнёт
человек —

всё остаётся где-то, как-то живёт, звучит,
не исчезая, жизнь у всего своя.
Дай Бог ещё услышать молчанье свечи,
шёпот листвы, пение соловья.

05.02.2022

Из старого

Ночь обернётся темнотой,
бессонницей, воспоминаньем,
февральским ветром за стеной
и жутким волчьим завываньем.

Как будто в мире ни души —
игра продута, песня спета.
Хоть вовсе света не туши,
сиди у печки, жди рассвета.
1995. Саратов — 02.06.2022. Калуга

* * *

Как много в жизни бестолкового.
Мы перешли из века в век,
но среди старого и нового
всё так же стонет человек —

то от болезни, то от бедности,
от политических затей,
но больше от душевной мерзости,
от дури чьей-то и своей.

06.02.2022

* * *

Слабеет плоть. Однажды поутру
себя увидишь — ветошь на ветру.
И ветер всё сильнее. И ветошь реет,
но держится. Нет, вся я не умру —
не думает — надеется и верит.

Но ветер скоро стихнет — тишь да гладь.
И ветошь оглядится — благодать,
ещё немного поживём, подышим,
и быть чему, того не миновать,
а прочее — не видим и не слышим.

08.02.2022

Михаил Тырин

Михаил Юрьевич Тырин родился в 1970 году в городе Мещовске Калужской области. Окончил филологический факультет Калужского педагогического института имени К. Э. Циолковского. Работал журналистом, был сотрудником пресс-центра Калужского Управления внутренних дел и пресс-центра Федерального командования в Чечне. Автор многих фантастических романов, повестей, рассказов. Лауреат премий «Роскон», «Серебряная стрела», «Аэлита» и других. Живёт в Калуге.



ЗАКОННИК

04.2188.36:016 по шкале Лоренца при посадке на вторую планету системы А876-г Плаза потерпел крушение автоматический грузовой модуль «Цезарь-5», доставлявший технологический груз на строительство геологической станции «Лючия». Строители успели сообщить о разрушениях и жертвах. Спасательная экспедиция достигла Плазы через три месяца...

* * *

— А ну, подобрали сопли, покойнички! — Кореец шлепком ладони насадил шлем поглубже и вжался в спинку кресла. — Нырять в ад!

Челнок вошёл в атмосферу, словно отбойный молоток в породе — с нагудой, грохотом и тряской.

Продирало до печёнок. Команда визжала и улюлюкала, подбадривая себя. Когда уже казалось, что внутренности просятся наружу, рванули выхлопы из тормозных дюз. Навалилась перегрузка, закрипели страховочные ремни, заныли комариным голосом гироскопы-балансиры, но скоро всё кончилось.

— Подъём, покойнички! — Кореец первым освободился от ремней и пинком помог открыться люку. — Пора гулять...

Крюгер трясущимися руками стащил с головы шлем и поднялся. Его шатало, хотелось скорей вдохнуть чистого воздуха.

— Давай, шевелись, малахольный, — кто-то чувствительно хлопнул его по спине. Сквозь гул в ушах он вроде как узнал Марию.

Команда разминалась, отойдя от пышущего жаром челнока, на котором ещё похрустывали пластинки теплового щита. С реки дул ветер, принося странный терпкий запах, в груди немного покалывало.

— Слушать меня, покойнички! — Кореец звучно хлопнул в ладоши. — У вас десять минут, просушить трусики и поплакать в платочек. Кому поплохело — кислородные маски в подсумках. Я встречаю груз и сразу вас запрягаю. Иван, пробуй связь с терпилами. Рой, начинай консервировать челнок...

Он отошёл в сторону с биноклем и командирским пультом, уставился в небо, где виднелся прямоугольник грузового модуля и три его оранжевых парашюта.

Иван раскрыл параболическую антенну.

— «Лючия» — «Коробочка»... Я «Коробочка», прошу ответить...

Крюгер застыл, уставившись на висящий над горизонтом полукруг Зо — спутника Плазы. Он был огромный и пугающе близкий, покрытый трещинами, словно дно высохшего пруда.

— Первый раз на Плазе?

— Что? — Крюгер обернулся и увидел экспедиционного врача, массивного и длиннорукого громилу, которого все звали Санта. — Ага... я вообще в дальнем первый раз.

— Ну, мы тут и сами... только второй. А ты вроде следователь?

— Инспектор. Инспектор по корпоративному юридическому сопровождению экстерриториальных протоколов.

— Ишь ты... Это серьёзно. А делать что умеешь?

— В каком смысле? Я юрист общего профиля с красным допуском. Всё могу. Сделку оформить, протокол составить, дознание провести. Полномочия — от регистрации брака до ареста орбитальной станции.

— Оу! — Санта обернулся к Марии. — Эй, подруга, слышала? У нас есть законник! Если найдёшь себе тут женишка, он вас распишет.

Мария замахнулась на Санту шлемом.

— Себе лучше женишка найди, принц чудесный!

Грузовой модуль лёг на грунт метрах в двухстах от челнока, придавив горячим брюхом рожицу кривых низкорослых деревьев и оцарапав бок о гранитный валун.

— Ау, покойнички! — голос Корейца доставал везде. — Техника пришла. Заканчиваем пудрить носики, все за работу! Мария — со мной. Ведёшь машину, я на связи. Тащим припасы. Иван, Рой — вы сами знаете... Амигос! Эй, амигос, хватит шмаль тянуть, и так уже дураки!

Рамон и Уго бросили окурки и нехотя подошли.

— Вы берёте трак с пулемётом, за собой цепляете генератор. Поняли? Вперёд!

— Иван прозвонил частоты, связи нет, — доложила Мария.

— Хреново... — Кореец сплюнул. — Запустим воздушку?

— А смысл время терять? Всё равно нам туда ехать.

— Тоже верно... — Кореец вдруг заметил Крюгера. — Э, а ты чего стоишь?

— А что делать? — удивился Крюгер.

— А что умеешь? — тут Кореец с досадой поморщился. — А, ну да... ты же следователь...

— Инспектор, — поправил Крюгер.

Из модуля уже выкатили первый трак — небольшой, приземистый, большеколесный. За ним тащился прицеп с тюками, окольцованными широкими нейлоновыми ремнями.

— Ну... раз ты инспектор, — Кореец вздохнул. — Сходи за кустики, пока не тронулись. Дорога дальняя, а я из-за тебя колонну останавливать не хочу.

— Почему дальняя? Сказали же, сядем рядом...

— Вот ты принц чудесный! — усмехнулась Мария. — Двадцать восемь световых лет пролетел, а ещё сотня километров — и расстроился. Часов десять нам идти. По берегу, а то и вплавь, — она стукнула локтем в широкое ребристое колесо трака.

— Алле, покойнички, заканчиваем стонать, — Кореец привычно хлопнул в ладоши. — Едем на прогулку.

* * *

Автоколонна ползла по пологому берегу, то разметая колёсами речную гальку, то вспенивая воду, то приминая низкорослый рыжий кустарник. Крюгер упёр ноги в пол, чтобы не болтаться на ямах, и теперь разглядывал шершавые коричневые валуны, остроконечные утёсы, рожицы узловатых деревьев между ними, буруны и водовороты на поверхности воды... Всё было одновременно и смутно знакомое, и чужое — от этого возникало какое-то странное, ирреальное чувство.

Санта сначала с улыбкой косился на него, держа руль, потом проговорил:

— Мы когда в первый раз сюда прибыли, геологов-разведчиков охраняли. Все очень местного зверья боялись.

— А тут есть зверё?

— Ага, есть. Только зашуганное какое-то. Бывает, в кустах зашуршит, или зарычит, или завизжит... Ну, раза три пришлось в воздух пальнуть на испуг, — Санта похлопал по автоматическому дробовику, висящему в зажимах на потолке кабины. — Только так никого и не увидели. А у тебя оружие есть?

— Найдётся, — Крюгер провёл пальцами по кобуре, вшитой в куртку.

— О, пистолет... И всё-таки, что ты тут делать собрался?

— Первичный осмотр. Съёмка, забор образцов, оценка ущерба, дознание.

— И кому это надо? — фыркнул Санта.

— В первую очередь — страховой компании. Во-вторую, корпорации. Как-никак, сто восемьдесят тонн груза в хлам. Если повезёт, то и причины обнаружим.

— Да чего ты теперь обнаружишь... Грузовик был автоматический. Болт отвалился — вот и причина. И что толку?

— За каждым болтом есть чье-то имя. И если его установишь — новой аварии не будет. Поэтому лучше сразу. Через год там всё зарастёт, тогда точно не найдёшь.

— Ну, не знаю, вам видней, в ваших корпорациях...

Вдруг ожила рация.

«Хорошие новости, покойнички! — прохрипел голос Кореяца. — «Лючия» отозвалась, там полтора десятка выживших, ждут не дождутся нас, любимых! Больше ничего сказать не успели, у них связь дохлая, похоже...»

Эфир разорвало ликующими криками, Санта тоже заметно повеселел.

— Вот и работёнка! Помогать будешь, следовательно?
— А чего помогать, кому?
— Да хотя бы мне! У нас госпиталь в прицепе, его разобрать надо. Обычно Рой помогает, он тоже врач... Да тут все универсалы. Вон, хоть Мария — зам командира, но ещё и супер-повар!

Крюгер искоса посмотрел на грубые, массивные руки Санты.

— Не очень ты похож на врача, кстати.

— Хм... Похож — не похож, а шесть полевых специальностей. Ты вон тоже на вид пацан сопливый, а сам следователь с допуском.

— Инспектор...

* * *

С гор сползли фиолетовые сумерки, укрывая мелкие штрихи пейзажа. Утомлённый и разбитый дорожной тряской Крюгер пытался задремать, но тщетно.

«Оживайте, покойнички! — прохрипела рация. — Мы почти на месте. Скорость семь узлов и ищем, где приткнуться...»

Ещё десять минут ворчания двигателей, возни по хрустящей береговой гальке — и траки сгрудились перед стеной кустарника, за которой поднимался голый каменистый склон.

«Покойнички, на выход! Не забываем ружья, аптечки, фонари и связь!»

Команда привычно собралась в кучу, разминаясь и тихо переговариваясь.

— «Лючия», я «Коробочка», — устало бубнил в рацию Иван.

— База — там! — объявил Кореец, сверившись с картой. — Машины по склону не пройдут, топаем ножками. Амигос, остаётесь сторожить груз, остальные — за мной.

Темнело, крупные валуны в сумраке выглядели угрожающе. Крюгер обратил внимание, что команда держит наготове дробовики, и достал пистолет. Но, заметив насмешливый взгляд Кореяца, смутился и убрал обратно. Подъём закончился уступом, на который пришлось карабкаться, помогая друг другу.

И тут все увидели базу. Кто-то присвистнул, а Санта растерянно обронил:

— Вот это расколбас...

Базы фактически не было. На фоне темнеющего неба громоздилась мешанина из скрюченных балок, покорёженных стен ангаров и боксов, груд мусора, скрученных в спираль трапов, мачт и остатков подъёмного крана. Отдельно выделялся изуродованный корпус грузовика — он прокатился по постройкам и развалился пополам у подножия скалы. Всё выглядело страшным, неживым. Ветер доносил запах кислятины и гари.

— Ну, допустим... — пробормотал Кореец. — А где народ?

— Командир, позволишь?..

— Заряжай.

Мария сменила магазин дробовика на кассету с ракетницами и направила ствол в небо.

— Кто не спрятался — я не виновата!

Серия рваных хлопков — и в небе повисли пять ярких солнышек, от которых по земле протянулись резкие тени.

— Ау, «Лючия»! — крикнул Кореец, сложив ладони рупором. — Встречай гостей!

— Ребята! — в стороне захрустели ветки. — Ребятки... не стреляйте, я — Лори, бригадир.

Лучи фонарей образовали яркое пятно в стене кустарника. Прикрывая глаза от света, к команде вышел человек — худой, обросший, в оборванном рабочем комбинезоне, с тлеющим факелом в руке. Вторая рука держала карабин, но человек использовал его как костыль, царапая дульный срез о камни под ногами.

Всё это выглядело настолько дико, нелепо, первобытно — особенно факел — что Мария горестно вздохнула:

— Ох ты, принц чудесный, бедолага, да что ж это такое...

— Ребятки... дорогие вы мои... Мы уже попрощались, уже не надеялись. У нас ничего, ни еды, ни света, ни лекарств, ничего...

— Прости, отец, дорога дальняя, — буркнул Кореец.

— Да какой я отец, мне двадцать восемь!

— Давай, веди к своим, бригадир. Всё будет хорошо. К вам на машинах подняться можно?

— Можно-можно, я покажу. Пойдёмте скорее...

* * *

Команду ждали. Полдюжины человек, гревшихся у костра, вскочили, бросились к спасателям. Выглядели и держались они не лучше бригадира Лори, но тут в них словно вплеснули сил. Люди кричали, смеялись, рвались обниматься, жать руки. И Крюгер тоже пару раз обнялся, стараясь не обращать внимания на запах давно не мытых тел, грязную одежду и болячки на лицах и руках строителей.

— А где остальные?

— Остальные — неходячие, в палатке. Кто отощал, кто ранен. Вон там...

Крюгер увидел «палатку» — сарай, собранный из железных листов, профиля и прочего хлама. Включил фонарик, зашёл внутрь, преодолев тяжкий запах.

В луче света блеснули глаза строителей, лежащих на грязном тряпье.

— Здравствуйте... — проговорил Крюгер, и вдруг почувствовал себя глупо и неуместно.

— Парень, привезли чего пожрать? — отозвался кто-то из темноты.

— Сейчас... подождите... всё будет, — Крюгер вылетел на свежий воздух, проклиная себя за излишнюю инициативность.

— Закончили миловаться, покойнички! — приказал Кореец. — Инженерная группа — вниз, за машинами, и подберите там амигосов. Санта, забирай у всех аптечки, начинай неотложку. Эй, следовательно! Собери-ка дровишек, а то холодает...

* * *

Следующие несколько часов растянулись в вечность. В свете фонарей Крюгер сгружал и разбираал тюки, таскал коробки, ставил каркасы шатров, натягивал гофро-ткань, тянул кабели от генератора, собирал походную мебель, скручивал штуцеры водопровода, снова что-то таскал...

И вот уже гора экспедиционного груза приобрела очертания спасательного лагеря. Зажглись фонари на стойках, появились жилые шатры и просторная палатка-госпиталь, заработал помывочный бокс, включилась полевая кухня...

Вскоре под навес столовой пришли первые спасённые — отмытые, наскоро заштопанные Сантой, переодетые в чистые комбинезоны.

— Вы уж простите, принцы чудесные, жирного и наваристого не будет, — объявила Мария, передавая дымящиеся лотки с едой. — Вам после голодовки — восстановительное питание. Завтра сделаем чего погуще, а сегодня углеводы и витаминчики...

Крюгер, грея руки стаканом кофе, не мог оторвать взгляд от строителя напротив. Тот ел — будто неистово молился. Словно в лотке с бульоном сохранился весь смысл его жизни. Впрочем, сейчас так и было, наверно.

Наконец спасённый отодвинул лоток и откинулся на раскладном стульчике. Половину его лица покрывала белая пузыристая масса — Санта обработал ожог гелем из своих запасов.

— Как вы тут продержались? — спросил Крюгер.

Строитель открыл глаза и некоторое время молчал, глядя в пустоту.

— Ну как... хреново, конечно... когда нас шваркнуло — с десятков человек убило сразу, завалило. Луи, Глен, Ахмед — на наших глазах в генераторной сгорели, мы их вытащить не смогли. Потом ещё шестеро на руках умерли — кто от ожогов, кто топливом потравился.

— А ели-то что?

— Кое-чего спасли со склада, продержались месяц. Потом пытались ловить рыбёшек, птичек... только они тут мелкие. Как семечки. Если бы не Док...

— А что Док?

— Он последним помер. Всего три недели вас не дождался. Вот он нас и подкармливал.

— Чем же?

— А мы так и не поняли. Сказал, аварийный рацион для больных и раненых. Больничку-то тоже завалило. Но он туда как-то прокрался, откопал. Бывало, целыми днями там ползал, искал, вечером приносил, делил.

— А почему умер?

— Не знаю. Плохо ему было. Иногда сядет на камень, за живот схватится — и так сидит, покачивается. Видно, что горит внутри... Только он ничего не говорил. И вроде, не раненый был.

— Так, кто поел — подъём, принцы чудесные! — скомандовала Мария. — Марш в палатку. Всё готово, постелено и прогрето. Сегодня поспите на чистеньком...

Её взгляд упал на Крюгера.

— И ты иди, следователь. А то уже со стула падаешь...

* * *

Спал Крюгер всего три часа, но это был, наверное, самый крепкий и сладкий сон в его жизни. Утром, ёжась от сырости, он быстро кинул в себя завтрак и заглянул в палатку к Санте. Тот, видимо, и вовсе не ложился.

— Помочь не надо?

— Отдыхай, — ответил Санта, не отвлекаясь от лежащего на кушетке строителя. — У меня обработка, пробы, анализы, инъекции и прочая колбасня...

— Чего отдыхай-то, я своими делами займусь, — несколько обиделся Крюгер. И вдруг спохватился. — А можешь для меня анализы сделать?

— В смысле?

— Ну, ты же всё равно биоматериал будешь через комбайн прогонять? Заложь генотипометрию по алгоритму Майзера. Можно выборочно.

— Тебе зачем? Хочешь родственников тут найти?

— Вообще, так положено. Могу ордер подписать, а если надо — за расходники отчитаться...

— Да ладно, незачем. Центрифугу запустить — дело нехитрое. В обед заходи — отдам распечатки.

* * *

При дневном свете развалины базы удручали не меньше. Крюгер пробирался среди строительного хлама, груд обгоревших конструкций, перевёрнутых машин, клубков силового кабеля, обломков контейнеров, прикладываясь время от времени к кислородной маске. Разлитый повсюду топливный катализатор по-прежнему отравлял воздух так, что щипало в глазах и кружилась голова.

Иногда он останавливался, брал пробы. Вскарabкался на склон, чтобы сделать панорамную съёмку. Запустил мини-дрона, отснять всё сверху.

Крюгер поднялся и на посадочную площадку — ту самую, мимо которой промахнулся грузовой модуль. Теперь он понял, почему экспедиции пришлось сажать свой челнок на отшибе. Площадка была завалена камнями и обломками приводных мачт.

Незаметно прошло три часа. Крюгер вновь заглянул к Санте и взял распечатки. Заодно попросил таблеток-адсорбентов — начала болеть голова, он опасался, что отравился во время своих исследований.

* * *

Кореец и Мария заполняли учётные файлы спасённых, когда в штабную палатку ввалился Крюгер.

— О, следак явился! Ну, раскрыл преступление?

— А вы откуда знаете? — у Крюгера округлились глаза.

— Ну как же... — Кореец развёл руками. — Ты же на осмотр ходил?

— А, вы про это... Там картина примерно ясная. На подлёте у грузовика оторвало один из парашютов. Он потерял управление, зацепил верхушку утёса, вызвал камнепад. Потом завалил несколько приводных вышек и грохнулся на стройку. А там ещё и топливные баки порвало...

— Ну, вот! Дело раскрыто. Иди, пообедай и отдыхай с чистой душой. А позавтракай — домой.

— Нет... — Крюгер помотал головой. — Извините, но... Дело только начинается.

Он разложил на столике пластины с распечатками генотипометрии.

— Смотрите. Снизу вверх пронумерованы фракции. Это белки, это минералы... вот сюда смотрите. Видите, маркеры в двоичном порядке? Они у всех разные. Но уже на следующей строчке — идентичные. И все человеческие.

Корец и Мария переглянулись.

— Ну и...

— У всех строителей в организме следы ДНК одного и того же человека.

Офицеры переглянулись снова.

— Не понял, — Корец пожал плечами. — Какого человека?

— Объясняю. Тест Майзера позволяет определять в том числе и следы каннибализма...

— Чего-чего?! — Мария приподнялась. — Ты что несёшь, принц чудесный?!

— Да я-то что... Анализы — перед вами. Эти ребята, возможно, кого-то съели.

— Ты топлива нанюхался? Кого они съели?

— Вот это и хочу узнать. У вас все личные файлы, там есть данные по любым биопараметрам. Позволите? — Крюгер протянул руку к компьютеру.

Не дожидаясь разрешения, положил пластинку на сканер. Изменился в лице, положил вторую, третью...

— О, чёрт!.. Они говорили, что последнее время их кормил Док... Каким-то специальным рационом.

— Давай короче!

— Эта полиграмма, которая у всех в анализах — она и есть от Дока. Это его проба.

— Хочешь сказать, он от себя ломти отрезал? — Корец начал терять терпение.

— Пока ничего не скажу, — Крюгер нервно вытер руки о куртку. — Только одно. Всех строителей надо изолировать. И поставить охрану. Я должен каждого допросить.

— Лейтенант Швиндер, — с напускным спокойствием проговорил Корец. — Вы слышали, что предлагает наш законник?

— Слышала, майор Ким, — в тон ему ответила Мария, глядя в сторону и постукивая пальцами по столику.

— Эй, ты, сопляк, — Корец встал и прошёлся по палатке. — Тебе кто-нибудь говорил, что мы сюда прибыли людей спасать? Ты в курсе, что они на краю смерти были, друзей потеряли, на ногах едва стоят? И ты предлагаешь их взять и арестовать?

— Таков протокол, не я его придумал, — глухо проговорил Крюгер.

— А может построишь их и расстреляешь из своего пистолетика, рожа ты протокольная?! А дома скажем — так и так, все оказались людоедами, мы ликвидировали их на месте! Отлично слетали!

Крюгер поднял глаза.

— Командир Ким, — отчётливо произнёс он. — Я уполномоченный инспектор корпорации. Я имею право задержать тут вашу миссию хоть на месяц. Мне поручили исполнять экстерриториальный кодекс — и я буду это делать. Я имею право даже отменять ваши прямые приказы, если есть основания...

У Корейца покраснело лицо, он сжал кулаки. Мария остановила его быстрым жестом.

— Командир... Следователь прав. При исполнении «экт-кодекса» у него есть такие полномочия. Это указано в нашем контракте.

— Тьфу!.. — Кореец вернулся за стол. — Ладно... Допустим! А теперь иди и сообщи людям, что ты их арестовываешь! Они тебе вчера руки целовали, а сегодня ты их в клетку! Давай!

— А зачем так прямо? — хмыкнул Крюгер. — Сейчас пойду к Санте, пусть он скажет им, что карантин, и выходить нельзя. И никакой клетки.

* * *

— Это были такие пластиночки... — строитель с перевязанной головой изобразил пальцами размер. — На вид — то ли как сыр, то ли прессованная курятина, не знаю. Специальный рацион, он так говорил. И правда, с утра положишь кусочек на сухарь, пожжёшь, и до вечера есть не особо хочется.

— А на вкус?

— Да непонятно. Мы любому вкусу были рады.

— А где он сейчас, ваш Док? Я имею в виду тело...

— Я покажу, это рядом. Похоронили, заложили камнями. Копать тяжело, да и сил нету...

— Вы свободны.

Крюгер потёр виски. Уже шестой человек говорил одно и то же. Показания совпадали полностью, в мелочах. История уже пахла мистикой.

Через несколько минут он был в штабной палатке.

— Надо сделать экстгумацию. Я должен увидеть тело Дока.

— Тебе надо — ты и копай, — равнодушно ответил Кореец.

К этому Крюгер был готов и сказал только:

— Понятых дай.

* * *

Стоять и наблюдать, как человек, обливаясь потом, в одиночку ворочает камни, спасатели не умеют. На мучения Крюгера полюбовались минутную, чисто из принципа, а потом отодвинули его. Рамон и Уго размеренно, не торопясь, откидывали бульжники от могилы. Вот показалась стеклоткань, которой накрыли тело... Сдёрнули ткань — и «амигосы» отшатнулись, закрывая носы рукавами.

— Вроде, он... — Кореец сверился с фото. — Ну что, законник? Вон твой доктор. Целиком!

— Ничего не понимаю... — пробормотал Крюгер. — Санта, нужно сделать ещё одну пробу. Убедиться, что это именно его генокарта. Могла ведь быть ошибка в документах?

Санта опустил на лицо кислородную маску и приблизился к телу, подкинув на руке пробник.

— Прости, коллега...

Толстая игла со щелчком вошла глубоко под кожу трупа, забирая образец.

— Только есть одна проблема, — продолжил Санта. — Кончились калибровочные пластины. Был стандартный комплект, но никто ж не знал, что ты здесь объявишь массовую охоту на людоедов и вампиров...

— И что делать? — оторопел Крюгер.

— Хм... Больничку завалило, но Док туда как-то лазил. Там должен быть запас. Может, поищешь?

— Вместе поищем. Я ведь даже не знаю, как это выглядит.

— Будь ты проклят!

* * *

— Смотри, тут свежие следы, — Санта коснулся фонарём покорёженного стального листа. — Похоже, Док делал проходы резакон.

Крюгер выполз из-под балки, отдышался.

— Нам легче — пойдём по следам. Ну, вперёд.

Они уже десять минут ползли через мешанину покорёженных ферм, оплавленных листов пенопластика, путаницу кабелей, арматуры... Над головой что-то скрипело, шаталось, всякую минуту казалось, что всё может обрушиться и похоронить навсегда.

— Кажется, здесь...

В листе гофрированной стали был прорезан лаз около метра в поперечнике.

— Заходим... Ага, вот и больничка!

Медицинский бокс был раздавлен и теперь напоминал тесную пещеру. Крюгер и Санта, хрустя коленями по рассыпанным ампулам, просунулись между искорёженными стеллажами и оказались во втором помещении. Оно пострадало меньше, но всё равно приходилось двигаться на четвереньках.

— Ищи коробки с жёлто-красными маркерами. Так, стоп... а это что?

— Что? — Крюгер развернул фонарь.

Сначала он увидел несколько разбросанных кислородных баллонов, маску и шланг, потом — целую кучу небольших полупрозрачных пакетов с одинаковыми этикеткам, а затем — пару десятков аккумуляторов, сваленных у стены.

— Я говорю, вот это что?! — голос Санты прозвучал как-то странно.

Он стоял на коленях перед ящиком с кнопками, индикаторами и отделением, закрытым стеклянным щитком.

— Знакомо?

— Нет.

— Это полевой биопринтер. Кажется, мы можем возвращаться. Я всё понял. Нам не нужно делать никаких анализов.

* * *

Кореец, Санта и Крюгер сидели со стаканчиками какао на плоском валуне, глядя, как рваные облака летят над золотистым полукругом Зо.

— Так что в итоге получается? — спросил Кореец. — Он делал еду на этом чёртовом принтере?

— Все не так просто, — отозвался Санта. — На принтере готовят импланты кожи и мышечных тканей...

— Знаю, у самого две заплаты.

— Ладно. Принтер не может сделать ткань от балды, ему нужен образец. Док давал ему свою кровь — принтер копировал генокод, печатал котлетки с заданным иммунным статусом. И чисто биологически — это было его мясо, Дока. Поэтому у всех строителей в крови и клетках его следы. А вот ел ли он сам себя — вопрос...

— Думаешь, не ел и умер от голода?

— Не знаю. Он проводил целые дни в эпицентре, где фонило топливным окислителем. Какое-то время держался на кислороде из баллонов. Приходил туда, таскал уцелевшие аккумуляторы, заставляя принтер работать, делать еду парням. Скорее всего, просто отравился испарениями.

— А ты, следовательно, — Корец искоса посмотрел на Крюгера. — Тебе вообще как в голову пришло это проверять, все это людоедство?

— «Прецедент Ля-Цзы», — Крюгер кисло усмехнулся. — Там целая колония с заключёнными осталась без обеспечения на полгода. Они говорили, что едят умерших, а сами убивали слабых и жрали. С того случая корпорация ввела проверки и ответственность. наших бы тоже проверили на базе. В обязательном порядке. Только на базе уже не докажешь, что это был биопринтер. Им бы душу вымотали до последней ниточки, а потом... До Плазы далеко, до судьбы близко, и анализы — вот они, сами за себя говорят.

— Ишь ты... Я-то думал, что мы здесь святые спасители... а оказалось, это ты работяг по-настоящему выручил, ага?

Крюгер пожал плечами.

— Как тебя зовут-то?

— Александр.

— Алекс, значит... — Кореец протянул руку. — А то все следовательно, следовательно... Ну, пошли спать, завтра день тяжёлый.

— Командир! — Крюгер встал, поправил куртку. — В следующий раз меня с собой возьмёте?


— Мы подумаем, покойничек.

* * *

Лагерь проснулся рано. До завтрака успели переоборудовать прицепы для пассажиров, устроить раненых. Наконец Кореец дал команду на отправление.

— Погоди-ка, — буркнул Санта и выскочил из кабины.

Крюгер увидел, как Санта побежал к могиле Дока. Ему показалось, что спасатель перед ней вытянулся и приложил руку к козырьку, но толком разглядеть не успел — отъезжающая колонна закрыла вид.



Владимир Карпенко

Владимир Николаевич Карпенко родился в посёлке
Знобь-Новгородское Середино-Будского района
Сумской области. Живёт в Калуге,
состоит в литклубе «Галерея».

БЕЛОГОЛОВНИК, ДЯГИЛЬ, СНЫТЬ...

Звезда

В зазеркалье, там за амальгамой
В сумрачном и ветреном саду
Одинокий мальчик ждёт упрямо
В небе несказанную звезду.
Высоко, в разрыве тёмно-синем,
Разрушая тьму и холода,
Загорится так невыносимо
И такой пребудет навсегда.

Октябрьское печальное

Ночь дышала одиночеством,
Сны кружили шестикрылые,
Выше облачного зодчества
Ветром рушились «Бастилии».
И дробились в отражении
Одуванчики фонарные,
Меж обносками осенними
Мокла тувелька хрустальная.

До рассвета

Вечер. Тонко пахнут маттиолы,
Месяц словно отлит из стекла.
Ангелы трудились будто пчёлы,
Собирая добрые дела.
Сели у чердачного окошка
Помолчать о вечном, ни о ком,
Старую чернее ночи кошку
Напоили лунным молоком.
А потом играли до рассвета
В классики, подобно детворе.
Ночь кончалась, уходило лето.
Осень, школа, и конец игре.

Июнь

Белоголовник, дягиль, сныть...
Не стану, не проси, косить.
Пусть травы будут выше крыш,
В тени их только слаще спишь.
Пусть задевают облака,
Тебя целуют у виска.
Калган, люпины, иван-чай...
Июнь некошенный, прощай.

* * *

Январское снеготворение,
Шестикрылое, зимнее чудо,
Созданное в парении,
Летающее из ниоткуда.
Ветер, музыка высшая
Процесса кристаллизации,
Кружит капелька бывшая
Под ангельские овации.

* * *

Рождество — это праздник непраздных
Заглядевшихся в небо людей,
Так похожих, но всё-таки разных,
Открывающих души звезде.

В непогоду, бураны и стужу
Светлым чудом приходит она,
Чтоб проникнуть в открытую душу,
Как в колодец, до самого дна...

* * *

Ходить в пушистом, белом облаке,
Забыв фонарик, налегке
В совсем нечеловечьем облике,
Но со стишками в узелке.
И улыбаться без причины,
Лицо забавно запрокинув
И острый месяц перочинный
Из облака тихонько вынув...



Владимир Кормильцев

Владимир Николаевич Кормильцев родился в 1958 году, калужанин. Окончил Московский государственный институт культуры. Работает обозревателем в газете «Калужские губернские ведомости». Стихи и прозу пишет со студенческих лет. Произведения публиковались в местной периодической печати, в журналах «Траектория творчества», «Шишкин лес», в альманахе «Сорок сороков», в сборнике «Радуга мечты» под псевдонимом Василий Котов.

РОЛИ НЕ ИГРАЕТ

Все имена, образы героев, названия СМИ и тексты публикаций вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями реальной жизни случайны.

* * *

Подходя к подъезду, лейтенант привычно одёрнул гимнастёрку с блестящими кубиками на петлицах и, поправив ремни портупеи, потянул на себя большую стеклянную дверь с надписью на незнакомом языке. Она отворилась неожиданно легко, и у входа в вестибюль автоматически зажглись неяркие светильники. В этом богатом квартале дома на ночь не запирали.

Консьерж за широкой стойкой, скрывавшей множество мониторов камер слежения, не посмотрел на вошедшего лейтенанта. А если бы посмотрел, и даже увидел — едва ли узнал бы его. Фильмов о минувшей Войне, снятых на родине лейтенанта, здесь наверняка не показывали. Пройдя мимо дверей лифта, лейтенант направился к лестнице — так ему было привычнее. И, похоже, не только ему: кто-то неторопливо поднимался впереди, вполголоса насвистывая мелодию, незнакомую лейтенанту. Любитель художественного свиста сильно фальшивил. Впрочем, услышав шаги за спиной, он тут же замолчал и остановился.

Они встретились на лестничной площадке между этажами, и лейтенант первым протянул широкую крепкую ладонь для рукопожатия:

— Здравия желаю!

— Привет! Что, тоже не любишь лифты?

Человек, которого догнал лейтенант, был одного с ним возраста и одинакового роста. Да и лицами они походили друг на друга, словно братья-погодки. Только на втором была не военная форма, а джинсы и светлая рубашка навыпуск.

— Да, не люблю, — ответил на вопрос лейтенант. — Тюремный карцер напоминает. Пойдём, времени мало. На каком этаже он живёт?

— Не знаю. Воевода должен был отследить и сообщить мне, да только — как? Телефонов он не любит, всё твердит, что с глазу на глаз разговаривать привык. А по-моему, он просто звонить не умеет.

— Возможно. Отсталый человек, что с него взять — средневековье! — пошутил лейтенант, и оба они коротко негромко рассмеялись.

— Это кто там шутки шуткует не ко времени? — услышали они из-за угла строгий голос. А следом появился и сам воевода. На этот раз он был в тёмно-зелёной шапке, отороченной мехом, и в алом плаще, под которым виднелась кольчуга. Короткая окладистая борода не скрывала улыбку, и глаза на потемневшем обветренном лице блестели озорно. Воевода был в хорошем настроении.

— Фу ты, японский бог! — вздрогнул тот, что в джинсах. — Когда-нибудь меня до инфаркта доведёшь. Откуда ты взялся?

— Бог — он один для всех! — воздев вверх палец, украшенный крупным перстнем, наставительно произнёс воевода. — А «взялся» я, как изволил ты молвить, оттуда же, откуда и мы все. Решил сразу явиться к нему поближе, чтобы пешим ходом здесь поменьше гулять. Не люблю я град сей. Шумно, суетно, и огней полно в ночи кромешной, словно пожары пылают. А здешним — любо. Привыкли...

— Товарищ, сейчас не о том речь, — прервал его лейтенант. — Вы нашли, где его квартира?

— Чтоб я, да не нашёл! — усмехнулся воевода. — Тут его хоромы, рядышком. Вверх по лестнице всего с десяток шагов.

— Пятый этаж. Невысоко взлетел, — заметил лейтенант. Человек в рубашке и джинсах согласно кивнул:

— Да, не пентхаус. Но даже такую квартиру мне, к примеру, на зарплату опера лет двадцать зарабатывать пришлось бы. И то, если не пить, не есть.

— Ох, и любишь ты мудрёные речи! — сказал воевода. — Али на службе своей не наговорился?

— Я, между прочим, и сейчас на службе.

— Это ты так считаешь, — выделяя слово «ты», заметил воевода. — А он, наверное, снова тебя не признает. Мороком ночным назовёт, иль похуже как.

— Ну, это уже его проблемы. Ты лучше скажи: космонавта здесь поблизости не видал? Вы с ним вроде сдружились в последнее время.

Воевода фыркнул, словно услышал что-то смешное.

— Странник сей звёздный является тогда, когда сам того захочет. Ты уж нас, служивый человек, не равняй. Не сторож я космонавту твоему.

Человек в джинсах хотел что-то сказать, но в этот момент бесшумно распахнулись двери лифта на лестничной площадке, и к ним вышел подтянутый, спортивного сложения человек в светлом комбинезоне. Под мышкой он держал сферический шлем с зеркальным забралом. Быстро окинув взглядом стоящих перед ним, космонавт сдержанно улыбнулся:

— Я вижу, все уже в сборе. Прошу извинить за опоздание. Добрый день, коллеги!

— Однако, мил человек, ночь давно на дворе, — заметил воевода.

Космонавт чуть пожал плечами.

— Ночь — так ночь. Всё относительно в этом мире. Я полчаса назад ещё над восточным полушарием был, как раз над Уралом. Так вот там — день сейчас. Ну что, будем звонить?

— Не надо звонить, — сказал человек в джинсах. — Может опять не открыть, как в прошлый раз. Мы по-другому поступим.

Он достал из заднего кармана маленькую связку отмычек и занялся дверным замком.

— А ты хорошо подготовился, товарищ оперуполномоченный, — заметил лейтенант. — Прямо как профессиональный медвежатник.

— Ценю твою иронию, лейтенант, — ответил опер, ковыряясь в замке. — Но что прикажешь делать? Вызвать его к нам повесткой, ясное дело, невозможно. А поговорить надо. Вот и поговорим!

Он распахнул дверь и первым вошёл в квартиру, следом — все остальные.

В большой спальне был полумрак, только иногда вспышки реклам за окном, полуприкрытым жалюзи, бросали на стены и потолок разноцветные пятна. Когда космонавт осторожно включил ночник на стене, все увидели хозяина квартиры — на большой двуспальной... нет, трёх- или даже четырёхспальной кровати, под светлым шёлковым одеялом. Хозяин спал. Лицо, хорошо им знакомое, казалось сильно постаревшим. Собственно, так оно и было, поскольку расстались они с ним уже давно. К тому же хозяин был на этот раз без грима. Все они молча разглядывали спящего человека, и никто не торопился начать разговор с ним, хотя это было главной и единственной целью их встречи в эту ночь. Первым нарушил молчание оперуполномоченный:

— Гражданин Нивецкий, просыпайтесь. Нам нужно поговорить.

Спящий чуть пошевелился и открыл один глаз. Потом другой. Оглядев людей, стоящих над его ложем, он не удивился, не испугался. Только скрипнулся досадливо и прошептал еле слышно:

— Oh shit! that dream again...

Лейтенант оглянулся на опера.

— Что он сказал?

— Что и следовало ожидать. Думает, что мы ему снимся.

— Ишь как! — усмехнулся воевода. — Так и есть, не признаёт нас... Иван, родства не помнящий.

Человек на кровати тем временем проснулся окончательно. Резко откинув одеяло, он сел, вернее, попытался сесть, опираясь локтями на подушки, слишком мягкие, чтобы служить опорой. Разбуженный среди ночи, он был зол. А оттого, что вынужден встречать незваных гостей в довольно беспомощном виде, злился ещё сильнее. Поэтому в выражениях не стеснялся:

— Какого хера опять?! Что вам от меня надо, мать вашу!..

И добавил длинное витиеватое ругательство, в котором уже не было ни одного приличного слова.

— Так... — удовлетворённо заметил лейтенант. — Русским языком, стало быть, владеет. Не забыл окончательно!

— Конечно, не забыл. Он ведь здесь только живёт. А работает, как и прежде, в России, — сказал космонавт.

— Кем работает? — спросил лейтенант.

— Да тем же, кем и всегда. В кино снимается. Роли предлагают хорошие, платят неплохо. Не по голливудским меркам, конечно, но на жизнь здесь вполне хватает.

— Перестаньте говорить обо мне в третьем лице! — воскликнул Нивецкий. — Что за спектакль устроили! Вломились в чужой дом, разбудили хозяина, так ещё и обсуждают среди ночи.

— Вы правы, гражданин Нивецкий, — согласился опер. — Мы действительно отвлеклись. Но у меня и у моих коллег есть к вам несколько вопросов. Предлагаю ответить на них, и после этого мы с вами расстанемся.

— Так задавайте же их... ваши вопросы!

Нивецкий окончательно сбросил одеяло и сел на краю кровати. Он был в пижаме бежевого цвета. Лейтенант подумал, как непривычно смотрится на нём этот домашний наряд — после измазанных землёй и кровью гимнастёрки, лагерных чёрных роб с нашитыми на груди номерами... Да и телосложением Нивецкий уже похвастаться не может: под просторной пижамой заметно выступает аккуратное брюшко.

Смог бы он сейчас повторить тот прыжок с моста, который не решались выполнить даже опытные каскадёры? Большой вопрос.

Опер тем временем извлёк из кармана маленький потрёпанный блокнот и, перелистав несколько страниц, сказал:

— Гражданин Нивецкий! Полгода назад вы давали интервью интернет-изданию «Эхолот». Признаёт ли вы, что заявили там...

— Не признаю! — перебил его человек в пижаме. — Я не давал интервью «Эхолоту», потому что нет такого издания! Научитесь сначала правильно записывать информацию, а потом выдвигайте обвинения.

— А хитёр, шельмец! — сказал с усмешкой воевода. — Ишь, как вывернулся. Вроде — я не я и лошадь не моя...

— Да, прошу прощения, с названием ошибся. Записал неразборчиво... Но дело ведь не в том, кому сказали, а — что сказали! Сказали же вы буквально следующее: «Я покинул эту страну, потому что не вижу перспектив в её развитии. Вся недавняя история России — это непрерывная череда государственных переворотов, одурманивания народа, превращение людей в тупое, нерассуждающее быдло, готовое поддержать любое...» Ну и так далее.

— Да, я говорил именно так, — гордо подтвердил Нивецкий. — А вы, похоже, думаете иначе?

— Вопросы здесь задаю я. Кроме того, в интервью американскому журналу «Русский след»...

— «Русский свет» называется журнал! Что, снова записали неправильно?

Человек в пижаме уже не стеснялся и не боялся незваных ночных гостей. Он встал с кровати, уселся в кресло возле журнального столика в стиле хай-тек и плеснул себе из полупустой бутылки тёмно-коричневой жидкости в стоящий там же толстостенный квадратный стакан. Залпом выпил. И, чуть поморщившись, поднял глаза на оперуполномоченного:

— Мне плевать на все ваши обвинения, понятно? Вам нечего мне предьявить. Да и кто вы такой, чтобы предьявлять? Даже не человек, всего лишь персонаж сериала. Не самого достоверного, кстати. На самом деле у вас там днём с огнём не сыщешь честного, неподкупного полицейского. Такие только в кино остались, сказочные персонажи! Зато «оборотни», причём не сказочные, а которые в погонах — сплошь и рядом.

— Полицейские — это здесь, у вас, — сухо ответил опер. — Я служил в милиции. И всегда буду служить. Впрочем, не обо мне речь. А о том, что вы своими высказываниями множество честных людей оскорбили. Настоящих, а не придуманных, каким вы называете меня.

— Ох, беда... — вздохнул воевода. — Беда с ними, лицедеями. Их не переделаешь: языком чесать да злословить — даже не ремесло, а само естество их такое. В крови сидит, не вытравишь.

— Это кто тут — «лицедей»? На себя посмотри, бородатый! Вырядился, как на карнавал...

Нивецкий вновь потянулся к бутылке, на дне которой оставалось совсем немного. Пока он держал её в руке, размышляя, наливать или не наливать, воевода продолжил:

— Ладно, положим, в жизни всяко бывает. Может, ему и впрямь когда-то человек служивый обиду учинил. Вот он теперь и глядит волком на всех людей государевых. Глупо, конечно. Но хотя бы понятно. Но к чему берётся судить о делах стародавних, о том, чего сам не видел? Пошто грязью поливает память предков своих? Вот чего я в толк не возьму...

Нивецкий вылил из бутылки в стакан последние остатки и залпом выпил. Он слегка опьянел и теперь, похоже, был не прочь поговорить с незваными ночными гостями:

— А у этого — какие ко мне претензии? Может, кто из вас объяснит?

— Я объясню, — шагнул вперёд космонавт. — Речь, скорее всего, о том интервью в «Русском свете», где вы поделились своими впечатлениями от съёмок в российских исторических фильмах. Припоминаете?

— Ну... когда это было... — протянул Нивецкий. — Не могу же я помнить все интервью!

— Бросьте, не так уж часто вас донимают здешние журналисты. Всё же — не голливудская звезда. Так вот, в том довольно пространным интервью вы заявили буквально следующее: «Не могу считать эти съёмки той страницей моей актёрской биографии, которой следует гордиться. Да, по ряду причин мне и сейчас приходится участвовать в некоторых экранных проектах, где история Древней Руси изображается однобоко, излишне пафосно, в духе пропаганды плакатного, я бы сказал, квасного патриотизма, что было свойственно ещё советскому кино. К сожалению, эти традиции временами проявляются и в наше время».

— Неужели я всё именно так и говорил? — Нивецкий иронически прищурился, хотя космонавта слушал внимательно.

— Да, говорили именно так, — бесстрастно ответил космонавт. — У меня хорошая память. Но, чтобы не тратить время, напомню лишь ещё одно ваше

высказывание. На вопрос журналиста — трудно ли было вам вжиться в образ своего героя, участника борьбы с монголо-татарским игом — вы ответили так: «Это не труднее, чем было бы сыграть какого-нибудь вымышленного персонажа «Звёздных войн». Так называемое «иго Золотой орды» — миф, придуманный российскими историками, чтобы оправдать имперские амбиции, сначала — Российской, а затем — советской империи. Междоусобные войны удельных князьков были, по сути дела, бандитскими разборками, борьбой за сферы влияния, за передел собственности. Теперь же, спустя несколько столетий, их пытаются воспеть как героическую народно-освободительную борьбу, которая...»

— Хватит! — воевода хлопнул ладонью по стеклянному столику, и пустая бутылка со стаканом, подпрыгнув, глухо звякнули. — Тошно слушать... Что он знает о том, какие были на Руси войны!

— Ничего не знает, — сказал космонавт. — В армии, можно сказать, не служил. Так, проболтался год в канцелярии при штабе. Но военных довелось ему играть часто. Типаж подходящий.

— И неплохо, между прочим, играл! — сварливо заметил Нивецкий. — Дважды номинировался на премию...

— Господи-боже, — покачав головой, проговорил воевода. — Играл в война, аки дитя малое, а сам за всю жизнь оружия в руках не держал, врага не бил... Молчал бы лучше, скоморошья душа!

— Видал я таких, — вступил в разговор молчавший до этого лейтенант. — Помню, в сорок втором приехал к нам на передовую какой-то проверяющий из штаба армии. Красавец! Хоть плакаты с него рисуй. Весь лощёный, чистый, одеколоном несло за версту. Как он орал сначала... Всё ему было не так — и внешний вид бойцов, и отвечаем не по уставу... Приказом номер 227 страдал, всех обещал в штрафбат отправить, кто ещё в живых остался. А у нас от батальона и было тогда — меньше половины состава...

— И что потом? — спросил воевода.

— А потом — «Юнкерсы» налетели. Наших тогда почти всех положили. И меня контузило, тогда я в первый раз в плен попал.

— А этот... штабной — как? — поинтересовался опер.

— Он ещё до начала бомбёжки в тыл умотал. Что ему делается... Такие всех нас переживут.

— Коллеги, я прошу прощения, — космонавт взглянул на массивный браслет, похожий на часы. — Время идёт, а мы ещё не сделали главного.

— Согласен, — кивнул лейтенант. — Давайте ближе к делу.

— Да, я тоже так думаю, — согласился опер. — Как ты считаешь, воевода?

— Ну, коли народ решил... — воевода встал из глубокого кресла возле стеклянного столика. — Давайте с этим делом кончать. Не знаю, кому как, а мне — так всё ясно.

— Эй, стоп, стоп! Погодите! — Нивецкий встревожился. — Что это вы решили кончать? Я что-то не понимаю...

— Чего же здесь непонятного? — сказал космонавт. — Все мы, присутствующие здесь, в разные годы были сыграны вами в кино. Конечно, снимались вы чаще, но остальные ваши герои встретиться с вами сегодня не смогли,

а может, не захотели. Но это — их дело. Мы же пришли для того, чтобы сообщить о нашем общем решении — больше не иметь с вами ничего общего. Извините за тавтологию.

Нивецкий, выслушав это, несколько секунд помолчал, а потом коротко рассмеялся — почти искренне.

— И только то? Вот уж — нашли, чем испугать! Сыгранные роли... Вас уже нет, дорогие мои! Вы — ничто, картинка на экране! Таких, как вы, у меня было десятки, и ещё столько же будет!

— Ну, положим, в этом вы ошибаетесь, — заметил космонавт. — Не будет у вас больше ролей в кино. В ближайшие годы вас перестанут снимать российские режиссёры. А здешние — и до этого не приглашали, ведь так?

— Но-но! Накарай мне ещё тут... Нострадамус хренов! — Нивецкий повертел в руках пустой стакан и со стуком поставил его обратно на столик. — Откуда ты можешь знать, что у меня будет, а чего — не будет?

Космонавт чуть улыбнулся.

— Я ведь, по сюжету, всё-таки из будущего, хоть и недалёкого. Поэтому ваша дальнейшая судьба мне примерно известна. Впрочем, не будем отвлекаться. Воевода, ты готов? Все готовы? Будем начинать!

Они встали в круг, лицом друг к другу. Воевода, сняв шапку с лохматой головы, неспешно перекрестился, и торжественно объявил:

— Именем Господа Бога нашего, по собственной воле и по велению совети я, княжий воевода Михайло Иваныч Вороной, отрекаюсь от того, кто измыслил образ мой и воплотил наяву, с искусством лицедейским, но без души и веры. Отныне и навсегда — отрекаюсь. Аминь!

И, снова надев шапку, кивнул лейтенанту. Тот, чуть подумав, негромко произнёс:

— Я, гражданин Советского Союза, лейтенант Сорокин, клянусь, что отрекаюсь от того, кто, действуя под видом командира Рабоче-крестьянской Красной армии...

Он говорил недолго, но по-военному чётко. Затем проговорили соответствующие своим образам слова космонавт и милицейский оперуполномоченный. Нивецкий, оторопело наблюдавший эту сцену, собрался что-то сказать. Но слова застряли у него в горле.

Потому что в этот момент четверо его ночных гостей необъяснимым образом изменились внешне. словно лёгкая рябь пробежала в воздухе, как на экране телевизора, когда случаются помехи приёма сигнала — на секунду, не больше.

Но после этой секунды все четверо стали другими. Исчезли кольчуга и плащ воеводы, одетого теперь в простую дотканную рубаху, гимнастёрка лейтенанта покрылась пылью и копотью, милиционер сменил рубашку на кожаную куртку, а с комбинезона космонавта исчезли надписи на английском и полоски российского триколора, вместо которых появились нашивки с изображением земного шара и незнакомыми пиктограммами.

Но главное — изменились лица, пропало их общее сходство с лицом актёра Нивецкого. Пропало то, что делало их чем-то неуловимо похожими, как бывают похожи близкие родственники разного возраста.

Лейтенант теперь выглядел моложе, совсем мальчишкой. Он даже стал ниже ростом, зато шире в плечах. Воевода заметно состарился, в курчавой бороде его поблёскивала седина. Милицейский опер, в придачу к щегольской кожаной куртке, обрёл короткую стрижку и шрам на щеке, а космонавт сделался смуглым и усатым.

— Ну вот и всё. Пойдёмте, коллеги, нечего здесь больше делать, — не глядя на хозяина квартиры произнёс космонавт. В голосе его теперь звучал южный акцент.

— Подождите! Ещё один вопрос!

Уже стоя у выхода, они оглянулись. Нивецкий шагнул было следом, но нерешительно замер на месте. О его недавней развязности не осталось и следа.

— Послушайте... Вы что, действительно из будущего? — спросил он космонавта.

— Ну, допустим.

— И вы действительно знаете, что там будет со мной... со всеми?

Смуглый космонавт глянул на него и усмехнулся в усы.

— Интересно, да? — спросил он с нарочитым акцентом. — Всегда интересно знать, что тебя ждёт впереди, всё ли правильно сделал в жизни... Не сгруппил ли где, не продешевил ли, да? Извини, дорогой, ничего про тебя не расскажу. Нэ имею права! А если желаешь знать, как там в будущем у нас на родине... общей нашей родине когда-то — так там всё в порядке. Больше народ на запад не бежит почти. А кое-кто из тех, кто, вроде тебя, уехал, даже завидуют тем, кто остался. Да что говорить... Поживёшь — сам всё узнаешь.

* * *

Они молча спустились по лестнице, молча прошли мимо дремлющего консьержа. Только на улице, тихой и совершенно безлюдной, воевода, вздохнув, сказал:

— А мне почему-то жалко его. Слаб человек. Оттого и зол на весь свет.

— Да, в жизни он совсем не такой, как в кино, — согласился опер. — Даже странно. Хотя, на мой взгляд, меня он неплохо сыграл. И зрителям нравилось.

— Ну, кого и как он сыграл — теперь это роли не играет, извиняюсь за каламбур, — ответил космонавт. — Теперь мы — сами по себе, а он — сам по себе. И хватит об этом.

— И то правда, — сказал лейтенант. — Что ж, пора прощаться, товарищи! Рад был познакомиться. Жаль, что больше, наверное, уже не встретимся.

— Куда ты теперь? — поинтересовался воевода.

Лейтенант, улыбнувшись, пожал плечами. Ответил за него космонавт:

— Туда же, куда и все мы. В своё время, в свой мир. Во Вселенной миров великое множество. Каждому найдётся место.

— Так-то оно так... — задумчиво промолвил воевода. Похоже, он имел на этот счёт особое мнение. Но спорить не стал.

Близился рассвет, и пора было расставаться. Они обменялись крепкими рукопожатиями и разошлись в разные стороны.



Ольга Боченкова

Ольга Борисовна Боченкова — поэт и переводчик. Окончила Литинститут им. Горького и аспирантуру при нём. Кандидат филологических наук. Стихи публиковалась в журналах «Нева», «Новая юность», «Формаслов» и других изданиях. В последние годы издано несколько десятков книг в её переводах с шведского и немецкого языков. Живёт в Калуге.

НОВЫЕ ПРОЯВЯТСЯ СЛОВА

* * *

Отшумит под черепной коробкой
высохшая сорная трава,
заскользит в остывшем небе лодка,
новые проявятся слова,

те, что на верёвку не нанижешь,
не разложишь, не расставишь в ряд,
и пространства, нет которых тише,
бледными лучами зазвенят.

Снегопад — и ясность снегопада,
чёрный сад и обморок его —
ничего когда уже не надо,
кроме как не надо ничего.

* * *

Время пишет изнутри наружу,
Так же смотрит, так же говорит,
Гроздь-пальцы окунает в стужу,
С высоты на дерево глядит.

Время — это лунная дорога,
Искры снега розовой зимы.
Здесь его не мало и не много,
Потому что время — это мы.

Скаты крыш исходят снежным паром,
На ветру качается фонарь.
Это мы наводим на Стожары
Беспокойных чисел календарь.

Некто Брейгель в стёганом жилете
На прозрачных кружевных коньках
Рассекает по замёрзшей Лете,
На лету взметая белый прах.

А внизу, в оврага котловине,
Пойманное время мельтешит.
На оконной раме сизый иней
Золотыми нитями прошит.

* * *

Там, где Зима свои белые крючья
тянет сквозь петли бездонных прогалин,
где обитает в кудели паучьей
в шёлковом коконе, с мушкой из стали
Розовопёрстая, — в летнике пёстром
бабочкой лёгкой над нами маячит,
космос безвиден над местностью плоской,
снежные волны да холод собачий.
Так начинается новое время...

* * *

Спасатель бабочек профессия,
КуриТЕЛЬ снов, певец воды.
Не то чтоб грустно или весело,
Но как-то платят за труды.

Когда ты, изловчившись ниткою,
Проходишь сплошь уток к утку,
И лыко падает в строку,
И просто нравится, как выткано...

* * *

Сон выплёскивается наружу,
Отливается новым светом,
В тёмный день — декабрьскую стужу,
Это ключ ко многим приметам.

Будто не одна земля под ногами,
Небо чисто и неизменно,
Бродим кругом, то есть кругами,
Несколькими — одновременно.

Спотыкаясь о камни-знаки,
На пути от Волка к Собаке.
Дальше делаем остановку —
И опять от Собаки к Волку.



Наталья Головатюк

Наталья Головатюк родилась в 1978 году в Юхнове Калужской области. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Стихи пишет с детства, осознанно — после школы. Занималась в студии «Дар». Печаталась в коллективных сборниках, альманахах. Живёт в Калуге, работает на «Нике ТВ», один из авторов и ведущая программы «Культурная среда».

МАМИНО ВРЕМЯ

* * *

Мамино время после полуночи,
В час, когда спят уже тихие улочки,
Дремлют игрушки, притихшие мячики,
Звонкие девочки, шумные мальчики.

Тихо на кухне. Лампа приглушена,
Пара невымытых тарелок от ужина.
Чай остывает. Печенье надкушено.
Мама здорова, но будто простужена.

В мире тревожности и усталости
Мама не хочет чьей-нибудь жалости.
Хочется нежности, искренней радости.
Сильная мама плачет от слабости.

* * *

Мир стоит на трёх китах —
Маме, папе, дочке.
Не уснуть? Считай до ста,
Ангел мой в сорочке.

Не терзай, не береби
Ожиданьем душу.

Просто спи, в обнимку спи
С котиком из плюша.

Что там у тебя болит
Ноченькой осенней?
Приплывёт и третий кит
Где-то к воскресенью.

Не оплакивай пропажу,
Отвернувшись к стенке.
Ножки ноют? Дай поглажу
Хрупкие коленки.

* * *

Врозь не вышло. И вместе тоже.
Значит, снова шагаем врозь.
Слишком разные, так похожи,
Что сбиваем земную ось.

Слишком ранены, чтобы выжить,
Но живём вопреки всему.
И Земля так спокойно дышит,
Мчась по контуру своему.

* * *

Однажды в Юхновград придёт весна,
Мир зацветёт назло зиме упрямо,
Жизнь этой красоте дала она —
Моя простая труженица мама.

Она сажала яблони, цветы,
Она вложила душу в эту землю.
И потому вселенской темноты
И смерти я отныне не приемлю.

Она жива в улыбках дочерей
И внучек, что теперь её колосья...
Вот только листопад теперь острей
По сердцу бьёт. Как выжить в эту осень...

* * *

Знаешь, Юлька, я против грусти...

Ю. Друнина

Знаешь, мамка, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Может грусть меня и отпустит —
Через год или два пройдёт.

Людам кажется: надо было
Что-то сделать, но видишь ли,
Есть над нами такая сила,
Что мощнее всех сил земли.

Отогреться бы в твоём доме...
Пусто, холодно нынче в нём.
Только в старом фотоальбоме
Мы — и умершие — живём.

Я листаю его, листаю,
Как живая, ты смотришь вдаль,
Улыбаешься молодая,
Не познавшая ту печаль,

Что однажды тебя накроет,
Как накрыла теперь меня.
Слышишь, мамка, там ветер воеет,
Обнимает меня родня,

Надо мной проплывают тучи,
Тают снежные облака.
Верю, мамка, тебе там лучше,
Улыбнись мне издалика.

A black and white portrait of Alexander Larin, an older man with a beard and mustache, wearing a light-colored button-down shirt. He is leaning his head on his right hand, looking thoughtfully towards the camera. The background is slightly blurred, showing what appears to be a bookshelf.

Александр Ларин

Александр Константинович Ларин — член Союза писателей России с 1998 года. Автор 25 книг художественной прозы, девять из них вышли в крупных издательствах Москвы. В областной периодической печати опубликовано около пятидесяти историко-краеведческих работ. Лауреат Всероссийской литературной премии им. братьев Киреевских «Отчий дом», областных литературных премий, а также журналистской премии Государственного Эрмитажа «Искусный глагол». Живёт в Калуге.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Рассказ

Он всё ещё верил ей, хотя произошло, казалось, всё, что могло эту веру перечеркнуть жирным крестом. И её пропадания на месяцы, когда становилось страшно от молчания телефона; и многозначительные недомолвки в разговорах с друзьями («...ты извини, старик, но Света твоя ... хотя ладно, молчу»); случались и ссоры, но они переходили в страсть, хотя всё реже.

Сейчас они лежали рядом. Михаил смотрел на неё в темноте и любовался безмятежным лицом, изящной рукой с очень узкой ладонью, беззащитным колечком локона у виска. Античное совершенство руки выплывало из мрамора предплечья, белеющего молочно на цветастой простыне. Он хотел погладить шелковистый бархат кожи, но она вдруг потянулась и прошептала во сне:

— Димочка, милый, — и снова задышала тихо и ровно.

Всё стало на свои места. Михаил осторожно встал, собрал с ковра впопыхах содранную каких-то три часа назад одежду. Вышел из спальни, оделся, почистил зубы. Достал из ящика серванта пару рубашек, тощую пачку банкнот и газовый вальтер восьмого калибра. Проверил документы, сложил вещи в спортивную сумку. Да, не забыть бы часы. Застегнул браслет на запястье, открыл входную дверь.

Очутившись на тёмной лестничной клетке, тихо прикрыл её, стараясь как можно тише щёлкнуть язычком английского замка. Выбравшись из заплёванного подъезда, облегчённо вдохнул свежий ночной воздух и по Кирова направился к Театральной площади, по дороге купив в ночном киоске несколько пачек сигарет.

На небольшой парковке у театрального сквера стояло около десятка машин. В этот ночной час здесь тусовались полукриминальные авторитеты, кадрилившие девочек для недолгого, но тесного общения. Он подошёл к зелёному опелю, показал водителю пальцем: опусти стекло. Молодой качок

с бычьей шеей, не переставая жевать чуингам, нажал на кнопку, тонированное стекло медленно поползло вниз.

— Тебе чего? — по-коровьи чмокая губами, презрительно осведомился качок, но, увидев ствол, направленный в левый висок, стал медленно поднимать руки.

— Вылезай, урод, — сказал Михаил, — и бегом вдоль улицы, с закрытой пастью. Уловил?

Качок судорожно кивнул, проглотив при этом жвачку, молча и даже с какой-то готовностью покинул салон — и припустился в указанном направлении, пригнувшись и петляя обутыми в белые кроссовки ногами. Михаил выпрыгнул в опель, включил двигатель, с места рванул по безлюдной улице в сторону бора.

Теперь ему думалось, будто всё происходящее было кем-то запрограммировано. Мысли были ясны и холодны, движения чётки, деловито точны, словно он с детства крутил баранку этой крутой тачки. За кольцевой, уже проехав несколько километров в сторону столицы, Михаил впервые посмотрел в зеркало заднего обзора. Две пары фар настигали его. Кинул взгляд на спидометр: стрелка замерла, приклеившись к цифре 180. Он усмехнулся и, не снижая скорости, пошарил в бардачке. Так и есть: рука наткнулась на холодный металл.

Он притопил до пола педаль акселератора, за очередным лесным поворотом резко затормозил, достал из бардачка компактный «узи» и вышел из опеля. Визжа шинами, преследующие машины вписались в поворот. Михаил передёрнул затвор. Целясь от бедра чуть выше фар, выпустил все двадцать пуль из обоймы.

Передняя машина прокатилась по инерции полсотни метров, пересекла осевую и ткнулась передним бампером в кучу гравия у обочины; задняя — белая «шестёрка» — резко вильнула вправо, перевернулась в неглубоком кювете и ударилась о толстую придорожную сосну.

— Да, чувак, наколбасил ты, — сказал сам себе Михаил, сел в машину и продолжил путь.

Миновав МКАД, опель влился в заметно погустевший поток авто на Ленинском проспекте. За Садовым кольцом Михаил оставил иномарку на Новорязанской улице и пешком дошагал до Комсомольской площади, где нырнул в муравейник Ярославского вокзала.

* * *

В архангельском порту было уже не так оживлённо, как прежде. Плотно притянутые швартовочными канатами к битенгам, маялись понуро у причала огромные туши сухогрузов. Михаил прошёл пассажирскую пристань, на которой стоял бронзовый прорубатель окна в Европу, хмуро созерцая постперестроечный бардак.

Затем Михаил направился к дальнему пирсу. Оранжевый порталый кран, скрежеща несмазанным поворотным кругом, совал штабеля смолистого корабельного сосняка в чёрную пасть лесовоза, на кормовом флагштоке которого тёплый летний ветерок колыхал триколор французского гюйса.

Около него тормознул электрокар. Тощий парень в засаленной робе спросил:

— Закурить не найдётся?

— Пока есть. Кури, — Михаил протянул парню сигарету.

— Почему пока? — задымив, внимательно посмотрел на него карщик.

— Работы нет, деньги на исходе, жить негде — короче, всё по нулям.

— Знакомые мотивы. Чего умеешь?

— Да много чего. А что, есть перспективы?

— На каботаже механик нужен. Найди посудину «Пинега» и к капитану дуй напрямиком. Скажи, что от карщика Силуянова. Но это, само собой, если сечёшь в дизелях.

— Как-нибудь. Автомобильный вуз за спиной.

— Тогда об чём речь! Пройдёшь вон тот терминал, обогнёшь кран, там они и швартуются. Правда, сейчас «Пинега» вроде бы «поляка» на рейд потащила, но ничего, подождёшь.

...Через неделю капитан сказал деловито:

— Годится, Михаил. Вижу, движок ты на «пятёрку» знаешь. Вот какое дело: мы тут без механика пару недель продержимся, мотор ты отрепетировал подходяще, а тебе я хочу одно дело поручить. Что-то вроде командировки. На Мезени есть село Лешуконское, а стоит оно в том месте, где впадает река Вашка. Порт там есть, Усть-Вашка. И в том порту на приколе стоит старый катерок. С него дизель надо снять на запчасти.

— Когда выезжать? — спросил Михаил, внутренне дрожа.

— А хоть сейчас. Хотя не спеши, я созвонюсь с аэропортом: может, туда грузовой борт полетит да заодно тебя прихватит. Летал когда?

— Было дело.

* * *

Тогда он только демобилизовался. Душа пела, после унылых причёсанных пейзажей Германии не то что берёзку — каждый камень, каждый природный стебелёк хотелось обнять. Вся необъятная страна, имя которой СССР, лежала перед ним, от Риги до Находки. Пожив дома дней пятнадцать, Михаил без особых душевных терзаний рванул в Питер, в Полярный институт. Он с детства мечтал стать полярником, когда как не сейчас сказку сделать былью.

Медкомиссию он прошёл на «ура», дяди и тётки в белых халатах дали единодушное добро его здоровью. Но одна группа уже была на Диксоне, а на дрейфующую станцию коллектив планировали сформировать только через полгода. Надо было чем-то заняться. Домой ехать не хотелось, и Михаил подал заявление в Архангельскую нефтегазразведку. Дембеля-сержанта приняли с распростёртыми объятиями, предложив непонятную должность помбура на разведочной скважине глубокого бурения.

В райцентре, большом селе Лешуконское, он оформил бумаги, получил спецодежду и на почтовом Ми-4 с оказией вылетел на объект. За пыльным иллюминатором медленно плыла вечнозелёная тайга без конца и края,

разве что иногда попадали в поле зрения плешины болот, политых кровью спелой клюквы. Была осень.

Сделав круг над буровой, вертолёт приземлился на глиняном пятачке в стороне от передвижных балков.

Спрыгнув наземь, Михаил принял из рук второго пилота свой рюкзак, пакет со спецодеждой, тощий мешок с корреспонденцией, несколько картонных ящичков и какую-то металлическую деталь в промасленной крафт-бумаге. Ми-4 тут же набрал обороты и улетел в обратном направлении. Присев на ящички, Михаил отряхнул волосы от пыли, огляделся. К нему шёл со стороны балков невысокий парень в скрежещущей брезентовой робе и рыбацких сапогах.

— Помбур? — утвердительно поинтересовался подошедший.

— Он самый.

— Тогда привет. Назип Валиуллин, — протянул руку парень.

— Михаил.

— Вовремя ты дембельнулся: на вторую тыщу пошли. Самая работа началась.

— Это как — на вторую тыщу?

— А ты, я смотрю, без понятия? Продырявили, говорю, километр, начали второй.

— А сколько всего надо пробурить?

— Три пятьсот.

— Круто! — восхитился Михаил.

— Ладно, потом поговорим. Так, почту прислали летуны? Ага, хорошо. Ну, Миша, берём ящички и тащим на буровую. Нет, совсем в конторе оборзели: уже без инструктажа салаг присылают!

— А по тылке за салагу? — Михаил поставил на землю ящик и снял с плеча рюкзак.

— Не понял, — Назип поднял вверх чёрные бровки.

— Поясняю, — новый помбур сделал поворот на 180 градусов и не очень сильно врезал татарину ногой в ухо.

Тот повалился на траву и прикрыл голову руками. Но Михаил миролюбиво протянул ему руку:

— Не обижайся, я просто не рассчитал. Но впредь прошу никогда не называть меня салагой.

— Ты уж сразу скажи, что ещё тебе не по кайфу, — игнорируя протянутую руку, бурильщик встал на ноги. — А теперь послушай меня. Поменьше конечностями махай, тут это не проходит. Здесь половина коллектива — судимые. Тебе повезло, что я — из другой половины. И запомни: ближайший представитель власти, милиционер дядь Лёша — в деревне Койнас. А Койнас — в ста двадцати километрах отсюда. Однако и дядь Лёша мало что делает в случае чего. Он парнишка не то чтобы очень молодой, ему до пенсии год остался. Он уже лет пять в кобуре семечки носит.

— Плевать. Оскорблять себя никогда не позволю.

— Ну-ну. Ладно, проехали, — татарин Назип присел на корточки. — Тут километрах в полусотне леспромхоз имеется. Сам понимаешь, народ там

тоже битый. Директор там был на тебя похожий, права качал. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Полгода назад, по весне кто-то ночью в его окошко постучался. Он занавески раздёрнул и получил в голову из двух стволов жаканами. Не нашли убийцу-то. Здесь, Миша, — тайга, — Назип поднялся с корточек, взвалил на плечо ящик потяжелее, взял в свободную руку деталь в крафт-бумаге. — Пошли, дембель.

Донеся груз до избушки камеральной лаборатории, сложили ящики на крыльце.

— Ну вот. Теперь пойдём с жильём разбираться, — сказал деловито Назип. — За мной.

Жилища бурильщиков — передвижные балки на массивных полозьях — составляли небольшую улочку среди раскорчёванной тайги. У одного из них, самого крайнего, татарин-проводник остановился. Не стучась, открыл подбитую оленьей шкурой дверь.

В тёплом нутре балка топилась квадратная сварная буржуйка, на ней шумел чайник. Широко раздвинув ноги, обутые в шерстяные носки, на акkuratно застеленном топчане сидел курчавый кавказец.

— Сосед тебе. Зовут Михаил, — коротко представил татарин и вышел.

— Вах! Ашур, — кавказец пожал Михаилу руку. — Откуда?

— Из Подмосковья.

— Очень хорошо. Располагайся, генацвале, сейчас чай будем пить.

Михаил развязал рюкзак, стал доставать продукты: сгущённое молоко, печенье, колбасу. Ашот остановил его:

— Потом, дорогой, всё потом. Вот колбасу оставь. У нас на Кавказе сначала надо выпить за знакомство, потом кушать.

Покопавшись в деревянном настенном шкафу, он поставил на откидной столик, вроде вагонного, бутылку чачи, положил гроздь чёрного винограда и кусок жареного мяса в глубокой тарелке. Налив по половине стакана, Ашур поднял свой и произнёс длинный витиеватый тост, после чего стукнул свою ёмкость о Михайлову и закончил не без патетики:

— Вот за это и выпьем!

Помочив губы в жгучей жидкости, Михаил поставил стакан на столик, покачал головой:

— К сожалению, не пью.

— А кто сказал, что это пьянство? Я обижусь, генацвале. Прошу, выпей, пожалуйста.

Непонятно для себя самого Михаил осушил первую в своей жизни дозу крепкого спиртного. Но с хорошей закуской, поэтому с удивлением ощутил, что не очень-то захмелел.

— Мир не перевернулся? Вот видишь! Мой отец делал эту чачу, чистый виноград. Мясо — да, оленина, непривычно сначала, есть хвойный привкус. А насчёт спиртного у нас строго, сухой закон. Я эту чачу берёг три месяца для нового соседа...

Когда уже пили чай, Михаил внимательнее оглядел интерьер балка и только тут обратил внимание на огромную — во всю стену — географическую

карту СССР над топчаном весёлого кавказца. Несколько десятков городов были обведены кружками: большинство — красным карандашом, гораздо меньше — зелёным.

— Путешествуешь? — кивнул Михаил на карту.

— Нет. Слушай, пора спать, мне в восемь на смену. Ты учти, тут режим соблюдается строго.

— Как в армии? — улыбнулся Михаил, вспомнив железо армейской дисциплины.

— В армии? Нет, тут дело в графике. Мы работаем в режиме «восемь через восемь». Вот я сегодня в восемь иду на смену, меняюсь в четыре утра — и в люлю. В полдень — опять к горячо любимым трубам...

— Это же кошмар! Не-е-т, улетаю следующим бортом. В гробу я видал такую пахоту.

— Но! В таком темпе мы пашем, Миша-джан, неделю. Потом нас меняет другая вахта, а мы на неделю летим в Койнас или в Лешуконское отдыхать.

— Ну, это совсем другое дело. Тогда спим. Мне Назип сказал, чтобы я утром был на буровой, он будет учить.

Ашот расправил стёганое одеяло на своём топчане, зевнул и сказал, потянувшись к выключателю:

— Он — бурильщик хороший. Научит. Но на работу очень злой. Пашет, как бешеный, ни себя, ни людей не жалеет, имей в виду. А знаешь почему?

— Нет, конечно.

— Всё просто, дорогой. Деньги. Он жениться надумал, а у татар нужен калым за невесту. Здесь ведь премиальные платят за проходку, вот он и рвёт на своих вахтах метраж. В августе мотоцикл купил, «ижак». На очереди — машина. Ладно, спим, ещё наговоримся, я тебе много чего про нашу буровую и её коллектив поведаю.

* * *

— Подлетаем! — прокричал пилот, повернув к Михаилу лицо, обсыпанное веснушками.

Вертолёт завис над широкой лентой Мезени; слева в неё, зажатую зелёными тисками тайги, вливалась Вашка. Крутой мезенский берег облепили основательные северные избы. За Лешуконском виднелся небольшой аэродром с привычным окружением: кучей ржавых бочек, метеобудкой, вяло болтающейся «зеброй» ветроуказателя да несколькими «аннушками» и ПО-2 вдоль грунтовой посадочной полосы.

Михаил сразу после приземления отправился в порт, нашёл нужного человека (точнее, тот сам вычислил его).

— Ты, что ль, мил-человек, механик из Архангельска будешь? — подошёл к нему невысокий мужичонка со шкиперской бородкой, в надвинутой на лоб старой форменке речфлота.

— Да. Добрый день.

— Привет, — несильно пожал его руку мужичонка вялой ладонью, пыхнув классической смесью лука и свежего перегара. — Пошли, посудину покажу. И чего ваш Егорыч с ней вяжется? Хлам. Металлом один.

— Мне приказали, я должен сделать.

— Да я-то чего? Моё дело — показать, людьми при необходимости подмогнуть, а ты уж сам колупайся. Жить где думаешь?

— В гостинице, само собой. А что, есть варианты?

— А то как же. Вариант вот какой: могу в своём доме комнату тебе отвести. Сам я бобыль, с дочкой век коротаю.

— С удовольствием приму предложение. Сколько же стоит ваше гостеприимство?

— Да ты что, парень! Не обижай. Я ж от чистого сердца.

— Тогда совсем хорошо. Принято.

— Вот и ладно. Катерок покажу, полюбуйешься, прикинешь, как половчей к дизелю подобрать... Ну, Егорыч, вспомнил крейсер! Он ведь тут, дай Бог память, года с восьмидесятого на прикол поставлен. Туда одного керосина надо литров сорок, чтоб все гайки пролить: приржавели насмерть! А вот и он, красавец. Трудись пока, я к вечеру подбреду.

К вечеру мужичонка появился снова, и они пошли к нему домой, на ходу обсуждая варианты демонтажа дизеля.

— Мои хоромы, — сняв с головы форменку, лешуконец махнул ею в сторону высокой тёмной избы, конёк которой венчала резная конская голова.

Михаил оторопело остановился и, глотая внезапно подступивший к горлу комок, сказал севшим голосом:

— А мы так и не познакомились. Меня зовут... Борис, — зачем-то соврал он.

— Я — Иван. Савельевы мы. Продуло тебя нешто на Мезени? Ишь, голос сел. Пошли.

Да. Это был тот самый дом. В горнице всё так же пахло сосной от свежeweмытых полов, полынью и ещё какой-то травой (он успел за пятнадцать лет позабыть её название). Всё те же чёрные иконы на божнице в святом углу, и герани на крашеном подоконнике...

— Не торчи столбом, садись. Что, чайку попьём с трещочкой или как? Доча скоро из школы вернётся.

— Она учительница?

— Бери выше: завуч. Лето, отдыхать надо, а она как пчёлка: ремонт же. Денег нет у райсовета, она и собирает с бору по сосне.

Иван привычно ходил по избе, гремел ведром, наливая воду в чайник. Зажёг газовую плиту, спустился в подпол, вернулся с миской солёных груздей. Слазил ещё раз, принёс тарелку красной икры, наложенной щедрой горкой. Стал накрывать на стол.

— Я бы поспал с дороги, — деланно зевнул Михаил.

— А икорки, грибков? Да и вообще — рано спать-то заваливаться, успеешь ещё. Тебе ж не к уроку бежать сломя голову.

Скрипнула входная дверь. Конечно, сейчас на улице, если бы она шла мимо, он её бы не признал. Хотя, если приглядеться, да — черты остались те же, на удивление мало изменилась фигура. Разве что исчезла лёгкость в походке и та полудетская стройность...

— Постоялец у нас объявился, доча, — кладя на стол кучку звякнувших вилок и ложек, доложил Иван. — Механик с Архангельска, про которого Егорыч вчера звонил. Борисом зовут.

— Здравствуйте. Зина, — она пошла в соседнюю светлую комнату, добавив уже отцу с лёгкой укоризной: — Папа, я сейчас всё сделаю, что ты беспокоишься?

— Да уж накрыл. Садись с нами.

* * *

Она прилетела зимой, заменить заболевшего геофизика. Михаил только что вышел из тайги на лыжах. За спиной — старый карабин, на ремённой петле болтался косач, ещё пятнавший снег свежей кровью. Он увидел, как из вертолётного люка выпрыгнула девичья фигурка. Вертолёт тут же взлетел и пошёл в сторону леспромхоза. Догнав резво идущую девушку. Михаил спросил в спину:

— Девушка, вы кто?

Она обернулась, и Михаил понял — это судьба смотрит на него из белого мехового капюшона зелёными глазами, оттенёнными чёрными ресницами.

— Я-а? — медленно переспросила она.

— Ну да. Именно вы.

— Вместо геофизика Маркова, он заболел, — девушка смотрела на него недоумённо и даже несколько обиженно, будто уж о чём — о чём, а о факте её появления на буровой Михаил должен был знать всенепременно.

— Понял. Газоанализаторы, датчики, осциллографы и всё такое прочее, — выпалил он, и девушка улыбнулась, сверкнув белыми, фарфоровой прозрачности зубками.

— Ну, и как тут у вас, весело живётся?

— Сами узнаете. Показать балок геофизиков?

— Буду очень признательна. А как вас зовут?

— Михаил.

— Зина, — она выпростала из вязаной варежки руку; ладонь была тёплая и лёгкая, почти невесомая, её не хотелось выпускать.

Ашур был в отпуске где-то на своём Кавказе, и в тот же вечер Михаил пригласил Зину к себе. Конечно, всё мужское население буровой, могущее передвигаться, тут же нашло — каждый свою — причину заскочить к дембелю-помбуру.

— Вы же выстудите мне весь интерьер! — кричал вслед очередному уходящему Михаил и возмущённо комментировал Зине: — Нет, ты только послушай: меланхолику-латышу Струпулису соль понадобилась на ночь глядя, а! А радист? Кто-нибудь может мне ответить, где я ему в этой матёрой тайге достану полевой транзистор КП-103? К какому из медведей мне обратиться?

А она смеялась, лукаво и заразительно-весело... Пробыла Зина на буровой две недели. Конечно, Михаил и не подумал лететь со своей вахтой на отдых. Они ничего не замечали вокруг и каждую свободную минуту проводили вместе. Ходили на лыжах в тайгу, забираясь в нехоженые места, Михаил

даже показал ей — конечно, издали — медвежью берлогу. Однажды Зина попросила научить её стрелять, и он с удовольствием это сделал.

Ученицей она была прилежной, ТТД карабина и сборку-разборку несложного оружия освоила за два сеанса, а учебные стрельбы в овражке в двух километрах от буровой показали, что она и стрелок с большими перспективами. Вечера проводили то у Михаила, где слушали транзисторную «спидолу» и распивали бесконечные чаи, то у неё в балке, в обществе пожилой женщины-геофизика. Эта несколько эпатажная коренная москвичка оказалась обалденной собеседницей, точнее — рассказчицей. Во время войны она девчонкой работала на табачной фабрике «Ява», и от неё Михаил, например, узнал, что на фронте фашисты самым ценным трофеем считали папиросы «Беломорканал».

— Э-э, дети мои, — говорила Зинина коллега, затягиваясь «беломориной», — то, что я сейчас имею глупость курить, — жалкий лепет по сравнению с военной продукцией!

— А в чём разница?

— Не разница, а пропасть! В состав табака тех (она подняла вверх руку с зажатой между пальцами папиросой) роскошных папирос входил вирджинский табак, турецкий и даже грузинский элитных сортов, не считая краснодарского. Аромат, доложу я вам, был под стать фимиаму, прости, Господи. Я-то в то время по младости лет ещё не обзавелась этой пагубной привычкой. Но когда мой отец в своём кабинете закуривал, создавалось впечатление, будто зажгли индийские благовония. Вот какие были папиросы.

Уже через несколько дней их знакомства Михаил узнал: родом Зина из Калинина, но ещё в детстве их семья переехала на Север, в Лешуконское, где стоял дом её деда. Окончила она курсы операторов-геофизиков, а год назад умерла её мать, и живут они с отцом. Когда вернулся выздоровевший геофизик Марков, Зина тем же бортом улетела домой.

— Будешь — в Лешуконском — заходи, вот адрес, — она вложила ему в ладонь бумажку и по пупырчатой железной лесенке поднялась в вертолёт, аккуратно ступая расшитыми бисером пимами.

Следующая неделя тянулась как год, как последние дни до дембеля. Во сне приходили разные видения. То она появлялась под руку с каким-то наглым парнем, то обнимала его, Михаила, страстно и крепко (на деле-то ничего, кроме случайных прикосновений, не было).

Но эта тяготящая неделя проползла наконец. И лишь когда он ощутил под ногами знакомую дрожь вертолётного днища, когда поплыла вниз бело-зелёная вязь зимней тайги, он избавился от гнетущего чувства ожидания...

— Миша, заходи! — крикнула она с порога, выбежав на высокое крыльцо в лёгком атласном халате и валенках.

Он перемахнул через штaketник, проигнорировав калитку, взлетел через две ступеньки на промёрзлые крылечные половицы. Запыхавшись, остановился перед ней, тронул рукой рассыпавшиеся волосы и тихо сказал:

— Ты же простудишься.

Она склонила голову к плечу, так что его ладонь оказалась в щемящем-тёплом плену, ответила с милой укоризной:

— Рано меня за старушку принял, Мишенька, на улице всего-то минус двадцать шесть по Цельсию, а мне всего восемнадцать с половиной лет, вот. Пошли в дом, папка в Палощелье на рыбалку укатил, я одна тут верчусь.

Потом они не могли наговориться, будто не виделись вечность. Потом смотрели ужасно старый фильм по ужасно старому телевизору «Рекорд» в железном корпусе. На экране с удручающей последовательностью пропадали то звук, то изображение, причём регулировка осуществлялась ударом кулака по верхней части корпуса. Каждый удар вызывал смех, они смеялись до колик в боку. Когда пошли титры, Зина сказала:

— От вас, монсиньор, несёт соляжкой и мазутом, как от папкиного дизелиста Фёдора Дормидонтовича Любченкова. Выхода из этой ситуации я вижу два: либо я выпроваживаю тебя на ночь в сарай для вымораживания запахов, либо немедленно таскай в баню дрова.

— Мы пойдём вторым путём! — воскликнул Михаил. — А вода в бане присутствует?

— С вечера наносила. Давай-ка шевелись, уже темнеет.

Он натаскал в миниатюрную баньку свиловатых смоляных полешков, щепой растопил обмазанную белой глиной печь. Скоро он блаженствовал в благоухающем пару, в котором переплелись запахи развешанных по стенам пучков трав. Где-то через час в дверь постучала она и громко произнесла:

— Я иду с веником, берегись!

Михаил судорожно, с третьей попытки впрыгнул в мокрые трусы. Когда она вошла в длинной белой рубашке и с можжевельным веником, он лежал лицом вниз на верхнем полке и смотрел на неё из-под руки, подложенной под подбородок. Зина полила ему спину горячей водой и отходила её веником так, что он взмолился:

— Только до смерти не надо!

Зина бросила на полок исклѣстаннѣй веник, он со стоном сел, медленно разогнулся. Глядя ей в глаза, близко подошёл к ней, обнял, чувствуя, как острые её груди раскалёнными гвоздями прожигают кожу. Она не отстранилась, только прошептала:

— Мишенька, не надо, прошу тебя...

— Не буду, — не понимая, что говорит, ответил он тоже шѣпотом, не в силах разнять руки.

...Отец Зины так и не заявился в ту безумную неделю. Хотя того, чего боялась Зина, не произошло, они поклялись вечно быть вместе. А когда он вернулся на буровую, в балке всюю хозяйничал Ашур. Оба топчана были завалены дарами юга: мандаринами, персиками, абрикосами, виноградом. На столике царила десятилитровая бутылка вина, оплетѣнная лозой.

— Как довѣз, не знаю. Руки отсохли, слушай, — говорил Ашур, потирая литые бицепсы. — Налетай, генацвале, отведай, пока ребята не навалились.

Ещё через три дня Михаил сломал ногу, возвращаясь с охоты. Он не заметил, съезжая с пригорка к устью промѣрзшего до дна ручья, поваленного паводком дерева. Неделю провалялся в гипсе в Архангельске, потом стал

долечиваться в полупостельном режиме на буровой, под присмотром фельдшера-пенсионера.

— Ашур, у меня к тебе поручение, — сказал Михаил как-то, глядя на сутливо укладывающего в сумку одежду соседа (тот отбывал на очередной недельный отдых). — Ты ведь в Лешуконское?

— Я бы слетал в Адлер, генацвале, но у нефтегазразведки пока там нет базы для отдыха. Конечно, в Лешуконское, куда ещё. Что привезти?

— Нет, речь о другом. Передай записку, будь другом.

— Надеюсь, той самой незнакомке, которую ты охмурил в моё отсутствие?

— Угадал. Передашь?

— Передам, о чём речь. Диктуй адрес.

До весны Михаил скакал на костылях, но скоро кость срослась, он за несколько дней вновь научился ходить на своих двоих, отбросив натёршие подмышки деревянные подпорки. На записку, переданную Ашуром, ответа не было, хотя кавказец отрапортовал: послание доставлено адресату безотлагательно и лично в руки. Не ответила Зина и на десяток писем, посланных потом. Связавшись по радиции с базой нефтегазразведки в Лешуконском, Михаил узнал от знакомого радиста из местных потрясшую его новость: Зина хотела отравиться и она сделала аборт.

Вернувшись из радиорубки, он в полушубке и унтах рухнул на топчан. Оцепеневшим бездумным взглядом уставился на «генштабовскую» Ашурову карту. Внезапно взор его отметил какое-то изменение на ней. Так и есть: новым красным кружком был обведён город Тверь. А ведь Зина — родом из этой самой Твери, только он сейчас называется Калинин... В балок вошёл дизелист Струпулис. Поздоровавшись, он бросил на топчан Ашура пачку трояков в банковской упаковке, процедил:

— Миша, когда Ашур придёт, скажи — Струпулис долг вернул. Скучаешь, командир? — Латыш повернулся и взялся за дверную ручку, собираясь уходить.

— Погоди, Илмар. Ты не в курсе, зачем Ашуру вот эта карта?

На лице всегда невозмутимого прибалта возникло недоумённое выражение:

— Ты что, серьёзно не знаешь? Ха! Да ты ещё менее любопытен, чем мы, латыши! Объясняю. Твой кавказский соседусшка, как бы лучше это сказать... он — любовный интервент. По-русски это звучит грубее, но точнее — бабник. У каждой новой оболыщённой особы он узнаёт, откуда она родом, а потом обводит фломастером покорённый город. Всё очень просто. Несколько неудачных любовных атак отмечены, как видишь, зелёным цветом. Даже странно, что он тебе, соседу, не похвастался. Ну, бывай.

Ещё через полчаса в балок ввалился пришедший со смены Ашур. Его встретил мощный удар в челюсть. От неожиданности кавказец не сумел даже закрыть лицо. Второй апшеркот заставил его упасть на топчан, на пачку денег, а предварительно голова Ашура впечаталась в карту, где-то в районе Бугульмы. Он был сильным, тренированным мужиком, умел драться. Но сейчас он лежал, даже не пытаясь защититься. Единственное, что он сделал — приподнял голову и сказал негромко, шепелявя по причине разбитых губ:

— Я виноват, Миша, ударь ещё. Подонок, знаю. Но ничего не мог с собой поделаться...

Михаил молча собрал вещи и пошёл ночевать в балок бульдозеристов. Ближайшим бортом улетел — прочь, домой, не забрав трудовую книжку и очередную зарплату.

* * *

— Молчаливый ты. Уродился таким, иль судьба круто обошлась? — в конце ужина спросил захмелевший от спирта Зинин отец.

— Жизнь, Иван, болтать отучила.

— Что так? Люди обидели?

— Можно и так сказать. Девушка, — не поднимая глаз, ответил Михаил, вертя в пальцах вилку.

— Папа, что ты к человеку пристал! — дрогнувшим голосом укорила Зина.

— Извините, но я сегодня действительно притомился. — Михаил встал. — Где спать прикажете?

— Пойдёмте, Борис, я покажу, — тоже поднялась из-за стола Зина.

— Спасибо за ужин. До завтра, — он кивнул отцу Зины и пошёл за ней.

...В окно светила полная луна, её осколки сверкали на полированной бронзе маятника мерно тикающих настенных ходиков. Засыпая, он услышал — то ли уже во сне, то ли ещё наяву — её шёпот:

— Совсем забыла кукушку отключить, ведь замучает за ночь, спать ему не даст.

Проснулся от чувства, будто наступило утро. Но это была обычная в местных краях белая ночь. Но и не она его разбудила: на низкой скамеечке у изголовья сидела Зина и смотрела на него неподвижным взглядом.

— Просила Богородицу, чтоб ты проснулся, — сказала она спокойно. — Нельзя так, Мишенька. Ведь пятнадцать лет прошло, разве можно ненавидеть столько времени? Имя своё зачем-то перевернул... Зачем?

— Не знаю. Увидел твой дом — и всё во мне перевернулось вверх тормашками, вот зачем. А насчёт ненависти — нет, это не ненависть. Обида, Зиночка.

— Да. Загадками говоришь. Ну да ладно. Как же ты жил?

— Как все, Зиночка, как все. В том же году поступил со злости в институт. Окончил, распределился и до сих пор работаю, не могу остановиться. И тебя из сердца выкинуть не могу.

— А зачем выкидывать? Что я тебе такого сделала, отчего убежать было?

Михаил оторвал голову от подушки, опёрся на локоть:

— А ты не бредишь случаем? Разве твоей измены мало?

— Какой измены? О чём ты говоришь, Мишенька?

— О чём? Ты ведь даже на мою записку не ответила...

— Какую записку?

— Погоди, я же передал тебе с Ашуром записку. Разве он тебе её не передал?

— Нет. Он приехал и сказал, что ты просил извиниться и что у тебя есть невеста. Вот дословно то, что мне передал Ашур.

Случись ему услышать эти слова пятнадцать лет назад — он застрелил бы кавказца не задумываясь. Но и сейчас он рывком сел в кровати и гневно процедил сквозь зубы:

— Где он сейчас?

— Ашур? Месяца через полтора после твоего отъезда он утонул. Говорят, плыли они на барже по Мезени, и он поспорил, что перенырнёт её на ходу. Все спорщики, как мне рассказали, сильно выпили. Баржа была самоходная, его располовинило винтом.

— Ну да, ну да. Бог шельму метит. Нет, но как ты могла ему поверить? Неужели трудно было написать, по радиации связаться?

— Я была гордой, самоуверенной дурой, Мишенька. А он мне проходу не давал, вот я однажды — от злости, что ли — и отдалась ему. Наутро наглоталась каких-то таблеток, при смерти в райбольнице лежала. Только оклемалась, чувствую: беременна. Ещё раз порешить себя хотела, отец спас. И тогда я сделала аборт.

— Что дальше было? — его голос дрогнул.

— Ничего особенного. Окончила в Архангельске педтехникум, с тех пор учительствую. Сейчас вот завучем назначили.

— Замужем была?

— Нет, Миша, больно сильно обожглась. А ты?

— Я? Был. Не сложилось. Можешь не верить, но всегда о тебе думал. Правда, встретиться, да ещё так...

— Знаешь, я чувствовала.

Они замолчали, глядя друг на друга. Любопытная луна перекатилась во второе окошко и подсматривала за ними через реденькую ситцевую занавеску, на глазах бледнея от зыбкого света наступающего утра.

— Зачем ты кукушку в ходиках усыпила? — шёпотом спросил он.

— Боялась, что она вместо «ку-ку» прокричит «кока-кола», — улыбнулась Зина ласково и коснулась его руки.

— Ничего, я английский изучал, понял бы, — попытался ответно пошутить Михаил, но улыбнуться не смог: он наклонил голову и приник губами к её ладони.

Больше в этот остаток ночи не было сказано ни слова, и разве что луна потом могла поведать закрытой за крошечными дверцами кукушке в ходиках, что происходило здесь за два часа до рассвета...

* * *

Через три дня они повенчались в маленькой церковке за Нисогорой. Стоя лицом к тёмному иконостасу, Михаил смотрел на облачённого в небогатую ризу батюшку, свершавшего обряд, на мерцанье робких лампадок перед образами и думал только о ней, прижавшейся к его правому локтю. Спасибо — кому там: Господу, Богородице, судьбе — спасибо! Вся прошлая жизнь после нелепой разлуки с ней казалась ему теперь смазанным ничем, тусклым прозябанием. Ну всё, теперь-то поживём!

В Лешуконское вернулись только к вечеру. Ещё не до конца осмысливший произошедшую в жизни дочери метаморфозу, Иван суетился по дому,

озадаченный размещением гостей, столовых приборов, припасов и всего прочего. Он сразу заявил будущему зятю:

— Доча, Михаил, у меня одна, деньги имеются. И ты, товарищ жених, не сомневайся: всё будет как у людей. Со всеми хлопотами сам управлюсь, тебе скоро и так забот привалит.

Они пожили недели полторы в её доме. Как-то вечером, пока Зина разговаривала в палисаде с подругой, Михаил сел у подоконника и при свете белой ночи стал, подолгу задумываясь, перечёркивая и что-то шепча про себя, писать на листке в клеточку, вырванном из тетради. Когда Зина вошла в дом, он протянул ей заклеенный конверт, сложенный пополам:

— Зинуль, может, я и дурак, но вот это я написал в ту самую весну. Прочтёшь, когда меня не будет.

— В каком смысле? — С лица её сбежала улыбка, она приложила ему ко лбу прохладную ладонь. — Ты не заболел?

— Успокойся и вообще не принимай всерьёз. Так мы поедем ко мне на недельку? Надо квартиру посмотреть, да и вообще...

— Давай. Тем более что сейчас у меня каникулы. В сентябре будет не до поездок. Но жить, Мишенька, мы будем здесь. И не возражай.

— Даже думать не смею, не то что возражать.

* * *

Удивительно, но о том, что он оставил в своей квартире спящую женщину, Михаил вспомнил лишь тогда, когда «Икарус» подкатывал к городу. Сколько времени прошло с той ночи? Вечность плюс несколько недель. Нечего беспокоиться. Какое имя она прошептала она тогда во сне? А-а, да чёрт бы с ней, со Светой, всё это в прошлом, его надо забыть как кошмарный сон.

— И ты каждый день ходил по этой лестнице? Ну и ну! — покачала головой Зина, идя вслед за ним наверх.

— Что поделаешь. Ну вот и пришли, — Михаил достал ключ, сунул в прорезь замка.

Замок открылся после первого оборота. Ну, идиотка, подумал он, не могла уходя запереть по-человечески. Однако дело оказалось не в этом. Ещё стоя в тесной прихожей и помогая Зине снять плащ, он уловил запах жареной картошки, а сквозь разноцветное стекло дверного витража увидел включённый телевизор. На экране пошловатая Лайза Минелли совершала убогие телодвижения, напевая пошлейший шлягер о деньгах. И это взбесило Михаила больше всего. Он сказал отрывисто:

— Зина, подожди здесь, — и носком туфли отворил дверь.

Из кухни с двумя тарелками выплыла Света. Увидев его, она округлила глаза и прошептала с плохо получившейся радостью:

— Миша! Куда ты пропал? Мы тебя уж и не ждали...

— Вон отсюда! — прервал он её лепет.

— А как насчёт гостеприимства? — насмешливо спросил кто-то из комнаты.

В кресле развалился — чёрт подери, как же тесен мир! — тот самый качок, которого он выдернул не так давно из опея.

— Я не понял, — Михаил даже слегка растерялся от непредсказуемости ситуации. — Ты кто?

— Конь в пальто. По имени Дима.

— Миша, что здесь такое? — не решаясь войти, настороженно спросила Зина из прихожей.

— Ты смотри, Светик, а он не один, а с биксой приканал! — качок растянул губы в улыбке, но глаза его, узнавюще-неприятные, были холодны. — А ведь это ты, фраерок, мой опель позаимствовал и пятерых деловых замочил? Накатался? Ох, как тебя братва здесь ждёт! Ну иди сюда, крутой, — и не спеша стал вставать с кресла, опираясь на подлокотники.

Михаил с разворота ударил его в висок. Вместе с креслом тот упал в угол, но тут же, лёжа, выхватил из-за пояса пистолет, щёлкнул затвором и, целясь Михаилу в грудь, выпустил всю обойму.

* * *

Прикрыв шалью задремавшего отца, она пошла на крутой берег Мезени. Села на краю обрыва, стала смотреть на медленно текущую реку, на редких рыбаков, сидящих на заякоренных плоскодонках в заводи, на притулившиеся к подножию берегового обрыва железные будочки, где хранились лодочные моторы. Из кармана тёплого вязаного жакета вытащила сложенный конверт, а из него — листок в клеточку.

Геофизик Зиночка с глазами изумрудными,
Бродишь ты потерянно тропками безлюдными.
На мезенской пристани катера усталые
Прислонились к берегу, словно дети малые.

Знаю, чем печалишься этой ночью лунною:
Кто-то тихо пальцами тронул семиструнную,
И про расставания завёл с переливами.
Лунный свет в Мезень течёт струйками игривыми.

Село Лешуконское, кони деревянные,
Ширь тайги бескрайняя, запахи медвяные,
Сердце к сердцу ластится. Ой вы, ночи белые,
Ой, слова обманные, что же вы наделали...

На бумагу капнула слеза. Дальше читать не было сил. Она вытерла глаза, встала с сырой травы и пошла домой по тихой вечерющей улице.

Эльвира Частикова

Эльвира Николаевна Частикова родилась на Калужской земле, в усадьбе Павлицев Бор. Образование высшее (МГИК), заведующая читальным залом в центральной библиотеке наукограда Обнинска. Член Союза писателей России. Автор 22 книг, стихи публиковались в журналах «Этажи», «Москва», «Наш современник», «Волга», «Дети РА», «Зинзивер», «Футуром АРТ», «Журнал Поэтов», «ЛиФФТ», «Тритон», «Форум» (Канада), «Всемирный день поэзии» (Нью-Йорк), «Florida», «Медведь» и т.д, в газетах «Вечерняя Москва», «Новая газета»; в многочисленных альманахах и сборниках. Первый лауреат премии им. М. Цветаевой за поэтический сборник «С природы» (1998), лауреат Национальной премии «Культурное наследие» (2008) Министерства культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ.



В ЖАНРЕ КЛИПОВОГО ВРЕМЕНИ

Когда идёшь...

За время жизни
Так сильно истончается подошва,
Что с каждым шагом
Всё сильнее чувствуешь
Неровности дороги,
Трещины, опасные наросты,
Несобранные камни...

Урбанистам

Если брать пример с города,
Окаменеешь лицом.
Потому и надо активно использовать
Отпускное время,
Чтобы размягчаться на природе,
В лесах, морях и парках;
Или хотя бы
На своих четырёх сотках!
А в крайнем случае —

Возле дома в песочнице,
Где печёт куличики малышня.
На минуту присядь
Рядом на бортик...

Иван-чай

Зная о том, что в одну и ту же реку
Не войти дважды, вхожу в заросли
иван-чая
...примерно через десяток лет.
Помнят ли они меня
Своей генной растительной памятью,
Как я их — житейской,
Когда мой любимый
Целился в меня мощным фотоаппаратом,
Желая навсегда удержать рядом?
На том снимке я безмятежно улыбаюсь
Из розовой пены цветов
Своему будущему.
Неужели НЕ ЗНАТЬ —

И есть счастье?
Иван-чай — тут как тут
На рубцах земли, ранах, пожарищах...
Он не обещает вывести на верную дорогу,
Но успокаивает, подбирается поближе,
Не спрашивая, какая красота спасёт...
А вот такая — непроходимая
Во всех смыслах!

Зависимость

Свобода — тоже несвобода.
Скажешь дорогому человеку:
— Оставайся...
Без прочих слов,
отмахнувшись от рифмы,
чтобы случайно
не выскочили пресловутые
«любовь и кровь».
Но любовь не спрашивается,
и кровь сразу в лицо ударяет...

Из области доверия

Ты давно уже не видел меня спящей,
Лишив себя крайней степени
Моего доверия.
Зачем же порой пытаешься
Вытягивать из меня
Подробности моей жизни?
Чего уж, забывай себе,
Настраивайся окончательно!

Фестиваль — 2042

Приехать на фестиваль через двадцать лет,
В город, где и прежде это любили:
Стихи, гитару, вокал, общение...
Приехать и никого желанного не встретить
Даже среди престарелой публики,
Не найти, не узнать, не кинуться навстречу —
Сплошь незнакомые...
— А где же Ю? — спросить у ведущего.

— Давно не выступает,
Наверно, с правнуками.
— А наши постоянные: М, Д, С, Л, У?
— Не интересуются больше, значит...
Ничего себе —
Приехать в город через двадцать лет!
Даже не мечтаю!!!

Мандала

Подруга раскрашивает мандалу.
Ей не до моих откровений и эмоций,
у неё — холод Вселенной.
— Боже, как красиво! — сообщает она. —
Остальное сразу меркнет.
И я затихаю перед её размахом.
Понимаю, как это ответственно и трудно —
непостижимо даже —
для человеческой единицы.
Это — не слёзы размазывать от обиды,
не разговоры про «не так посмотрел»...
Глобально и увлекательно,
на уровне «быть выше» прочего!
Дух захватывает! Ещё бы!
Перед глазами — не какое-то время года,
а сама вечность!
Счастье — уже в попытке прикоснуться.
Мерцает, переливается, затягивает
по спирали
и настраивает на молитву и музыку.
Говорят, у каждого — своя Вселенная.
Подумать только — своя!
Значит, это творчество?
Да ещё какое —
на уровне сотворения мира!
Божье дело, по сути...

Мы и наши соседи

У русского везде — драма.
Он её мучительно исследует,
Затрагивая и побочные линии
Для понимания не только
Трагических обстоятельств,

Но и самого себя в надрыве.
 В каждом так или иначе
 Зарыт Достоевский,
 Жажущий докопаться
 От истоков личной травмы
 До всеобщего спасения мира.
 А взять, к примеру, китайца,
 Пусть не из повседневной жизни,
 Так хотя бы из литературы,
 У того же Юй Хуа или Мо Яня.
 Китаец держит лицо
 И кажется, на наш взгляд,
 Ровным, бесчувственным даже,
 Чего бы это ни касалось:
 Гонения на учителей, убийств,
 Истребления воробьёв,
 Человеческого бесправия...
 Герою надо идти дальше,
 Есть, пить, делать бизнес
 И по ходу ещё шутить.
 Жизнь продолжается.

В примирительном ключе

Хочется помнить только хорошее
 Ещё и потому, что оно проходит,
 Как это ни обидно.
 А остаётся обычно то,
 Что лучше поскорее забыть.
 Так мы сами
 И устраиваем своё будущее —
 По свойствам памяти
 И личным приоритетам.

Толкование карты

Каждая страна, область, город
 Напоминает с птичьего полёта нечто,
 С чем сразу хочется сравнить,
 Как Италию с изящным сапожком.
 Мне интересно с этих позиций
 Рассматривать карты и схемы.

Мир предметен, —
 Убеждаюсь я всякий раз,
 Поражаясь сходству Китая
 С курицей в огромном курятнике,
 Азербайджана — с диковинной рыбой,
 А Крыма — с сердцем
 (Наверно, поэтому так его любим).
 С чем же тогда у меня ассоциируется
 Родная Калужская земля?
 Да, боже мой, — с младенцем в ползунках,
 Осваивающим на четвереньках
 Своё первое пространство!
 — Давай, давай, — поддерживаю я,
 Наплывая сверху,
 как птица над детёнышем.
 Материнский инстинкт —
 Один из сильнейших
 ...с перехлёстом нежности.

Теплообмен

Эта афиша висит так долго,
 что певец на ней
 (по-нынешнему — «звезда» шоу-бизнеса)
 заметно состарился,
 утратил интерес к публике,
 да и к самой жизни.
 Погружаясь взглядом в себя,
 ликом — в собственную бороду,
 как в былую славу,
 он крепко замораживает музыку.
 Мне даже кажется,
 что и жив-то он разве что
 живописью ветра
 и паром от дыхания
 пробегающих мимо горожан.
 Я тоже, оказавшись рядом,
 делюсь с ним воздухом:
 выдыхаемыми тёплыми облачками...
 Ведь когда-то и меня
 согревали его песни.



Павел Никиткин

Павел Маркелович Никиткин родился в деревне Новосёлки Калужской области. После смерти родителей воспитывался в Азаровском детском доме в Калуге. Окончил Абрамцевское художественное училище и историко-филологический факультет Благовещенского педагогического института. С художественными работами участвовал во многих выставках в стране и за рубежом. Литературные произведения печатались в журналах «Амур», «Амур-батюшка», «Дальний Восток», альманахах и коллективных сборниках дальневосточных авторов. Автор романа «Русский берег» и нескольких книг рассказов, повестей, стихотворений. Член Союза российских писателей и Союза художников России. С 1974 года живёт в городе Благовещенске.

ЖИВИ, КОМАР, ЖИВИ!

(Охотничьи рассказы)

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Виктор Михайлович любил такие весёлые осенние утра, как сегодняшнее. Когда на восходе солнца иней серебрит травы, ветки деревьев, лежащие ровным штабелем у забора доски и тропинку, ведущую к «серебряным» воротам.

Вся пойма болотистого ручья, вдоль которого расположена деревня, хорошо просматривается с крыльца дома. Сейчас она укрыта белым пушистым одеялом инея, словно расшитым драгоценностями. Сверкает, переливается разноцветными огнями под первыми лучами солнышка, поднимающегося из-за тёмного таёжного угора.

За поймой лежат большие поля, по краям которых ровными рядами на фоне голубых, словно летних небес, золотом горят берёзы...

Красота! Дух захватывает!

Пройдёт два-три часа, и картина прямо на глазах изменится.

Лёгкий прохладный ветерок, таившийся до восхода в ближайшей роще, резво пронесётся волнами вдоль ручья, собьёт с трав серебро, сорвёт с нижних веток берёз золотые листья, уронит их на белую траву, поиграется с ними минуту и вновь побежит в открытую степь.

Скоро потемнеет тропинка, «отпотеет» пойма и всё станет серым, будничным.

Одинокое облако, словно отставшая от стада овечка, спешит укрыться за горизонтом, пугая своей тенью беспечно гуляющих по усадьбе кур. А те, глупые, словно от коршуна пригнувшись к земле, во всю прыть бегут прятаться под навесом.

Ближе к обеду испарится влага, посветлеют высохшие травы, и уже без ветра листья берёз сами будут осыпаться на землю. Наплывёт такая теплынь, что впору пиджак снимать и ходить в одной рубашке. Осень. Очень тёплая осень. К чему это?

Управившись по хозяйству, чтобы потом не отвлекаться, Виктор Михайлович вынес из летней кухни две табуретки, поставил аккуратно их одну к другой у ступенек крыльца и застелил старым серым халатом.

Сегодня у него день особый, можно сказать, праздничный. Сегодня день памяти.

Наступила пора перемирия с природой — осенняя охота по перу закончилась, а до зимней на копытных ещё целый месяц. Да и хватит ли его пенсии, чтобы вскладчину с товарищами купить лицензию? Сегодня охота — привилегия богатых. Ну да ладно... самая пора почистить ружьё!

Нет, Виктор Михайлович не держит подругу-пятизарядку в запустении. После каждой зорьки на озере он мягкой тряпочкой на шомполе прочистит ствол, оботрёт промасленной ветошью все доступные металлические поверхности, аккуратно уложит оружие в мягкий чехол. А «генеральная» чистка — это отдельный вопрос и отдельный для этого день, тогда начинается ритуал, подобный колдовскому празднику. Тут уж посторонитесь... Сейчас начинается другая жизнь. Воспоминания, заклинания, ворожба...

Весь прошедший сезон сплошной разноцветной картиной проплывёт перед глазами, все промахи и удачи проявятся в памяти, и настало время вести их строгий анализ. И возрадуется сердце ещё одному большому и объёмному — хоть и прошедшему — счастливому единению с матушкой-природой.

Ну вот и закончены приготовления — флакончик с ружейным маслом на месте, чистый кусок наволочки, отслужившей свой срок и принесённой в жертву хозяйкой по такому случаю, имеется — можно начинать.

Охотник медленно и бережно вынимает ружьё из чехла, осторожно и внимательно начинает его разбирать. Каждая деталь со всех сторон осматривается и укладывается на табурет.

— Деда, привет!

Это внук Ярослав возвращается из школы. Его путь проходит мимо дома деда, но он не может позволить себе не заглянуть сюда.

— Привет, привет... Что-то рано вас нынче отпустили?

— Как всегда... Мы же первоклашки — нас первыми и отпускают.

— Иди в избу, там баба Надя тебя угостит чем-то вкусеньким.

— Не, я лучше тут посижу, с тобой интересней. — Внук снимает тяжёлый ранец с книгами и садится на ступеньку рядом с дедом. Весь его вид — серьёзного, озабоченного человека.

— Деда, ты ружьё чистишь?

— Да, Ярик, чищу.

— А зачем ты его чистишь?

— Чтобы чистым стало, чтобы на охоте из-за какой-нибудь соринки или песчинки не подвело, чтобы дольше служило.

— А когда ты умрёшь, подарить его мне?

— Подарю... Куда же деваться? Может, и ты охотником будешь. Уроков тебе на дом много задали? — дед старается «переключить» разговор.

— Не, нам ещё не задают. А ты много уток из него настрелял?

— Много. И уток, и гусей, и коз, и кабанов...

— А медведей? Ты охотился на медведей?

— На медведей, Ярослав, я не охотился, но двух пришлось застрелить... случайно.

— Расскажи, деда, расскажи.

Дед откладывает в сторону цевьё ружья, поворачивается к внуку:

— Ты же всё равно ничего не запомнишь. Вот скажи: какую сказку Пушкина вчера вечером я читал тебе и Милене?

— Эту... как её? Про попа... Поп — толковый лоб.

— Правильно, только лоб не «толковый», а толоконный. И чем сказка закончилась?

— ??????

— Подсказываю: «Не гонялся бы ты, поп, за... де...»

— За девками! — радостно подскочил со ступеньки внук.

— Ничего-то ты не помнишь... Греховодник. Ладно, в следующий раз к Пушкину ещё вернёмся.

— Деда, расскажи про медведя, как ты на него охотился.

— На медведей, Ярослав, повторяю, я не охотился, но двух довелось застрелить.

— Как это?

— Было это давно. Как раз в тот год, когда меня в армию забирали. Тогда и лицензии на отстрел дичи были дешёвые и мы молодые и здоровые. У нас в таёжной деревеньке ребята с двенадцати лет охотничали. Конечно, у кого ружьё или винтовка в доме были. Перешёл ученик в пятый класс — уже взрослый. Раньше в нашей деревне была только начальная школа — до пятого класса. Чтобы учиться дальше, надо было ходить в Понягино, а это — девять километров тайгой. Вот ребята по очереди и брали с собой оружие. Девчата, конечно, всю неделю в Понягино на квартирах жили, а ребята каждый день туда-обратно путь отмеряли. Да...

Ну так о медведе. Как я уже сказал, мы были уже взрослые и состояли в обществе охотников. Была у нас лицензия на отстрел косули. У одного товарища — он был старше нас — даже имелся старенький ГАЗ-69. Машина такая... легковая.

Однажды собрались и поехали на охоту. Собак в тот раз не брали, чтобы не мешали охотиться самотопом.

— Деда, а это как?

— Это значит, что выгонять зверя на товарищай надо самим охотникам по очереди. Сейчас я стою на номере и жду, когда на меня выгонят зверя,

а потом переезжаем на другой участок, и уже я иду выгонять. Да... Загонщиком. В одном загоне раздался, прямо скажу, душераздирающий крик. Мы все заволновались. Вышли наши загонщики на просеку, и мы увидели, что один из них — Валентин — очень бледный, испуганный.

Оказалось, что он чуть не наступил на седуна. Седун — это медведь, который не залёг в берлогу — что-то помешало. Может быть, его берлогу занял более сильный медведь, — и потерпевший зиму вынужден провести сидя. Этот медведь нашёл неглубокую ямку, полусидя, полулёжа, устроился в ней и укрылся разным мусором: ветками, травой, мхом, а потом его замаскировало снегом.

Вот на него чуть не наступил наш товарищ. Испугались, конечно, и медведь, и загонщик. И ещё неизвестно — кто больше? На их месте каждый испугается.

— А почему не стрелял? — спросили Валентина.

— Куда?

— Не куда, а по медведю.

— Я и про ружьё забыл, когда передо мною вдруг возник этот взрыв... Фонтан из снега и мусора. Да и что бы сделала медведю козлячья картечь, которой заряжено ружьё? Тут пуля нужна.

Разбуженный среди зимы медведь становится шатуном. Всю зиму он будет шататься по тайге в поисках пищи, а её как раз и не бывает. Нет ни грибов, ни ягоды, и корешков из земли не выкопать, и к зверям нелегко подобраться незаметно — листвы на деревьях нет, и всё далеко просматривается. Медведь шатается голодным и злым. Тут на его пути не попадётся никто: ни человек, ни скотина. Исход почти всегда предсказуем — смерть.

Надо сказать, что случилось это недалеко от нашей деревни. А тут и люди в лес за сеном и дровами ездят, и ферма с коровами на окраине. Нельзя оставить зверя. Много бед может натворить. Большой был медведь.

Решили его добыть. По следам определили его местонахождение — отдельный от лесного массива околоч. Спрятался он там и не выходит. Окружили мы это место.

Отправился наш старший на машине в деревню. Привёз собак.

Собаки сразу пошли по следу и выгнали зверя прямо на меня. Пришлось стрелять. Это мой первый медведь.

— А второй? Ты, деда, говорил, что двух застрелил, — внук не отставал с расспросами.

— Второй попался совсем смешно...

— Расскажи, расскажи...

— Ехали мы с зимней охоты. Уже было почти темно, мы «клевали» носами, но наш водитель заметил на окраине леса тёмное пятно на дереве. «Ребята, посмотрите: это же не гнездо — слишком большое, да и не замечал я его раньше». Подъехали, посмотрели — медведь белогрудый. Сидит и головой ворочает. Пришлось и его пристрелить по той же причине, что и первого. Пропал бы он зимой. От голода бы пропал. Вот такие дела, Ярик. Суровы

законы природы, но справедливы. А специально на медведей я не охотился, хотя их в нашей тайге довольно много.

— Ладно, деда, ты чисти ружьё, а я пойду посмотреть, что вкусенького мне бабушка приготовила.

МЕДВЕЖАТНИК

В этот раз очередной отпуск мы с женой решили провести у родственников в одной из западных областей страны. Благо, хозяин семейства, как и я, тоже был заядлым рыболовом и охотником.

Зима в том году там стояла мягкая, с небольшими морозцами и кратковременными снегопадами. В первое время интересно было ходить на рыбалку, сидеть целыми днями на льду с мормышкой, вспоминать и рассказывать рыбацкие байки. К сожалению, дневной наш улов составлял десяток-другой уклеек, ёршиков и окуньков. Хорошо, что лёд толщиной был не более вершка и на сверление лунок сил тратилось немного.

Над нами и нашей добычей жёны посмеивались. Моя говорила:

— Неужели ты и дома пошёл бы на целый день за этой килькой?

Нет, дома, на Дальнем Востоке, в это время при наших морозах и более метровой толщине льда, за такой килькой я не пошёл бы. Избалован, наверное, более крупной рыбой, чем местные ёршики. От женских нападок мы с Василием отбивались шутками: не хлебом единым жив человек; время, проведённое на рыбалке, в стаж жизни не засчитывается; рыбалка даёт не только улов, но и хорошее настроение и здоровье и т.п. Оправдывались, как могли, но гораздо приятнее было бы удивить наших суженых добрым уловом... Но...

Со здоровьем мы поспешили, потому что через несколько дней я занемог. Сказалось долгое лежание на льду, когда высматривал добычу в сплетениях тины и других подводных растений. На пару дней рыбачить прекратили. Но об этом жалела, может быть, только кошка.

— Конечно, у вас там ловятся таймени, кета, ленки да хариусы, а нам приходится довольствоваться уклежкой да окуньком, — как бы оправдывал местный улов Василий. — Ничего, пойдём на охоту — там душу отведём.

После моего выздоровления решили с Василием переключиться на охоту.

Пошли.

Долго бродили по оврагам небольшой долины у речушки, по ольшаникам да ивнякам. Долго собаки-гончаки искали след дичи, изредка подавая голос, пока, незримые, не ушли со слуха.

— Лиса увела. Теперь вернутся вечером или завтра утром, — с сожалением сказал Василий.

Нравятся мне местные зимние пейзажи. Мягкие, в приглушённых тонах, тонко-колоритные. Но более десяти дней любоваться ими не могу. Не могу долго выдержать без солнышка. За три десятка лет я влюбился в природу Дальнего Востока и длительные разлуки с ней переношу

с трудом. Вот и сейчас то ли от бесполезной ходьбы, то ли от раннего окончания дня вспомнилась маньчжурская тайга, сопки...

Вышли в поле...

— Смотри, идёт наш знаменитый охотник, — мой родственник указал на одинокую фигуру среди поля.

— Мне кажется, что он стоит, а не идёт.

— Тогда пошли к нему. Всё равно мы без собак, как без рук, ничего не добудем. Поговорим со стариком. Ему приятно, и мы что-нибудь интересное от него узнаем. Алексеич — это такой охотник, такой охотник... В общем, родом-то он отсюда, местный, но за свою жизнь, где только не побывал, где не охотился. Всю жизнь, все молодые годы отдал охоте. И джейранов на юге стрелял, и медведей в Сибири не один десяток положил... Даже на белого медведя на Таймыре ходил. Короче, охотник-медвежатник. Про мелкую дичь даже рассказывать не будет. Вот теперь, на закате лет, вернулся в родные края и по старой привычке, вспоминая молодость, охотится только на зайцев.

Мы шли к старику, а он, словно памятник, в длинном брезентовом плаще, островерхой шапке, напоминающей шлем русского богатыря с картины Васнецова, стоял среди поля.

Подожли.

Дед не двинулся с места — окаменел. В одной трясущейся руке перед собой он держал аккуратный квадратик газетной бумаги, предназначенный для самокрутки, а вторая, опущенная долу, как бы указывала на рассыпанный по снегу табак и валявшийся кисет. На лицо его смотреть было стыдно и жалко. Голова дёргалась, губы тряслись, в глазах — старческие слёзы.

— Здорово, Алексеич, — приветствовал Василий.

— Здравствуйте, — в свою очередь сказал я.

Старик долго ничего не мог выговорить, потом трясущимися синими губами произнёс:

— Он... тут... тут он, — указал на след зайца.

Мы осмотрелись. Заячий след уходил в сторону леса. Но это был след уходящий, и начинался этот след в двух метрах от Алексеича, а входного-то не было. Непонятно...

— Он... тут, тут лежал. Я... я остановился закурить... а он... он снизу, снизу меня... как дал... как вдарил... Я не понял. Похоже, что наступил я на него, а он... он снизу в меня.

Мы долго смеялись, представляя картину, как заяц снизу под плащом, с перепуга бьёт старика.

А дед, махнув рукой и не поднимая кисета, неестественно мелкими шажками, словно ноги его в коленях были связаны верёвкой, засеменял в сторону деревни, оставляя за собой двойную борозду вспаханного ногами снега и неприятный запах.

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Выдался необычайно хороший предновогодний день. Солнышко светило так тепло и ярко, словно извинялось за вчерашнюю метель, словно забыло, что на дворе декабрь, а не март. С утра ощущалось такое возбуждение, что дома, в четырёх стенах, пребывать не хотелось.

Призывно и радостно звонит телефон. По-видимому, такое настроение не только у меня.

— Петро, ты что сегодня собираешься делать? Выйди на улицу, посмотри, какая погода. Может быть, это последний погожий денёк в этом году, — говорил мой старший приятель и спутник по таёжным вылазкам Сергей Данилович. — Есть предложение смотаться в тайгу и закрыть лицензию на косялю. Пропадает бумага... С сыном Денисом я уже говорил — полностью поддерживает.

Что я мог ответить?

— Через полчаса буду готов к выезду. Жду.

И вот катит наша машина по таёжной просеке, укрытой снежным пуховым покрывалом. По сторонам стоят белые берёзы, окутанные алмазными искрами инея, а в просвете деревьев небеса разливают синь. Такие же синие тени полосами пересекают дорогу и уходят по склону в распадки, словно там у них тайная встреча.

Обычно чёрные пятна на берёзах покраснели, украшая белые сарафаны деревьев. Сам снег, казалось, тоже сменил белый цвет на жёлтый.

Хорош денёк!

В душе праздничная благодать.

— На развилке, Денис, остановись — проверим правый березняк, — командует Данилыч.

Остановились.

— Ты, Петро, стань вон на тот угол рощи — будешь просматривать и падушку, и вот этот сенокос. Я пройду немного вперёд и стану под сосной. Буду караулить эту дорогу, а Денис — у него ноги длиннее, да он и моложе нас, — дойдёт дорогой до конца рощи и оттуда с шумом и криком прошерстит этот березнячок. Ну, с Богом...

Разошлись.

Примерно через полчаса со стороны Данилыча прогремело два выстрела. Всё! Загон окончен. Возвращаюсь на дорогу.

Мы с Денисом почти одновременно подошли к стрелявшему, но ничего, кроме звериной тропы, возле него не заметили.

— Эх, батя... Они же в десяти метрах от тебя прошли, а ты? Старый стрелок, — вздохнул Денис и направился мимо нас по следам косяля. Прошёл метров двести, махнул рукой и вернулся.

— Понимаете, ребята, — как бы оправдывался Данилыч. — Наваждение какое-то... Первым вышел козёл и посмотрел на меня таким взглядом... таким взглядом, что до сих пор руки дрожат... Всю мою душу вывернул своими глазницами. Ну я и смазал... Простите, ребята...

— Вот и закрыли лицензию, вот и добыли свеженинки к Новому году... Теперь тебе, батя, ружьё надо на стену вешать и писать стихи или мемуары, — не унимался Денис.

А я понимал Данилыча: зачем такой прекрасный день омрачать чьей-то смертью. Красота-то какая вокруг, Господи!

— Давайте, мужики, попьём чайку, но не из термосов, а вскипятим на коостре свежий и непременно к заварке добавим веточку багульника — для запаха, — предложил я отцу и сыну. Для разрядки обстановки.

ГОЛУБЬ

Этот рассказ я услышал из уст старого знакомого, почтенного возраста бывалого охотника. Давно это было, но до сих пор не могу поверить в его правдивость. Хотя... Чего на свете не бывает?

— Это было ещё в прошлом веке, — начал вспоминать Иван Фёдорович, — во времена совхозов и колхозов. Когда население из деревень ещё не разбегалось. Наша семья переехала жить в село Октябрьского района по причине назначения моего отца туда директором совхоза. Места для меня незнакомые. Учился я уже в девятом классе. Как рыбак рыбака, так и охотник охотника узнают сразу. Пригласили местные ребята меня поохотиться на косулю. Была поздняя осень, когда комья земли уже окаменели от мороза, а снег для полей и лесов небесная канцелярия, по свойственной ей забывчивости, не успела выделить.

До места охоты нас подбросил в тракторной телеге односельчанин. Охотились самотопом загонами. Случилось так, что я, как говорил один из товарищей, блуданул. Дело было к вечеру, начинало смеркаться, и я, по-видимому, где-то свернул не в тот распадок, что указали товарищи, и не вышел на номера.

Плутал до полной темноты. Даже луна, которая некоторых спящих людей заставляет бродить по квартире, в эту ночь не показала своё личико на небосводе. Хорошо, что в кармане был кусок хлеба с салом да коробок спичек.

Впервые ночевал в лесу у костра. Страху, конечно, натерпелся. Ведь местные ребята рассказывали: кто, где и когда добыл медведя, волка или рысь в здешних местах. Спал, если можно назвать сном короткое забытьё, у костра, подставляя то один бок, то другой к исходящему теплу. Ружьё из рук не выпускал. И только под утро уснул часа на два-три.

Утром вышел на перепаханное поле, посреди которого шла дорога. Всем известно, что у дороги два конца и каждый куда-то ведёт. Обрадовавшись такому повороту дела, ускоренным шагом направился по торному пути. И пришёл в берёзовый колок. Там стоял вагончик для полеводов, какие ставят на отдалённых полях. Дальше дороги не было. Зашёл в вагончик, а там — тёплая печь! Как выяснится потом, грелись от этой печи, лёжа на кроватных сетках, мои товарищи по охоте.

Оказывается, я крутился у костра буквально в двух-трёх километрах от них, но по другую сторону сопки. Обидно...

Коль один конец дороги закончился, то обратное её направление укажет на населённый пункт! Каким бы ни было расстояние, но уверенность бодрела. Дорога вела то полями, то перелесками, пересекая сопки и пади. Шёл около трёх часов.

В одном перелеске мне на плечо вдруг сел голубь. Белый, домашний голубь! Откуда он тут взялся? Я глянул вверх и увидел кружащего ястреба. Для его остротки я выстрелил вверх.

Голубь спокойно дался в руки. Сердечко его билось часто-часто. И нёс я его до следующего поля. Выйдя на поляну, я подбросил голубя вверх. И он полетел в сторону от дороги. И замечен он был только на фоне тёмной сопки, а поднялся выше — в белёсое осеннее небо — и пропал. Два раза мелькнуло белое пятнышко — и всё!

Свернул я с дороги и пошёл в ту сторону, куда улетел голубь.

Поднялся на сопку и — вот она, деревня!

Вот тут и подумаешь: кто кого спас?

Иногда семнадцатилетнему юнцу «во дни сомнений, в дни тягостных раздумий» нет-нет да и приходила тихая, никому не выдаваемая мыслишка: а голубь ли это был?

А вдруг?

КОМАР

Помните у Пушкина:

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи...

Комары... Кого они не кусали, кого не заставляли расчёсывать тело до крови? Как ненавидели мы их тёплыми летними вечерами... Кровопийцы! Какими ядохимикатами их только не травим... И мазями, и растворами, и дезодорантами, и дымом... Старушки в одной деревеньке на юге страны мне рассказали «секретный!» рецепт убийственной мази от этих паразитов: детский крем и ванилин. Но! Всё напрасно. По-видимому, наши дальневосточные комары не чета южно-европейским — они ядонепробываемые и иммунитетом покрепче. Их настойчивости и устойчивости можно только позавидовать.

Когда тёплым летним вечером в тишине чуть раздастся тонкая песнь комара, многие начинают паниковать! Размахивают руками, чуть не выворачивая их в суставах, ветками, платками... А кусаются, между прочим, только самочки...

Нервы, господа, нервы!

Сейчас середина октября. День выдался тёплым, почти летним.

Выехал я на закрытие охоты по перу. Вечер. Солнышко светит, а ноги, обутые в резиновые сапоги, мёрзнут от остывающей земли. Зорька прошла без выстрела. Вернулся в машину, а там — комар! Живой и жизнерадостный! Наверное, последний в этом году...

И вдруг я сравнил себя с комаром. По сути — братья. И я многим в этой жизни досаждал, и многие, может быть, и меня прихлопнуть были бы не прочь... И жизнь наша — длиною в день...

Когда увидел его летающим в машине, первым желанием, естественно, было прихлопнуть или изгнать... Потом передумал. Сейчас мне в одиночестве он показался старым добрым знакомым. Уже забыта обида на его сородичей... Ему тоже сейчас трудно. Пусть поживёт в тепле. На улице подмораживает. Вдвоём-то ночевать веселее. Может быть, он и песню мне свою споёт... Или уже не до песен? Ну ладно, брат, и так хорошо...

Живи, комар, живи!



Павел Тришкин

Павел Сергеевич Тришкин родился в 1981 году. Окончил КГУ им. К. Э. Циолковского. Работал учителем, менеджером. Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах Калужской области и России. Автор книг стихов «Птичий остров», «Помарки». Составитель молодёжного литературного альманаха «Зерно». Лауреат нескольких областных литературных премий. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

ПРОСТОЕ ЗНАНИЕ

* * *

Будущее идёт по следам учителя.
Учитель пробивает будущему дорогу.
Смотрящий вперёд должен помнить это.
Простое знание, не требующее много
ума.
Один человек строил школу,
Он вложил в неё все свои деньги и душу,
Но в городе не было учителей,
Пришли горожане и всё разрушили.
Тогда он поселился среди руин
И начал учить детей горожан,
А когда дети выросли, они сами
Возвели эту школу, назло глупцам.
Потому что будущее идёт по следам учителя.
Учитель пробивает будущему дорогу.
Имеющий разум должен знать это.
Простое знание, требующее многого.

* * *

Мы все умрём, когда-нибудь потом,
Ну а покамест — живы и бессмертны.
Как письма, не попавшие в конверты,
мы никаких ответов не дождёмся.
Поэтому в твоих глазах тоска,
которую уже никак не спрятать,
она тебе конверт без адресата,
а значит — не избавиться никак.

Но всё-таки не бойся, улыбнись,
нам шрамы достаются в поединках:
у губ твоих усталые морщинки,
ведь над тоской смеёмся мы всю жизнь.

* * *

Умер волшебник. Мой друг.
Не успел исполнить желание.
Превратился в заброшенные странички в соцсетях.
В его замке чудесном запустение и разруха,
его имя размыто в набегающих новостях.
Что там после осталось? Какие-то книги,
репосты глупые, неоконченные дела,
неисполненные желания,
волшебная палочка, упавшая со стола.
Теперь вот слышу, как твердят повсюду:
он был самый лучший из волшебников.
А я ничего говорить не стану,
потому что мёртвые, тем более волшебники,
не любят пустых разговоров.

* * *

Но мы пойдём по брошенным местам,
по выцветшему парку.
Куда бы я и заходить не стал,
когда б не память.
Перед глазами
чье-то там лицо,
уже не вспомню.
От многих остаётся только сон
в забытом доме.

В оставленных когда-то городах —
не возвратиться —
есть только сны.
И только в этих снах
нам всё приснится.

* * *

Уютного торшера мягкий свет,
И кошка спит, уткнувшись носом в плед,
Открыта книга на шестой странице.
В пузатой кружке ждёт гречишный чай.

Застыл вайфай. Но этот мир оффлайн
На многое ещё вполне сгодится.



Елена Фадеева

Елена Алексеевна Фадеева родилась в 1957 году в Оренбургской области. Окончила филологический факультет Оренбургского педагогического института. Работала в школе. Рассказы и юмористические истории публиковались в городских и региональных газетах, в литературном сборнике «На обнинских перекрёстках», газете «Поэтоград», журнале «ЛиФФт». Автор нескольких книг. Член Союза писателей XXI века. Живёт в Обнинске.

РАЗГОВОРЧИКИ

Разбитая лихой ездой маршрутка со странным дребезжанием подрулила к остановке у вокзала. К глубокому сожалению водителя, желающих ехать по данному маршруту на ней не оказалось. Он со скрежетом открыл дверь своего транспортного средства и в зеркале заднего вида внимательно рассмотрел полупустой салон. В нём, на последних рядах, сидело всего лишь несколько женщин-дашниц да худенький старичок с удочкой в руке. Решив для себя, что они никуда не торопятся, скандалить из-за задержки рейса не будут, маршруточник стал дожидаться очередной электрички, прибытие которой должно быть с минуты на минуту.

Вскоре из подземного перехода показался молодой человек, который при виде стоящей «двойки» перешёл на рысь, заскочил с разбега в маршрутку, крепко сжимая в руке свой сотовый телефон. Он оплатил проезд, уселся на свободное сиденье и тут же набрал номер. Ему ответили. Владелец телефона, не обращая внимания на сидящих за спиной людей, громко заговорил в трубку:

— Колян, привет. Ну всё, я уже сел в маршрутку. Встречаемся через полчаса в гараже, как и договаривались. Да, ещё карты с собой захвати.

Через паузу он возмущённо добавил:

— Что значит, какие? Контурные, блин. Реки и горы будем раскрашивать цветными карандашами в машине. Дошло? Ну, пока, — и отключился от связи.

В салоне пассажирки скромно похихикали над остроумным высказыванием молодого человека, немного скрасившего их терпеливое томление до прихода электропоезда, и вскоре затихли. Но тут к маршрутке подошли две старушки. Все с интересом стали наблюдать изнутри за тем, как весело они начали производить посадку. У первой, слегка полноватой, в нарядном платье с белым воротничком и даже с ридикулем в руке, быстро войти внутрь маршрутки не получалось. Она долго приноравливалась, боясь соскользнуть со ступеньки, шарила руками по раздвинутой двери в надежде нащупать прочную зацепку и при этом раскатисто смеялась, запрокидывая голову от удовольствия. Ей сзади, похохатывая, отпуская острые шуточки, помогала худоцавая

подруга, у которой длинная юбка то и дело путалась в ногах, вместительная сумка на согнутом локте тянула вниз, но это её не останавливало. Она сначала подталкивала нерешительную напарницу в спину руками, затем подпёрла плечом, страхуя от падения. Мужчина с телефоном попытался им помочь, но раззадоренные собственной неловкостью пассажирки категорически отказались от его услуги и упорно продолжали резвиться в дверном проёме, получая от этого сплошное удовольствие. Наконец загрузились. Места заняли недалеко от выхода. Отдыхались.

— Мотя, — обратилась, через паузу, полноватая дама к своей напарнице, — передай, пока стоим, мой проездной шофёру, пусть чиркнет им, где надо.

— Сейчас, Клава, я тоже свой достану и обслужу тебя по высшему классу.

Но водитель был не рад провозу пассажирок за безналичный расчёт. Он начал невнятно объяснять, что сломался считывающий аппарат, и за проезд нужно платить только наличными деньгами. Мотя с невозмутимым видом поднялась с сиденья, заглянула к нему в кабину и участливо поинтересовалась:

— А ты чего это, миленький, расстроился, даже губы скривил? Работа надоела? Так мы с Клавой можем подсобить. Позвоним сейчас в мэрию, расскажем, как ты нас не захотел везти по проездному и всё, свободен. Сегодня какой день, Клава?

— Пятница, — живо откликнулась та.

— Ну, значит, в выходной уже будешь гулять на свободе. Рад, небось?

— Ладно, сидите, — хмуро ответил водитель.

— Вот, другой разговор, — усмехнулась находчивая Мотя и вернулась на место.

Сидящие в салоне пассажиры были поражены, с какой лёгкостью, не раздувая конфликта, пожилая дама в шутливой форме решила свою проблему и зарвавшегося перевозчика поставила на место.

Дальше следует отметить, что приход электрички так и не прибавил ожидаемых пассажиров. Злой водитель закрыл скрипучую дверь и на высокой скорости двинулся по маршруту, навёрстывая упущенное время.

К этому моменту старушки убрали в сумки проездные билеты, кокетливо поправили реденькие причёски, затем продолжили вести разговор, начатый на улице.

— И всё-таки, как хорошо, Мотя, что мы с тобой сегодня встретились, — с теплотой в голосе проговорила Клавдия, обмахиваясь кружевным платочком. — Видать, сама судьба свела нас ещё раз. Сколько воды утекло с тех пор, когда мы дружно, одной большой семьёй жили в тесной коммуналке. Праздники справляли сообща, в очередях друг за друга стояли. А помнишь, как ругались с соседом-алкашом из-за дежурства на кухне?

— Да, перевоспитывали его на разный манер, только мыть всё равно самим приходилось, — смеясь, подтвердила Матрёна, при этом ближе наклонилась к подруге, чтобы та лучше слышала её ответ.

А внутри салона шла своя, не прекращающаяся жизнь. Шумная маршрутка то разгонялась, то притормаживала, следом скрежетала несмазанная дверь. По проходу сновали озабоченные пассажиры: одни суетливо

выходили, другие заходили, кто-то вежливо просил передать за проезд. И только две старушки выпали из этого круговорота. Они настолько были погружены в свои воспоминания, что ничего не замечали вокруг и с упоением продолжали ворошить своё прошлое.

— А на 7 ноября, помнишь, как весело было? Мимо трибун в колонне с предприятием пройдем, флажки сдадим кому надо и в лес на гулянье целыми компаниями отправляемся, — слышался пассажирам сдавленный говорок Клавдии. — Один раз мне Николай велел на праздник взять с собой бутылку крепкого самогона, покрашенного под коньяк чайной заваркой, для веселья. А я перепутала её с растительным маслом. По цвету они не отличались, да и заткнуты обе были скрученной газеткой. Ну вот мужики уселись в тот день на поваленной берёзе, разлили «крепкий первачок» по рюмкам, хватанули до дна и, гляжу, быстро по домам засобирались, срочные дела у них нашлись, некоторые прямо бегом побежали. Мы с бабами, считай, одни остались на поляне и не могли толком понять их странного поведения. А потом мне дома супруг так доходчиво объяснил суть дела, что я у вас ночевала две ночи подряд. Но это раз в жизни было, оплошала я маленько. Сейчас бы всё вернуть назад, да не получается. Или взять, к примеру, 1 мая. Всё вокруг цветёт, тепло, на душе радостно, ведь молодыми ещё были, вся жизнь впереди.

— Нам есть что вспомнить, — вторила нараспев её подруга. — Жаль, что время не стоит на месте. Просочилось, как песок сквозь пальцы. Дети повзростали, разлетелись кто куда. Ты, говоришь, тоже овдовела. Скажи, а с кем сейчас живёшь?

— С внуком. Хотя постоянно он живёт у родителей, но ко мне часто навещается, а в день получения пенсии, как штык является. «Баб, — говорит, — отстегни мне маленько».

— Да кто ж тебя, Олег, каждый раз так пристёгивает, что только я могу отстегнуть? — говорю ему. А он смеётся в ответ. Так, парень хороший, в аптеку иной раз сбегает, продукты купит, когда попрошу.

— И что, даёшь ему с каждой пенсии деньги?

— Даю, а куда деваться. Я же квартиру свою на него оформила, а с хозяином надо ладить. Начнёшь шибко кочевряжиться, а он возьмёт да на дверь укажет и пойдёшь, на старости лет по электричкам с песнями. Бывали же такие случаи. Вот только память у меня стала подводить, я слова в куплетах местами забываю и голос не тот. Думаю, много не накидают такой певице.

Старушки вразнобой захихикали над Матрёниной шуткой, с опаской посматривая в сторону молодого мужчины с телефоном, боясь разгневать его своей неуёмной болтовнёй. Но тот молчал, делал вид, что ему очень интересны виды за окном. Тут расспрашивать подругу принялась Матрёна:

— А сама-то, Клавдия, с кем живёшь? Ведь у тебя дети, я слыхала, далеко уехали. Одна, небось, кукуешь?

— Ну что ты такое говоришь, Мотя. Я с МЧСом время коротаю.

— А кто это?

— Мужчина такой, самостоятельный, заботливый. По три раза на дню, а то и больше мне на телефон пишет, что, мол, осторожно по улице иди

Клавдия Ивановна, ноне гололёд, это когда зима была. Летом про дождь напишет, про порывы ветра не забудет напомнить мне. Иной раз ночью подушкой телефон прикрываю, чтобы спать не мешал.

— А лично с ним не встречалась?

— Нет, боюсь, разочаруюсь. Я с годами капризная становлюсь.

Старушки снова засмеялись, а ещё громче молодой мужчина, которому, как оказалось, было очень интересно слушать их забавный разговор. Они втроём переглянулись и поняли друг друга без слов. На следующей остановке в салон вошла гучная пожилая дама и, тяжело дыша, мешком плюхнулась напротив разговорчивых подруг.

— Ой, Саня, здравствуй, — обратилась к ней Клавдия, узнав в новой пассажирке свою соседку. — Куда это ты сегодня разогнала? Я думала, что дальше скамеечки у дома ты не гуляешь?

— К своим ездила в гости.

— К кому это, своим?

— К дочери с сыном. Они же у меня в Москве живут.

— Вот так новость. Никогда не слыхала про них. А что ж дети сами не навещаются?

— Им некогда. Больно занятые люди. Сын у меня самый богатый в столице человек. Много недвижимости прикупил, машин всяких. А ты сама когда-нибудь в Москву ездила? — вдруг задала неожиданный вопрос соседка.

— А как же.

— Около вокзала самый высокий дом видела?

— Там, вроде, выше всех была гостиница? — с трудом припоминала Клавдия подробности из последней поездки, что случилась лет пятнадцать, а то и двадцать назад.

— Вот она теперь его, моего сына, — заявила соседка, довольная тем, что нашёлся свидетель, лично видевший эту высотку. А поскольку Саня сидела лицом к пассажирам, то её просто распирало от важности и значимости. Говорить она предпочла громко, чтобы даже старичок с удочкой на заднем сиденье хорошо слышал разговор.

— Это когда он успел так разбогатеть? — живо заинтересовалась Клавдия.

— Давно, ещё в девяностых годах. Помнишь, тогда в газетах писали и по телевизору показывали, как в одном дорогом ресторане кучу «крутых» мужиков перестреляли. Это он проделал, самолично. Потом все их деньги, несметные богатства себе в сумку собрал, понакупил домов, гостиниц и живёт припеваючи. Уж как я его, паразита, за эти дела ругала, а он молчал, но дело делал. Настырным был с малолетства.

— А что ж тебе не помогает богач-то?

— Ну как не помогает... Вот когда приеду к нему в Москву, зайду в гостиницу, меня сразу приглашают на кухню, как мать хозяина. Накормят от пуза, с собой дадут, и я, довольная, разворачиваюсь, сажусь на электричку и домой, сытая, возвращаюсь. Плохо ли?

— А сына-то видишь? — допытывалась Клавдия.

— Редко. Он меня, если встретит иногда в коридоре, поздоровается и бегом в кабинет. Дела не ждут. Его контора на самом верхнем этаже находится, туда на лифте важные господа по специальным пропускам поднимаются. Во как!

— Ну а дочь кем работает?

— Она у меня в государстве трудится. Вместе с Лавровым, важные вопросы решает. Когда телевизор будешь сегодня смотреть, обрати внимание, если за спиной у Лаврова промелькнёт женское лицо — это моя дочь.

— А она тебя часто в гости зовёт?

— Ещё реже, чем сын. У неё секретность большая. А потом, её министр часто на Лубянку сажает в пыточную камеру. Ты, говорит, не обижайся, но государственная работа требует проверки на честность. Специально обученные люди попытают её с неделю, другую и отпускают, зато премию хорошую получает. А уж когда мы с ней созвонимся, договоримся встретиться, то я сажусь на электричку и доезжаю до определённой станции. На перроне меня её охранники всю обыщут, сумки проверят, а потом только дочь подходит.

— А зачем тебя проверяют?

— Чтобы «жучков» на мне не было, разговор наш не могли прослушать за границей. Потом мы с ней спускаемся к речке или на поляне усаживаемся, подальше от людей, и пируем на славу.

В это время послышался сдавленный звук пришедшей на сотовый СМСки.

— Ой, телефон задребезжал, — встревожилась соседка, судорожно роясь в сумке, — кто же это?

— Никак дети беспокоятся, — предположила Клавдия.

— Нет, это МЧС пишет, дождь обещает, — с грустью в голосе проговорила Саня, прочитав сообщение. Затем тяжело поднялась с сиденья и, дождавшись полной остановки, медленно покинула салон маршрутки.

— Какая судьба у человека тяжёлая, — с сочувствием произнесла Матрёна, когда дверь захлопнулась и они поехали дальше. — Двое обеспеченных детей, а толком даже поговорить с матерью у них не получается. Нам ещё грех жаловаться на своих.

Клавдия внимательно посмотрела на подругу, будто первый раз видит, затем с запалом принялась отчитывать её, как школьницу.

— Вот ты, Мотя, как раньше была наивной, так и сейчас осталась. Какие богатые дети, какие пытки в камере и угощения на поляне? Врёт соседка нагло, а ты всему веришь. Мозгами-то пораскинь маленько. Ничего этого у неё и близко нет, от безделья насмотрится разных передач по телевизору, потом плетёт, что попало.

Растерявшаяся Матрёна молчала, а Клавдия поднялась, взяла её под локоток и повела ближе к двери, давая на ходу последние наставления.

— А, главное, Мотя, ты обязательно сегодня со своим МЧСом разберись. Слыхала, он и моей соседке пишет про дождь. Распутный мужик какой-то оказался или аферист. Он уже вас двоих обхаживает.

Тут маршрутка начала притормаживать. Подруги двинули к выходу, но молодой мужчина с телефоном их опередил и на правах посвящённого в семейные тайны попутчика с большим удовольствием помог им выйти на остановке. На сей раз они были не против.

Евгений М'Арт

Евгений М'Арт (Евгений Александрович Годько) — поэт, переводчик. Родился в 1977 году в городе Обнинске Калужской области. Принимал участие в обнинской поэтической группе «Шестое чувство», московской авангардистской «Другое полушарие», Союзе писателей XXI века. Публиковался в журналах «Изысканная словесность», «Дети РА», «Зинзивер», «Истоки», «45-я параллель», «ТРАГ» и др. Соавтор двух книг свободных стихов и аудиокнижки «Узнаю я их по голосам». Автор книг стихов «Ответный Визит», «Город без времени» (в переводе на боснийском) и короткометражного фильма в жанре видеопоззии «МЕТРШТОК ДУШИ».



ОСТАНОВИВ ВЗГЛЯД НА НЕБЕ

На смерть поэзии

Время воздать почести Поэзии!
Жаль, не могу прийти.
Я бы посмотрел на это...
И возложил бы свежие стихи.
И водрузил бы белый лист,
как флаг,
и горько сдался бы Забвенью.

Но мне был знак —
всё возрождается однажды.
Ну что ж, Родимая, покойся на задворках
в свой виртуальный медный век!
Тебя сожгли за праздничным столом
ТВ и сети.

Как скоро ты пройдёшь чрез воды Стикса
и обновлённой возвратишься
очнуть от праздности сей мир?

Поэт — юродивый

закидывает стихи за спину —
прилепляются они между лопаток,
машут, словно они — крылья,
грудь то ли выпирает, то ли корёжит
то ли от гордости
то ли от горбости
то ли от мук сердешных
то ли от сердца большого
большого, тяжёлого сердца —
потому и не взлетает поэт

так что не говорите, что он — святой...

Последний

вот прилетел камень
вот вылетело окно
вот залетело слово, которое резануло слух
и ранило сердце
вот последние люди, которые
образовали толпу
вот новая толпа, которая не образовала
людей
вот человек, который посмотрел
на толпу из окна
вот повод что-то себе подметить
вот минута жизни взять листок бумаги
вот мгновение слова войти в вечность
вот всё — что осталось последнему
человеку...

* * *

Скажите завтра всем, что я умер,
а тело... Какое дело мне до тела?
Оплакивайте так, как будто
с небес смотрю на вас,
не говорите никому,
что за углом тихонько ожидаю

— не оставляю
попыток
быть признанным
при жизни.

Вещь

из всех вещей
которые теперь уходят из нашего дома
ты хотела, чтобы я не уходил.

похоже ты недооценила
Что́ я смогу увидеть ни на что не глядя
расслышать запрещённое
к произношению
наверняка не зная — ощутить

вот и сейчас ещё лежат на моих
полочках
недозабранные вещи
а ты и не подозреваешь
что они всё чувствуют
ничего не понимая
кроме одного
— ничто не хочет остаться
на память

Тэзисы о разлюбови

Есть День Влюблённых, нет ни дня
у Разлюбивших.
Если полюбить — это женственно,
разлюбить — это мужественно.
Любовь порой даётся даром,
разлюбовь — всегда вымучена.
Любовь свободу ограждает,
разлюбовь — требует.
Не сможет разлюбить тот, кто
не способен вынести свободу.

* * *

вода оформлена
в кувшин

горная река
переполнена водой
можно её черпать

любовь оформлена
в сердца людей

помню людей
с горной рекой в груди
чья любовь переполняла
кувшин меня...

* * *

Остановив взгляд на небе,
четырёхлетний малыш сказал:
«Папа, я кажется задумался...»

Коллекция

верблюды
веру блюдут,
что нет на свете лучшей жизни,
чем пустыня

* * *

Чинил стол — сломал стул.
Решил постирать бельё —
полинял пододеяльник.
Жарил картошку — пережарил лук.
Купил цветы — разбил вазу.
Накрывал на стол, уронил две свечи,
поджёг дом.
Сажу на пепелище, пишу стихотворение
— покажу его жене первым.

Вере Ч.



Никита Сорокин

Никита Андреевич Сорокин родился 9 июня 2001 года в Калуге. Закончил Калужский областной колледж культуры и искусств по специальности «Живопись». Сейчас учится во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. Герасимова по специальности «Режиссёр игрового кино», мастерская А. А. Эшпая.

Я ВЛЮБЛЁН

Люблю неожиданные повороты в жизни, особенно когда вначале их не замечаешь.

Однажды, листая ленту в инстаграме, я попал на профиль одной балерины Большого театра. Подписчиков у неё было много, около двухсот тысяч, и даже галочка стояла как знак знаменитого человека. За один вечер я зачем-то пролистал весь её профиль, а это чуть больше тысячи фотографий. На следующий день сделал то же самое. Потом в свободное время тоже заходил посмотреть на неё. Но зачем? Такой вопрос возник после трёх дней проведённых с ней.

«Нет, не может быть, Никита, ты не мог влюбиться в девочку из Инстаграма, — сказал я себе. — Тебе просто интересен балет».

И включил самый знаменитый балетный спектакль. Но как ни заставлял себя смотреть представление, попытка не удалась. Я снова почувствовал, что непреодолимо хочу посмотреть на неё. Пришлось признать очевидное: я влюблён.

Долго оставаться один на один с этой мыслью я не мог, решил рассказать своему верному другу. Выбрав момент, начал так:

— Даня, тут такая ситуация... Я знаю, что это бред и сам себе не могу поверить. Это ненормально, но всё же попрошу тебя отнестись серьёзно. Мне просто нужно, чтобы кто-то со мной разделил это...

Пока я распинался перед ним, он меня ни разу не перебил, что странно для него. Обычно Даня в таких случаях говорит:

— Перестань мусолить!

Но в этот раз он молчал, и лицо его выражало полное недоумение.

— Короче, я влюбился в балерину из Инстаграма, — сказал я решительно.

— Чего...? — с удивлением спросил Даниил, добавив ходовое матерное слово.

— Да! Вот так! — встал в защитное положение я. — Её зовут Станислава. Мне нравится её музыка, её фотографии, у неё тонкий художественный вкус, и, вообще, всё, что касается её, мне кажется прекрасным.

— Да, Никит, это действительно бред. Ты подумал, что между вами большая дистанция? Нет, я не про расстояние. Чем, по-твоему, ты будешь ей интересен?

Этот вопрос — лучшее, что я мог ожидать: друг допускал возможность нашей встречи.

— Да мало ли чем! Например, она раньше увлекалась живописью, а ты ведь знаешь, что я в этом силён, — нашёлся я.

Даня посмотрел на меня как на наивного ребёнка, коим я и был в тот момент.

— Нет, ты не понял. Между вами большая социальная дистанция.

А ведь друг был прав. Я, девятнадцатилетний мальчик, в то время оканчивал третий курс провинциального колледжа, где учился на живописца. А она балерина Большого театра, главного театра балета нашей страны, к тому же на три года старше меня. Она к своим годам добилась такой высокой ступени в своей профессии, что ей уже не о чем мечтать. А у меня непаханое поле впереди.

— Я буду поступать во ВГИК! На режиссёра, — сказал я.

После этих слов Даня посмотрел на меня уже точно как на сумасшедшего.

Тогда я думал, что самый доступный для меня социальный лифт — творчество. И если я стану режиссёром, то буду с ней если не наравне, то хотя бы рядом. И однажды приглашу её сниматься в моём фильме, после чего мы обязательно продолжим общаться. Всё казалось безумно простым и логичным.

— Ну и как ты туда поступишь? Ты ещё даже колледж не окончил — у тебя нет ни среднего специального образования, ни среднего общего. К тому же ты думаешь, что там простые экзамены? — увещевал меня друг.

Но я был настроен решительно:

— У меня до поступления есть месяц: куплю курс и подготовлюсь. А с образованием разберётся.

После этих слов Даня отвернулся и тяжело вздохнул. В его вздохе читалось: «С кем я общаюсь? Слабоумный и отважный...». А вслух сказал:

— Покажи мне её хотя бы!

Я показал ему её лучшие фотографии, где она грациозно стоит в разных позициях. У неё худое изящное тело, маленькие и аккуратные черты лица, большие тёмные глаза. Фотографии, где она улыбается, я решил не показывать, у неё были несколько кривые зубы. Но даже это было не изъяном, а изюминкой.

— Это же копия Лизы! — уже закричал Даня. И дополнил чуть спокойнее:

— Только анорексичка.

— Ну, возможно, что-то есть общее, — спокойно ответил я.

Лиза — это моя бывшая девушка, которую я очень любил. Мы с ней встречались с пятнадцати лет, четыре года. Но сейчас не время вспоминать прошлое.

Я решил действовать. Мечты — это, конечно, хорошо, но как-то нужно их реализовывать. За пару дней я нашёл работу, чтобы заработать на поездку в Москву. Работа состояла в том, что я ходил вместе с другом Жорой по квартирам пенсионеров, и мы помогали им проголосовать. Тогда, в конце мая, были

выборы депутатов местной власти. Мы пошли волонтерами за 1000 рублей в день. Нам выдали планшеты с базой данных и бумаги с адресами домов. Мы с 10 утра до 19 вечера обходили все дома соседнего района. Так работали целую неделю. У нас был неординарный тандем. Я ходил с длинными рыжими волосами, в яркой оранжевой рубашке и красных ботиночках. Жора был, наоборот, во всём чёрном. Длинный плащ, шляпа с широкими полями, трость для важности и грязные туфли. Наверно, из-за нашего внешнего вида бабушки не всегда открывали нам двери. Но многие, к нашему удивлению, даже зазывали пройти к ним в дом и попить чаю, от которого мы любезно отказывались.

Много было интересных встреч.

Одна бабушка носила большие круглые очки с толстыми линзами. Её штаны были перевязаны бельевой верёвкой. А все документы и даже телефон она хранила в целлофановых пакетиках. Эти пакетики бабушка держала в разных тканевых мешочках, которые также перевязаны бельевой верёвкой. В целом она сама была похожа на перевязанный ниткой мешочек. Маленькая, коренастая и безумно добрая.

Ещё была бабушка-зазывала. После того как мы пришли к ней помочь проголосовать, она отправилась с нами обходить оставшиеся подъезды дома, принуждая соседей к сознательности и активной гражданской позиции. Бабушка лично звонила в каждую квартиру и каждый раз говорила:

— Это голосование. Открывайте. Мы идём к вам!

Но были и печальные случаи с пенсионерами.

В предпоследний день мы пришли к одной совсем пожилой бабушке. Ей было лет 85. Как и у всех, мы попросили у неё телефон, так как на него должно было прийти смс с кодом. Но на это она нам сказала:

— Я не знаю, где он. Может, потеряла, а может, украли. Я же старая, совсем доверчивая. А вы пройдите ко мне, заходите-заходите. Позвоните мне, да поищите его у меня в квартире — может, найдёте.

Отказываться было неудобно. Мы прошли на кухню, стены которой были покрашены зеленой масляной краской. Там стояла маленькая советская газовая плита на тонких ножках, одна конфорка была включена. У окна был стол, на нём аккуратно разложены вряд несколько купюрок и пара десятков монет разного номинала, вплоть до пяти копеек. На одной стене крупными чёрными буквами написано: «Никому не открывать! Отвечать только на номер «ЮЛЯ». В магазине покупать только продукты». Старушка дала мне записанный на бумажке номер. Я позвонил, друг начал делать вид, будто ищет телефон, но тут же в трубке прозвучал мужской голос:

— Алло.

— Это телефон Софии Николаевны? — спросил я.

— Не трогайте её. Она ветеран войны. Уходите вон, оставьте бедную старуху. Я сейчас полицию вызову! — раздался агрессивный крик.

— Извините, — пролепетал я и отключил телефон.

Мы поняли, что нужно оттуда уходить. Второпях мы спросили Софию Николаевну, за кого она желает проголосовать, и на бумаге с номерами домов и квартир поставили галочку, будто мы отметили её голос. Она нас

поблагодарила и неспешно проводила до выхода, где мы обулись, даже не завязав шнурки, и быстро смылись.

Немного отдохнув, мы позвонили в следующую квартиру, этажом ниже. Нам открыла бабушка примерно такого же возраста, как и София Николаевна. Мы предложили женщине проголосовать. В ответ она нам сказала:

— Внучки, я совсем не разбираюсь в этом, проголосуйте за меня — только за того, кто против войны. Мы с Софией Николаевной из девяносто девятой квартиры в детстве вместе войну пережили, она была контужена. Сейчас она уже всё, а я ещё не совсем. Поэтому я вам скажу: война — это очень страшно.

Мы не знали, что сказать. Нам оставалось лишь разыграть сценку, что мы отдаём её голос за самого миролюбивого депутата.

Так мы проходили целую неделю, знакомясь с разными бабушками и дедушками. Каждый день я получал свою тысячу рублей и откладывал. Во мне просыпалось чувство целеустремлённости и верилось, что Станислава уже близко.

Наконец-то я накопил свои миллионы. Осталось всего-то окончить курс и успешно поступить во ВГИК. И тогда мы со Станиславой встретимся уже к Новому году. К поступлению я готовился ответственно. За неделю пробежался по истории кино. Пересмотрел из рекомендуемого списка некоторые фильмы Феллини, Довженко, Тарковского и Параджанова. За пару недель написал творческую папку. А фотографии вообще сделал за один день: пошёл, купил плёнку и к вечеру сдал её на проявку. В тот день, гуляя по городским улочкам и занимаясь фотоохотой, я представлял, будто провожу Станиславе экскурсию по своему городу. Я ей показал свои любимые дворики, главные достопримечательности города и даже отвёл в лучшую кофейню. Признаться честно, я не люблю кофе, но ради Станиславы...

Вечерами я встречался с Даней, мы брали по пиву и шли на спортплощадку. Эта спортплощадка видела много наших разговоров, споров, слёз, шуток и даже один раз драку. Мы собирались на ней как древние греки на симпозиум. Даня читал стихи, мы придумывали рассказы, обсуждали мои живописные работы. А однажды поставили «Чайку». Шучу, конечно. Это был всего лишь один небольшой фрагмент чеховской пьесы.

В этот раз спортплощадка пережила обсуждение моей творческой папки. Июньской ночью мы спорили до шести утра. За ночь мы её переписывали несколько раз, я успел передумать поступать, потом снова надумал, потом мы погадали на картах на Станиславу, потом — на поступление.

Так завершился мой подготовительный период. Ну почти. Я забыл, что у меня нет оконченного образования. Но не растерялся. Я пошёл в колледж и взял справку о том, что изучил программу 10–11 класса. Бухгалтерия очень удивилась моей просьбе. Такую справку обычно выдают зимой — тем, кто идёт сдавать ЕГЭ. А я сказал, что с ней я собираюсь поступить в институт.

И вот документы и папка были отправлены в институт. Начался тяжёлый период ожидания. Прекрасные фантазии сменялись грустными мыслями и наоборот. Я гулял по городу без дела. Набравшись терпения, заставил себя больше не думать про Станиславу, пока не узнаю результатов. Но выдержки мне не хватало. Мне хотелось с ней встретиться раньше, чем я буду этого достоин. И я решил узнать, где она живёт.

В это время она как раз выложила много домашних фотографий. Присмотревшись, я понял, что, скорее всего, она живёт в панельном доме. Фотографии часто были отмечены на станции метро Фрунзенская или возле Усачёвского рынка. Ещё мне попалась фотография, сделанная в её подъезде. Там панели стен выложены нестандартно. Одним рядом шли квадратные плиты, другим прямоугольные. Я быстро нашёл тип дома с такой кладкой панелей. Это оказалась четырнадцатизэтажка серии И-209А. Такие как раз строили в её районе — в Хамовниках. Я зашёл в Яндекс-карты и открыл панораму улиц. Только два таких дома находились в этом районе. Оба стояли на улице Усачёва. Первый по адресу Усачёва, 4, а второй по адресу Усачёва, 40. Но в четвёртом доме подъезд выкрашен в зелёный цвет. Значит, она живёт в сороковом, где, как на её фотографии, стены розовые. Мне осталось только узнать квартиру. Если учитывать вид из окна, то можно определить, что квартира её не ниже пятого этажа, а исходя из планировки, можно понять, что номер кратен семи. Так, исходя из планировки дома и фотографий Станиславы, я понял, какая у неё квартира.

Этой информацией я похвалился перед друзьями. Они уже должны были привыкнуть к моей болезни, но нет, теперь я для них стал просто маньяком.

Две недели я сидел без дела в ожидании результатов. Однажды вечером мама мне сказала:

— Да забей ты уже. Хочешь, можешь пойти погулять с друзьями, выпить. Отдохни.

Я согласился. Мы встретились с Даней и Жорой. Поговорили обо всём, в том числе и о Станиславе. Но ничего интересного в этот вечер не произошло. Мы культурно выпили и разошлись.

Утром мне нужно было в ЖЭК за выпиской из домовой книги для мамы. В ожидании своей очереди я сидел на лавочке уставший, с больной головой. Вдруг зазвонил телефон. Вместо обычных циферок мой телефон определил номер как «Всероссийский государственный институт им. Герасимова». Волнуясь, я поднял трубку.

— Здравствуйте. Это Никита Сорокин?

— Да, — пытаюсь сохранить спокойствие, ответил я.

— Вы вместе с папкой прислали справку. А диплом у вас будет?

— Будет. Но только через год.

— Это как?

— Понимаете, я сейчас только на третьем курсе и ещё не окончил колледж.

— К сожалению, мы тогда не сможем принять вашу папку. Единственное, что можем порекомендовать, это записаться на курсы.

— Спасибо, — ответил я бодро.

Но на самом деле, я не выдержал и сдался. Мои надежды рухнули, как и мечты о Станиславе. Хотя я мог ещё продолжать врать себе, но неделя за неделей мои чувства к ней угасали. Точнее, нет. Они порастали коркой, которая уже не тревожила мне сердце так сильно.

Но как мы все знаем, теперь я тут, во ВГИКЕ. И моя история пока не имеет конца.

Станислав Еленский

Станислав Валерьевич Еленский — поэт, видеограф. Родился в 1981 году в Калуге. Стихи публиковались в альманахах «ПОСЛУШАЙТЕ!», «Зерно», «Облака». Участник фестиваля современной поэзии и музыки «Тарусские грозы».



ЭПОХА-МЕЖСЕЗОНЬЕ

* * *

в осенней экспозиции окна
пылятся разговоры и тетради.
гниёт листва, сорвавшаяся за день,
в сыром остатке выцветшего дна.
швартует вечер мокрые дома,
моё окно и грязный подоконник.
осматриваю листья (как садовник) —
тетрадные побеги от письма.
в них — ничего! скукоженная явь:
слова, слова... одни слова и скука.
триольным ритмом правильного звука
лишь многоточия. сиди и правь...

Мимикрия

болезненно-манерный человек,
укутывая взгляд в оправу,
бредёт вдоль вывесок аптек
к воображаемым каналам другого города
и фонарям.
бубнит подобранные рифмы
и причисляет к «бунтарям» свою персону.
мнимый рыцарь,
подобно списанным на берег якорям,
он ищет глубину в случайной луже,
доверившись дворам-поводырям,
ночные звуки рифмами утюжит.

Доосеннее

весенней похотью взъерошенные дни
спешат куда-то в бабьем лете...
в любом недвижимом предмете
репродуцируют они
зародыш будничной, поношенной тоски,
глазеющей в предутреннюю небыль,
где нагло раздирают чердаки
подол у завтрашнего неба.

* * *

апрельский вечер на краю земли.
он и она. эпоха — межсезонье.
в закатных красках вязнут журавли
и сумрак опускается ладонью
на мир живых... архивной тишиной
косятся лики каменных надгробий.
двум силуэтам дышится весной
через ограду проржавевших рёбер.

Осень в предложном падеже

минорное, сезонное явление —
молчанье стульев, вечер-сухоцвет.
отсутствуют места захороненья
скоропостижно уходящих лет.
в морщинах лба,
как в некрологах,
минуты нервно семят.
молчание,
безденежье,
тревога —
скупой постскриптум выходного дня.
на кухне парусится штора,
спит пёс,
горит ночник,
взрослеет сын.
в неубранной утробе коридора
пульсируют настенные часы.

КАЛУЖСКИЕ БЫЛИ

Сергей Денисов

Сергей Петрович Денисов родился 20 октября 1941 года в г Богородске Горьковской области (ныне Нижегородской). С 1942 года живёт в Калуге. В 1975 году окончил лекторий по фоторепортажу при Центральном доме журналистов в Москве. Работал осветителем на Ленинградской студии документальных фильмов. С 1994 по 2005 год — фотожурналист в газете «Весть», где напечатал свои первые литературные пробы, ставшие книжкой «На обочине Млечного Пути».



ОСКОЛКИ

(воспоминания о послевоенном детстве)

Когда немцы стали подходить к Калуге, началась эвакуация — уезжали кто по железной дороге, кто по шоссе на автомобилях, кто-то пешком уходил в сторону Тулы... А моя бабушка, дядя Вася с тётей Катей и сыном Володей и Анна, бабушкина дочь, и моя будущая мама эвакуировались по Оке, на барже.

Это была, конечно, не увеселительная прогулка. Фрицы шли на Москву. Дядя Коля, старший сын моей бабушки, человек военный, начальник, эвакуировал из Подмосковья оборонный завод в Горьковскую область и буквально настоял, чтобы к нему, в город Богородск, привезли мою бабушку Анастасию Родионовну. Враг подошёл уже близко, и страшно было дяде Коле оставлять мать красных командиров в такой рискованной ситуации. Наверное, это был тогда единственно возможный путь эвакуации заводов — по Оке, и калужские баржи тогда сыграли свою роль. Семья наша погрузилась на баржу в самом конце сентября, а к двадцатому октября наш водоплавающий экипаж уже подходил к Рязани.

Так я и родился — прямо на воде, на реке Оке, на барже, плывущей вниз по течению. Может, поэтому речные путешествия до сих пор у меня самые любимые, а может быть, и оттого, что мой старший двоюродный брат Владимир Васильевич Кобликов, известный калужский писатель, изрядно потаскал меня в детстве и юности на лодке по Угре и Оке. Не знаю. А назвали меня, я так думаю, в честь моего дядюшки Серёжи, младшего из наших моряков, любимчика нашей семьи и всей деревни, хотя 20 октября считается днём св. Сергия. Река моей жизни течёт быстрее и быстрее, а я всё чаще оглядываюсь на её истоки...

Вообще-то, по традиции, меня должны были назвать Владимиром, однако всё сошлось по-другому. Все мои двоюродные братья, первенцы старших

дядей, были Владимирами. Владимир Николаевич, Владимир Васильевич, Владимир Иванович Кобликовы, а также Владимир Сидорович Михалёв, закадычный друг моего послевоенного детства.

Это двоюродные братья по маме, а сюда же становится в ряд Владимир Никитович Денисов, двоюродный брат по моему отцу — Петру Ильичу Денисову, погибшему на фронте 11 октября 1941 года.

У дяди Пети с тётёй Руфой были две дочери — Светлана и Татьяна. Зато у тётёи Шуры (Александры Семёновны Михалёвой (Кобликовой)), которая была замужем за Сидором Кирилловичем Михалёвым и жила в деревне Секиотово, детей было пятеро. Володя, самый младший в семье Михалёвых и четвёртый Владимир из бабушкиных внуков, был другом моего детства.

Как известно, немцы заняли Калугу 12 октября 1941 года, но уже под Новый год их выбили наши войска, а в мае 1942 года мы вернулись на родину. Все — на свою, а я — на «историческую». В моих метриках обозначен местом рождения г. Богородск Горьковской области — конечный путь нашего путешествия. Это понятно: не писать же в документе, что родился на барже, проплывая по Оке в пределах Рязанской области!

Вернулись в Калугу, как только представилась возможность. Бабушка — раньше всех, в феврале 1942 года, как только узнала, что немцев прогнали. Как она добиралась, не представляю. Так же не могу представить, что она пережила, когда увидела свой дом, раненный снарядом, с вздыбленным, расщеплённым полом, с пробитыми осколками потолком и крышей. Осколки торчали из сосновых стен, мы их потом выковыривали с помощью молотка и обломка немецкого штыка. Снаряд пробил бревно под окном и разорвался посреди комнаты. Окна вылетели вместе с рамами, но дом выстоял, уцелела русская печь, а значит, жить было можно. Правда, подвал, с осени заполненный картошкой, погреб с морковкой и капустой в большой бочке — всё опустело, как после предпраздничной уборки.

Бабушка не зря торопилась, в мае она посадила картошку, и 1942 год не стал для нас голодным. Надо было жить, а для этого восстанавливать хозяйство. Прошёл ещё год в тылу фронта. Тут самое время оставить хронике и обратить внимание на младшего из моих двоюродных братьев — Владимира Михалёва, главного героя многих воспоминаний родных, переживших войну, да и моих тоже.

Я этого эпизода не помню, мне шёл второй год, я полёживал себе в колыбели, так называемой «качке», высокой деревянной кровати с заплетёнными прутьями бортиками на закруглённых дощечках, чтобы можно было раскачивать. Стоял чудесный летний день. На полянке за калиткой горел костёр, мама стирала красноармейцам бельё, кипятила его в большом железном баке, Саша Михалёв (старший из Сидоровичей), таскал воду из ручья. Тут же рядом, на горке, тётя Руфа, жена дяди Пети, беседовала с двумя офицерами, а её дочка Светлана была в доме с бабушкой. А вот и наш герой — Владимир Сидорович Михалёв, в коротких штанах, висящих на одной помочи, босиком, как и требовала тогдашняя мода, он тоже был занят своим делом.

Ему было три с половиной года, он уже большой (в войну идёт год за три) и гуляет, где хочет. Деловито осматривая окрестности, он нашёл небольшой неразорвавшийся снаряд — такая тяжёленькая, красивая вещь. И очень нужная! Похвалиться находкой как следует Вовке не удалось. Старший брат Саша высказался категорически: «К костру близко не подноси. Только этого нам не хватало». Он отобрал снаряд и забросил далеко в овраг, за ручей. Но Вовка по-своему понял эти слова и отправился за снарядом. Ему-то не хватало его больше всех. Вернулся не так уж быстро, обласканный крапивой и измазанный глиной, но со снарядом. Саши не было в поле зрения, тётя Нюра, так все звали мою маму, ушла в дом, красноармейцы беседовали с тётей Руфой.

Тогда Вовка бочком, походкой любителя природы, подошёл к костру и бросил снаряд в самые угли. Присел в канавку на корточки и стал смотреть, как языки пламени облизывают железо. Говорят, человек бесконечно долго может смотреть, как течёт вода и как горит огонь, но наш Вовка не такой. Заметив, что снаряд покраснел, он забеспокоился. В малиновом свечении ему показалось что-то зловещее, да ведь и Сашка о чём-то предупреждал! Взял длинную палку и стал выгаликивать снаряд из костра. Жар был невыносимый, отворачиваясь и прикрывая лицо левой рукой, он почти вытолкнул из огня светящуюся железку, и тут... Потом он вспоминал этот момент отвернувшись и без подробностей.

Сработало! Снаряд исполнил своё предназначение. Бак с бельём разлетелся в клочки, на месте костра — облако дыма и пара. Вовка оглушённый, валялся в траве. Его сильно контузило, из руки текла кровь. Ребёнка схватили и бегом на дорогу — там стоял воинский автомобиль с железными бортами, в него и погрузили раненого. Сквозь туман в голове и засорённые золотой глаза успел отметить: «Шевроле, двухосный». Когда с грохотом и лязгом машина неслась в санчасть, думал: «Повезло: на военной машине!» Он был горд и счастлив.

В горячке не сразу заметили, что у тётки Руфы со лба течёт кровь. Её зацепило рваным осколком от бака, хотя она стояла вдалеке от костра. Вовку всё же достал осколок снаряда. Он прошёл через согнутую в локте руку сразу в двух местах и не задел кости. От контузии он оправился довольно-таки быстро, сквозные раны на руке зажили «как на собаке», и всё уже стало забываться, но как-то, наверно через месяц, заметили у него нарыв на коленке. Расковыряли — там сидел крохотный кусочек железа, впившийся в коленную чашечку. Долго пытались его выдернуть из пухленькой Вовкиной коленки, но никак не могли ухватиться, пока не обвязали суровой ниткой. Впрочем, это было не первое его ранение, но и далеко не последнее. Он и прославился в семье своими рискованными подвигами с обязательными травмами и переломами, большое число которых осталось неизвестными миру. Но эти четыре дырки от одного осколка можно было с гордостью показать кому угодно. А вот признаться, что тебе больно — позор! Сказать, что ты боишься — позор вдвойне, а заплакать — лучше умереть! Такие понятия о жизни и чести были у советского карапуза военного времени.

* * *

Прошли лихие времена, кончилась война. Вовке уже шесть, мне четыре с половиной. Мы вместе гуляем по нашим «угодьям»: на «остров», на ключ, на полянку и так далее. «В ров не ходите, — сурово говорит бабушка, — завалит!» Ров, точнее сказать, овраг, образовался от немецкой бомбы, взорвавшейся на нашем переулке. Воронок от бомб было много, но весной именно от этой в горку, между сосен потянулся овражек. На другой год овраг, размытый дождями, отделил наш дом от остальных Ромодановских дворики, а колхозное поле покрыл слоем жёлтого, золотистого песка. В овраг мы не ходили, но перелезали через него, когда надо было сократить путь. За оврагом тоже было много интересного. Особенно уютная долина с ровной площадкой посредине, где наши дворовские ребята играли в футбол.

Как-то вечером, вернувшись с покоса, моя мама обратила внимание на Володьку, на его необычное состояние. Он сидел в уголке, куда не достигал свет коптилки, прятал глаза. Уклонялся от разговора.

— Ты чего, Вова, болит что?

Молчит. Тут я влез:

— Он хломает, нога у него.

— Показывай! — Мама посмотрела. — Что это?

Стала ощупывать, но сразу отдёрнула руку. Выше щиколотки нога раздулась, из розовой опухоли торчала щепка и сочилась сукровица.

— Где ты был, на какой войне?

— Небось, за ров черти носили, погибели искали, — как всегда пророчески подсказала бабушка.

От Вовки трудно было добиться каких-нибудь объяснений, но тут всё-таки сказал: «На площадку ходили, там городские были, детсадовцы...»

Мама отмыла ногу с мылом, обожгла на коптилке ножницы и надрезала кожу. Вытащила щепку и почистила загноившуюся ранку. Щепка оказалась длиной с палец, а толщиной с карандаш. Оторвала полоску от простыни, перевязала. Рана уже не так болела, и Володька разговорился:

— Они там гербарий собирали.

Больше он ничего не сказал, как его ни пытали. А дело было так. В Калуге восстанавливалась мирная жизнь. Разбирали руины, засыпали воронки от бомб, строили дома. Детские сады в хорошую погоду старались выводить свой народец на прогулку за реку. Оку переходили по наплавному мосту и сразу оказывались в другом мире. На берегу — «капустники», минуешь колхозную капусту — ты в сосновом бору. Лужайки, кустики, цветочки, травка... То, что надо для маленьких человечков. В тот раз мы с Вовкой сидели на горке и сверху наблюдали, как нашу футбольную полянку заполняют пары гномиков, над которыми возвышаются две огромные тётки-воспиталки.

— Чего это они все за руки держатся? Или заблудиться боятся?

— Ничего они не боятся, — ответил всезнающий Вовка, — им тётки велели. А не будут держаться, будут теряться. Ищи их потом.

Видно, ему уже приходилось искать потерявшихся. Между тем отряд остановился и получал инструкции. Одна тётка строго запретила отходить

далеко, а другая порекомендовала собирать цветы, интересные травы и ветки, а кто умеет, сплести венок. Мальчишки сразу стали играть в маленький мячик, бегая и крича, а так как мячик был маленький, то его очень быстро потеряли и долго и безнадежно искали.

Девчонки, более организованные, разбились на группы и рвали растения, с торжеством показывая друг другу. Одна девочка с косичкой, шустрее остальных, набрала целую горсть колокольчиков и ромашек, сплела венок и, подпрыгивая и крича, стала всем показывать, хвалиться то есть. Девчонки потянулись за веночком посмотреть и в момент его разодрали. Девочка с косичкой расстроилась и отошла к теткам, те сидели на травке и разговаривали, не спуская глаз с детишек. Мне надоело смотреть на эти бестолковые игры.

— Пошли домой!

— Пошли. Только как они без мячика домой пойдут? Попадёт же!

— Да мячик-то вон он, под лопухом, я видел, как он туда залетел.

— Я тоже видел. Подожди.

Вовка пошёл, взял мячик, но ребятам не отдал, а отнёс теткам. Те сразу схватили: о, хороший мальчик, а что ты тут делаешь, а где ты живёшь? Володька не отвечал, повернулся и пошёл не спеша. Его остановила та девчонка.

— Мальчик, сорви мне веточку.

— Какую веточку?

— Вон с того дерева. Пожалуйста. — Она показала на дуб, росший у колесниковского огорода. Дуб был прямой и красивый, но зелёные ветки на нём начинались довольно высоко. Я надеялся, что Вовка скажет: «Сама лезь», но не тут-то было. Он посмотрел недоверчиво:

— А зачем тебе?

Она опустила глаза и пролепетала:

— Мы собираем гербарий...

— Ладно. — Вовка нахмурился и направился к дубу. Ребятишки потянулись за ним, воспиталки тоже. Володька обошёл дерево, примериваясь, зрители собрались вокруг на почтительном расстоянии. Меня тоже потянуло в толпу, но я застеснялся. Мне и так хорошо всё видно.

Мой двоюродный брат осмотрелся и принял решение. Рядом с дубом стоял пенёк, когда то рос такой же дубок, его спилили когда-то, но не аккуратно, с одного края торчали острые щепки, на которые Вовка посмотрел с презрительным вниманием. Залез на пенёк, с него запрыгнул на ствол, обнял его и стал потихоньку подниматься, помогая себе голыми пятками.

Каждый дециметр его подъёма внизу отмечался восторженным шёпотом, а когда он добрался до ветвей, раздалось несколько восхищённых возгласов. Наконец дотянулся до ветки и стал её отламывать. Ломать дуб не просто и пришлось повозиться. Правой ладонью Володька выкручивал веточку, а левой держался за короткий сухой сучок и помогал себе коленями. Наконец ветка отломилась, а в тоже мгновение обломился и сухой сучок. Наш верхолаз шмякнулся с высоты на пенёк, попав ногой на торчащие из него щепки. Но ветку не уронил!

Зрители ахнули, сгрудились под дубом, тётки заохотали, кто-то нервно смеялся. Володька поднялся и, нагнув голову, с веткой в руке пошёл на лужайку. Он искал девчонку, но нашёл не сразу. Она стояла в стороне, опустив глаза, по щекам катились слёзы. Вовка сунул ей в руку помятую ветку, и мы поплелись домой.

Эту историю я рассказал маме и бабушке, может, и не так подробно, хихикая и картавя. Бабушка тут же пошла по хозяйству, сообщая, что бы она с нами сделала, если бы не надо идти проверить кур. Мама села на табурет и закрыла лицо руками.

— Это когда ж было? Вчера? И ты полтора суток молчал и прятался? А ты что, — это мне — сам не догадался сказать, а если столбняк, заражение крови? Завтра же в амбулаторию!

В амбулатории посмотрели, перевязали, воткнули укол против столбняка, сказали: «Нормально, заживёт. Приходите на перевязку».

Через день Володька повязку снял, а на перевязку не пошёл.

* * *

Был месяц март. Воскресенье, к тому же международный женский день 8 марта. Тогда этот день не был праздничным, то есть нерабочим днём, но это и не важно, — воскресенье. Мы со своими двоюродными братьями Вовкой и Колей Михалёвыми отправились в кино! Так бы и ставил после каждого слова восклицательный знак, такое солнечное было утро, такое радостное — в кино идём! — настроение, ожидание чего-то чудесного да просто детская радость от солнца, блистающего снега и предчувствия сказки.

Обуты мы в валенки, как, впрочем, и все сельские граждане, поэтому смело пошли к мосту через поле. Снег плотный, крепкий наст, под горячим уже солнцем он протаял широченными линзами, накрытыми, как стеклом, тонкой ледяной пластинкой. Было очень весело наступать на это стекло и смотреть, как льдинки осыпаются, звеня, и открывают широкие воронки протаявшего снега. От одной обрушившейся полянки осыпались соседние, и так мы и шли по ледяному полю, а позади нас — только треск, шорох и звон. Вышли на мост. Его не разводили на зиму и только весной, перед самым ледоходом, вырубали изо льда и выводили в затон на безопасное место. У моста теснились сани и повозки с лошадьми, они пропускали автомобили, редкие тогда ещё, но пользовавшиеся своим скоростным преимуществом. В санях везли сено, дрова, мешки с чем-то, какие-то ящики. Наверно, и зерно, и картошку, и древесный берёзовый уголь — чёрные мешки, всё нужно в большом городе, а день как раз базарный.

У «Нижнего» магазина сплошная лента повозок делилась на две. Потяжелее сворачивали влево, на Набережную, полегче — на улицу Подвойского и потом на Красную Гору, а дальше в самый центр, на базар. Лавируя между лошадьми и возчиками, мы быстро миновали мост. Около «Нижнего», куда мы всегда ходили за хлебом, на углу стоял милиционер с блестящей кожаной кобурой на ремне. Вовка мне говорил, что в этой кобуре никакого пистолета нет, а лежат кусок хлеба и кусок колбасы. Вообще-то было видно,

что ничего такого в плоской кобуре поместиться не могло, но легенда работала, и пацаны считали, что это очень добрый милиционер. Я смотрел на него с уважением.

Мы в городе. Перестали галдеть, степенно поднялись в Воробьёвку, тогда ещё не такую крутую, как сейчас. Около «Зеркального» (так в народе назывался хлебный магазин, когда-то, говорят, в нём торговали зеркалами, а название осталось на годы вперёд) догнали двух мальчишек, тоже наладившихся в кино. Мой одноклассник Борька Котов со своим соседом Витькой, они жили в самом начале Воробьёвки. Котов дразнил Витьку: «Одна парка ворует, другая караулит!» Витька тупо оглядывался и никак не понимал, что одна штанина у него выбилась из валенка и из-под пальто торчала одна нога белая, другая чёрная.

Вот и кинотеатр. «ДЕТСКИЙ» (позже его приняли в пионеры, хотя происхождение и возраст здания кинотеатра никак не соответствовали образу юного первопроходца). Это при царе был храм Рождества Богородицы, который в народе называли Никитским, а стал кинотеатром «ПИОНЕР». Но это позже. На пожелтевшей, с разводами афише красовалось название фильма: «Смелые люди». Под афишей на порогах сбочку сидел воробьёвский пацан и ел с аппетитом горбушку чёрного. Отламывал маленький кусочек, рассматривал его любовно и не спеша клал в рот. Трое мальчишек, шедших впереди нас, остановились.

— Отпуль мандрычки! — сказал рыженький, всё время державшийся впереди, наверное, предводитель. Едок глянул на него снизу вверх, примерился к горбушке и отломил от остатка меньше половины. «И мне малеха!» — поспешил подтявкнуть второй, но едок встал и, спрятав хлеб, отошёл.

Мы прошли по лестнице в храм, то есть в кинотеатр, и тут же опустили на три порога вниз. Справа — касса, слева — туалет, откуда зверски несло хлоркой. В прихожей толклись пацаны, многих я знал по школе. Они пересчитывали копейки, поглядывая на окошко кассы, кто-то придумывал, как проскочить без билета. Наш брат Николай купил нам билеты, прошёл в вестибюль и, достав из кармана книжку, сел читать, не обращая внимания на детский гвалт и возню.

Тут ко мне подошёл долговязый парень и попросил купить ему билет, в руке его был зажат рубль. Я удивился и сказал: «Сам возьми!» Он махнул рукой и отошёл опять в угол. Тут подошёл Борька Котов: «Чего он?» Я объяснил. Тут Котов захохотал: «А ему не продают!»

И объяснил мне, что как-то раз этот долговязый пришёл в кино с ружьём, сел, а дробовик поставил рядом, ствол торчал из подмышки вверх. Как раз «Чапаев» шёл. А когда белые пошли стройными рядами под барабанный бой в психическую атаку на чапаевцев, нервы у одного из огольцов не выдержали: он подполз в темноте к ружью и нажал на курок. Как дало в потолок! Что началось! Свет включили, атаку белых остановили, а мы все белые от извёстки сидим! Теперь его и не пускают. Кассирша как увидит его, сразу крик поднимает. Вот он и просит других купить ему билет, чтобы у кассы не отсвечивать.

Этого длинного мы замечали около нашего дома, он по тропинке проходил в бор. На плече висела старая одностволка шестнадцатого калибра, придававшая ему важность и непререкаемость. Так же солидно он возвращался под вечер. Сегодня он был без ружья. Я пошёл к дылде: «Ладно, давай куплю...». У кассы торчал Ханурик, так его все звали, хотя фамилия его была Анурин, тоже из нашей школы, но сейчас он не учился — исключили ещё в первой четверти. У него всегда такое выражение лица, то ли заплакать хочет, то ли засмеяться, то ли сейчас ударит исподтишка.

Вовка как-то про него сказал, что у блатных всегда такие рожи, показывая на складки от носа к губам. Ханурик билетов не брал, так, стоял, скучал. Смотрел, как кассирша отсчитывала мне сдачу гривенниками — девять штук, и куда-то исчез. Я отдал долговязому билет, сдачу и вернулся к Володьке, вскоре двери кинозала открылись.

Войдя в кинозал, мы первым делом стали пялиться на сводчатый потолок. Точно, в районе примерно четырнадцатого ряда потолок был весь в ямках серого цвета. Видно, дробь у долговязого была мелкая и заряд слабоватый — разброс очень большой. Не соврал Кот! Я так думаю, наверно, это он сам и нажал на курок.

Николай сидел уже в зале, в руках открытая книжка. Мы с Вовкой пробирались к своим местам. В проходе какой-то малый в расстёгнутом пальто взялся завязывать шнурок на ботинке, мешал пройти. Между нами втёрся опять этот Ханурик, лез в одну сторону, а смотрел в другую. Потом, как будто что-то вспомнил, повернул обратно, чуть было не повалил меня. Вдруг Володька дёрнул его за плечо и незаметно ударил валенком по щиколотке. Ханурик подскочил, рожица его ещё больше исказилась, он заверещал: «Что ты ко мне лезешь! Я тебя трогал?» Вовка ткнул его кулаком в живот: «А ты тронь! Ну, давай!», но тут в нашу сторону направилась билетёрша, и мы поспешили усесться на свой ряд. Я спросил Вовку: «Чего это ты?» А он мне: «Ты что, не заметил? Он тебе в карман лез!»

Начался фильм. Вы смотрели «Смелые люди» — первый цветной советский фильм про лихих кавалеристов и войну? Было заметно, что в зале одни ребята, девчонок почти не видно. Однако сначала шёл журнал «Наш край», красивые, но неинтересные производственные темы. Скорее бы он кончился! И вот наконец-то — кино! Полтора часа как одна минута! Это сейчас вспоминаешь этот фильм как сказку, а то и как пародию. Тогда же нам, пацанам, ничего больше и не надо было: лихие скачки на конях, опасности, приключения, сражения в горах с немцами, но мы победили — что ещё нужно детской душе, чтобы подняться выше своего невысокого тела? Выходили, будто наполненные чем-то лёгким, поднимающим в воздух, шли, как летели, а в глазах ещё скакал на своём Буяне с наганом в руках бесстрашный Вася Говорухин (актёр Гурзо) и бесславно погибал от рук партизан глупый полковник Швальбе (актёр Плятт).

На обратном пути, домой, Коля сразу же свернул в библиотеку, а мы, всё такие же приподнятые, двигались вниз по улице Ленина. Вдруг Володька тронул меня за рукав и кивком показал на другую сторону улицы. Трое

пацанов смотрели на нас с подозрительным интересом. Ханурик с ними. Почти знакомые все — подвойские. Уже встречались. Идёшь в школу — всегда смотришь, как бы не попасться: отлупят или возьмут портфель и закинут куда-нибудь, ищи потом... Лучше ходить в компании, собирались с дворовскими ребятами — двух-трёх не трогали, не лезли — тогда шли самым кратчайшим путём — на Подвойскую, потом на Красную Гору и тропинками, огородами прямо на школьный двор. Подвойская славилась своими «лихими ребятами», в школе, когда упоминали: «Он с Подвойской», учителя делали глубокомысленно-понимающее лицо, сопровождая гримасу долгим кивком. Одного из тройки я знал слишком хорошо. Мы с ним подрались, вернее, он меня слегка отлупил, когда Вовки не было поблизости. Мора, так его называли за смуглое лицо и чёрные волосы. Впрочем, многие его называли просто «Цыган», это в школе к нему пристало смешное цыганское слово «мора», а когда вышел знаменитый индийский фильм «Господин 420», его стали звать «бродягой». Короче — Валька Юрасов. Он был здоровее нас, как все заядлые второгодники. Третий был постарше, на него-то Вовка и показал: «Вот этот был, когда у меня ёлку отнимали». Мы пошли дальше, но почувствовалось какое-то напряжение. Случай с ёлкой Вовка мне рассказал ещё раньше (и только мне одному). Он хотел сделать матери подарок в виде тройка и срубил в лесу хорошенькую ёлочку. Такую можно было продать в городе за три рубля, а если повезёт, то и за четыре. Но дело рискованное. На большаке у Секиотова дежурил лесник, а в городе у Нижнего магазина милиционер. Лесник отбирал ёлки и давал подзатыльник, а милиционер штрафовал и тоже отбирал ёлку. Первое препятствие миновать просто — по ёлки в лес ходили ночью, тут выручало знание местности и родной деревни, а вот в город ночью с ёлкой не попрёшься. Утром, чтобы миновать милиционера, Вовка перешёл речку по льду ниже моста и вышел у скульптурной фабрики. На Красной Горе из калитки вышел парнишка и спросил: «Продаёшь ёлку?» Вовка остановился: вид мальчика вызывал сомнения в его платёжеспособности. Но тут из той же калитки выскочили двое ребят поздравше, без слов сбили Володьку с ног и исчезли за забором вместе с ёлкой, а когда он стал подниматься, первый, «покупатель», со смехом пнул его ногой так, что он опять очутился в сугробе. Брат потом долго и безуспешно стучал в подпёртую изнутри дверь в заборе.

Чтобы не остудить впечатлений от кино, я решил сменить настроение и рассказал Володьке про дылду и его ружьё. Когда рассказывал, как получал сдачу с рубля, Вовка ухмыльнулся и нахмурился. Я оглянулся. Ребят стало уже четверо, и они шли, не отставая от нас, только по другой стороне улицы. Мы прибавили ходу. Вся Воробьёвка протаяла, из-под льда там и сям проглядывали камни мостовой, а рядом с тротуаром пробивал себе путь уже нешуточный ручей. Пацаны не отставали. Они шли посреди улицы, рассредоточились с явной целью перехватить нас и завернуть на Набережную. Мы поравнялись с воробьёвской баней. И тут Вовка неожиданно втащил меня в дверь бани.

Как заправские приверженцы чистоты и гигиены, мы прошли в длинный коридор, где на скамейках сидели ожидающие своей очереди на помывку,

заняли очередь в мужское отделение, мужики подвинулись, и мы сели ждать. Из предбанника потягивало тёплым сырým воздухом, пахло распаренными берёзовыми вениками. Народу было много, большинство работяг могли попасть в баню только по выходным, считая такой поход за праздник. В будни в баню ходили пенсионеры, чтоб не стоять в очереди, школьники и домохозяйки.

Из предбанника выходили распаренные, краснолицые, а на их места протискивались другие. Очередь подвигалась. Вовка периодически вставал и подходил к окну. Наши преследователи топтались на другой стороне улицы. Теперь их отделял от нашей стороны улицы не просто ручеёк, а целый поток. Слизывая снег и лёд, смывая по пути конский навоз и мусор, перед Нижним магазином он разливался метра на три и только перед мостом уходил на обочину. Улица, такая шумная, деловая утром, затихла. Ни повозок, ни людей, один лишь ромодановский старик переносил на руках свои саночки через поток, чтобы не замочить буханку хлеба, завёрнутую в пустой мешок.

Пацанов осталось трое, четвёртый ушёл на разведку, высматривал, где лучше перейти ручей. Я уныло сидел, толком ещё ничего не понимая. Вдруг Вовка отошёл от окна: «Пошли!», и потащил меня по коридору в другую сторону от выхода. Там в конце оказалась дверь, за ней полутёмное помещение, трубы, котлы, наконец, дверца, выход во двор.

Пробежав мимо огромных куч угля, мы протиснулись в приоткрытые ворота и вышли на тротуар. Осмотрелись. Наши «друзья» не спеша направились в нашу сторону. Мочить ноги в потоке им не хотелось, они высматривали место поуже. Только нетерпеливый Ханурик зашёл вперёд и вот уже разбежался для прыжка через ручей, наверно, боялся нас упустить. Прыгнул! Мы даже остановились, чтобы увидеть, чем кончится. Эх, не повезло парню! Разбежавшись, он вместо камня наступил на кусок льда и ноги в рваных кирзовых сапогах выехали к нам на тротуар, а сам он улёгся в ручей, на спину, только брызги полетели веером.

Даже его дружок Мора захохотал, а я кинулся было вытаскивать из воды неудачника, но тут Володька сильно дёрнул меня за рукав: «Пошли скорее, а то бабушка ругаться будет».

На мосту через Оку мы уже не смотрели на дорогу, в валенках всюю хлюпала вода.

Дома бабушка только проворчала: «Не в кино, за смертью вас посылать, валенки вон, как гуща», и полезла ухватом в печь. Мы побросали валенки на печку и сели есть наваристый фасолевый суп. Потом бабушка налила по кружке киселя. Вскоре, забыв все наши неурядицы, я мысленно снова включился в кино «Смелые люди», в партизанскую войну: эх, что там Вася увёл свою же лошадь, надо было украсть у врагов автомат и перестрелять всех немцев, а вредного полковника Швальбе взять в плен, а... и так далее.

Все фильмы про войну вызывали у нас подъём духа и романтическое сожаление, что вот, не удалось нам повоевать с немцами, свести счёты. А счёты имелись. «Безотцовщина...» — шептала одними губами бабушка,

отворачиваясь, чтобы скрыть слёзы, когда мы собирались втроем со Светланой, нашей младшей сестрой, часто помогавшей нам во всяких приключениях.

Безотцовщина, — говорила бабушка, а плакала о своих погибших детях и неродившихся внуках. У бабушки Анастасии Родионовны Кобликовой было девять детей. Семь сыновей: Николай, Василий, Иван, Пётр, Степан, Сергей и Александр и две дочери: Александра и Анна. Все Семёновичи, все Кобликовы. Пётр, Степан и Сергей были моряками. Мама рассказывала, каким был молодой дядя Петя. Стройный, всегда подтянутый, опрятный, что бы ни делал, с молотком ли, с топором или с лопатой, всегда приятно было видеть. Даже письма его приятно в руки взять, такой красивый почерк, такие хорошие слова. Пел замечательно! Дядя Стёпа стихи писал, уважал Маяковского. Гордый был, бывало, подерутся трое-четверо, он разнимать. Они на него — трое-четверо. Потом идут, охают, синяки считают, а он идёт, песни поёт. Пётр и Степан погибли на подлодке, а Сергей, воевавший на «Невском пяточке», вернулся, только на него страшно было смотреть, когда ходили купаться на речку: всё тело в шрамах. Но через двадцать лет один маленький осколок всё же добрался до его сердца, и дочка Аля тоже осталась без отца. Мне слишком памятен месяц октябрь 1941 года: мой отец погиб 11 октября, немцы вошли в Калугу 12, а я родился 20 октября. Пришла похоронка и на Сидора Кирилловича Михалёва. Дядя Саша (Александр Семёнович Кобликов, младший из братьев) в сорок первом окончил школу и поступил в пулемётную школу, копал противотанковые рвы на подступах к Москве. Дальше вся его жизнь была связана с армией. Стал полковником, преподавал в военной академии, автор нескольких учебников, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Дядя Вася пережил войну на две недели, умер от чахотки 21 мая 1945 года. Художник-самородок. Владимир Васильевич Кобликов, наш калужский писатель — его сын. Дядя Вася был весёлым, добрым и душевным человеком и так жалко, что судьба дала нам так мало общения с ним. А самым оптимистичным и общительным был дядя Ваня. Мы, ребятишки, старались не пропустить случая, когда дядя Ваня приходил к нам, то есть к своей матери и сестре — нашей бабушке и моей маме. У него было что рассказать. Дед наш, Семён Самойлович, когда-то отдал его в город, учеником к портному, где Ваня вскорости стал модным закройщиком. Таким модным, что конкуренты не знали, как его известить. Написали донос в органы. Иван не стал с ними бороться и пошёл на войну. В солдаты его не брали — гастрит, так он записался в школу командиров штрафников, там медицинскую справку не спрашивали. На войну пошёл портной, вернулся майором. Дядя Коля после войны с немцами был послан на Дальний Восток, в Уссурийский край, и мы его не видели до пятидесятых, когда его перевели в Минск. Заядлый охотник, он много рассказывал об Уссури. Мы с ним часто ходили с ружьём в лес, но я помню, что он никогда никого не убивал.

Мы с Вовкой очень любили ходить в лес. По грибы, по орехи, за ягодами — земляничкой и черникой. И по серьёзным делам, сено косили, дрова

готовили, жерди для ограды, мох дёргали на «клюковнике», когда восстанавливали дом. Только в лес нас одних стали пускать, когда подросли, в школу пошли, зарекомендовали себя настоящими разведчиками. Без шуток и преувеличений! Дядя Саша, он уже был старшим лейтенантом, привёз нам книжку для рядовых Красной армии, в которой были описаны приёмы и методы, как стать невидимым для врага, как не заблудиться в тайге, как измерить «на глаз» высоту дерева, как развести костёр без дыма и тд. и т.п. А до этого нам тоже скучать не пришлось. Война оставила множество всяких «игрушек» и «сюрпризов». У нас с Вовкой, ещё дошкольников, был ящик от танкового зипа, туда мы складывали разные находки. Там хранились пули, гильзы от патронов, пистолетных, винтовочных, даже от противотанкового ружья, две рубчатых рубашки от ручных гранат, затвор от немецкой винтовки, немецкий штык — грубый длинный прямой нож с толстым лезвием и деревянной рукоятью, дюралевый колышек от немецкой палатки и много ещё чего, уже и не помню.

Из винтовочных пуль мы вытапливали свинец, но не полностью, чтобы оставался вес, и делали наконечники для стрел, которые ловко вырезали из жимолости. В стрельбе из лука мы могли бы посостязаться с самим Робин Гудом (главное, не победа — участие!). В этом ящике однажды Саша Михалёв, старший брат Вовки, усмотрел мину — красивую бомбочку с крестиком хвостовиком. Конфисковал и сделал нам внушение. Тогда мы вытащили ящик из-под кровати и спрятали на погребнице.

На «острове» нашли немецкий шомпол — стальную цепочку, собранную алюминиевыми муфтами. Цепочка опускалась в дуло винтовки, снаружи на неё цеплялся ёршик, цепочка вытаскивалась обратно и — ствол прочищен. Европа! На этой «цепочке» другой мой брат Володя Иваныч Кобликов, сын Ивана Семёновича Кобликова выводил гулять нашего чистопородного дворнягу, кобелька Трефа.

Во дворе, около сарая несколько лет валялась неразорвавшаяся авиабомба. Взрыватель у неё был вывинчен, но в сорок девятом дядя Саша и Володя Васильич, которым надоело её обходить, утащили её и бросили с обрыва в овраг. Нам строго-настрого запретили во время этой «оборонной» операции выходить со двора, поэтому мы подглядывали издали, из кустов. Бросили, а сами, отбежав от обрыва метра на три, пригнулись и ждали, взорвётся, или нет. Не взорвалась. Так она и лежит до сих пор в ручье, замытая песком. Бабушка тоже не чуждалась трофейного железа: в её арсенале имелись два снаряда, разорвавшиеся не на осколки, а лопнувшие, на манер бутона тюльпана. Такой пятикилограммовый цветок бабушка использовала для стерилизации бочек под солёные огурцы и квашеную капусту. Она раскаляла их в печке докрасна, выносила на кочерге, а мы с Вовкой стояли наготове с тужурками. Как только она опускала железку в бочку, вода в ней взрывалась паром, мы закрывали тужурками жерло и, чтобы не прогорело дно, ворочали и наклоняли в разные стороны это гудящее, бушующее, возмущённое существо.

* * *

Горьким дымом оседала война на наших зорях, из всех прорех выступала её серая, тяжёлая пустота. Безотцовщина встречалась нам на каждом шагу и у нас на Ромодановских двориках, и на Воробьёвке, на улице Подвойской и т.д. Тогда у ребят не было угрозы: «Скажу отцу» или «Скажу своему старшему брату». Не было отцов, а у многих не было и старших братьев. Они не вернулись с войны. «Скажу твоей матери!» — вот это была угроза! Матери, надорванные работой, отчаявшиеся в безысходности, сначала лупили, а потом разбирались. Или не разбирались: «Ты знал, что делал!»

Мало было заработать на хлеб, надо ещё было его получить. Напротив Зимовки (конторы дорожного отдела) в Ромодановских двориках была дощатая палатка, туда привозили хлеб. Бабушка посылала меня, как лёгкого на ногу, занять очередь, сама приходила следом. Помню такую картину: парень, подросток, получил свою порцию — буханку и довесок (хлеб был тогда только на вес), радостный помчался домой. На беду — дело было в октябре, дожди, мостовая расхлюпана, скользко — уронил довесок в грязную лужицу. Покрутился вокруг неё, хотел вытащить, но не решился. Довесок — осьмушка ломтя, полностью скрылся в чёрной жиже. Махнул рукой и побежал дальше, сделав вид, что видал беду и похуже. Какой же град эмоций высыпался в эту лужицу и ему в спину! «Молодёжь! Заелись! Хлеб ногами топчут. Как поработал бы в колхозе... Чему ж их в школе учат! Привык на материной шее... Совсем разбаловались! Не копал, видно, картох мороженных... Да хоть не себе, собаке бы достал!» И ещё много чего. Одна старушка попыталась палочкой выудить злосчастный довесок, но, доставши, не решилась взять, это был комочек грязи.

Моя мама как-то с юморком рассказала про меня в три с половиной года. Я сидел на лавочке у наших ворот. Прохожий мужчина спросил: «Мальчик, чего ты плачешь?»

— Жады, калтосык не дают!

И одежда тоже была самая нехитрая. Вовка «щеголял» в пальто, сшитом из разорванной немецкой шинели. Добротное голубовато-зелёное сукно (как он ненавидел это сукно!) хоть и сильно уже потёртое, оно выручало зимой. С весны до самой школы ходили босиком. Первые дни учёбы болели натёртые ноги, отвыкшие за лето от обуви. В «моде» были стёганные телогрейки. Очень практичная одежда, в ней ходили и в школу и, иногда, в кино. Так, как сейчас носят куртки «Адидас».

Много чего было, чего и вспоминать не хочется. Да вот только почему-то мы не стали злыми или обиженными. Напротив, мы умели прощать ошибки и незнание, но не прощали хамства и нечестности. Мы хотели сделать жизнь лучше, и это желание делало нас счастливыми.



Георгий Куликов

Георгий Викторович Куликов родился в 1950 году в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР и Дипломатическую академию МИД России. До 2006 года работал в сфере государственного управления. Государственный советник 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации. Член Союза писателей России.

ОСЕННЯЯ ПЕРЕПУТИЦА

— **О**сень она не спросит, осень сама придёт... Слова песенки как нельзя кстати подходили к этому прохладному сентябрьскому утру. Удивительная пора! В это время всё особенное: и природа, и погода, и чистый воздух, создающий какое-то приподнятое настроение. И запах осени особенный — свежий и бодрящий, хотя всё говорит об увядании.

Из панельного двенадцатиэтажного дома быстрой походкой вышел молодой человек. Это был Евгений Кудрин, который после окончания средней школы милиции уже второй год работал инспектором уголовного розыска в знаменитом МУРе. А наставником ему определили самого опытного из сыщиков — капитана милиции Льва Алексеевича Ерихина.

Несмотря на свою серьёзную должность, Кудрин выглядел совсем юншей — и по телосложению, и по походке, и по лицу, так что все его звали Женей. Громких дел на его счету пока не было, что тоже, как он думал, определяло не очень серьёзное отношение к нему со стороны коллег по работе. Впрочем, он не унывал и надеялся, что со временем раскроются его способности как аналитика и сыщика. Да и в быту когда-нибудь всё устроится; пока он жил один, практически без мебели в однокомнатной кооперативной квартире, купленной родителями.

В это день Женя как обычно спешил на работу и с удовольствием вспоминал события вчерашнего вечера, когда по пути домой он зашёл в кафетерий, чтобы там поужинать. Поскольку свободных мест практически не было, он присел за столик, где в одиночестве сидела молодая симпатичная девушка. Женя отметил про себя тонкую талию, изящные руки с длинными пальцами, милое овальное лицо, которому очень шла короткая модная причёска над высоким лбом. Она перелистывала небольшую книжку с портретом Чехова на обложке.

«Красивая девушка», — подумал он и спросил с улыбкой:

— Что читаете, барышня?

Девушка оценила его взглядом и, подняв глаза к небу, загадочно произнесла:

— Изучаю построение фраз арабской вязи.

— А вы не пробовали изучать построение фраз китайских иероглифов в сказках Пушкина про попа и «балду», изданных в прошлом году на китайском языке? — съехидничал Женя.

— Я игнорирую тенденции парадоксальных изречений отдельных невоспитанных личностей, — резко ответила она и отвернулась, давая понять, что разговор окончен.

— Извините, барышня, я не хотел вас обидеть, — примирительно сказал Кудрин.

— Ну, хорошо, я вам прощаю и неуместный выпад, и слово «барышня», — ответила девушка, глянув на него своими синими глазами. — Такое прекрасное слово можно встретить только на страницах произведений русской классики.

— Если углубляться в терминологию, — с видом знатока словесности произнёс Женя, — то это обращение к девушкам впервые появилось где-то в начале девятнадцатого века. Их уважительно называли барышнями, но точнее сказано в словаре Ожегова: «Барышня — это молодая незамужняя дочь из интеллигентной барской семьи, которая сочетала в себе безукоризненную воспитанность с элементами нравственной чистоты и наивности». А ваш любимый Чехов в рассказе «Баран и барышня» как раз и даёт описание такой барышни.

Девушка внимательно посмотрела на Кудрина, всем своим видом показывая, что удивлена его познаниям в литературе. Она, ничего не говоря, придвинула к нему поближе свою красивенькую книжечку с тиснением, и Женя отчётливо увидел мелкий текст на арабском языке. От растерянности он только и смог произнести:

— Ну ни хрена себе!

— Ни хрена, ни хрена, — улыбнувшись, проговорила собеседница.

— Ещё раз прошу прощения за мою бестактность, — пытался кое-как совладать с собой Кудрин, — правильно говорили древние, что ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой. Буду впредь думать, прежде чем что-то говорить и тем более рассуждать, не зная предмета общения.

А про себя подумал: «Ну вот, довыпендривался!»

— О! — воскликнула девушка. — Похвально, что вы читали Омара Хайяма, редко можно встретить поклонника его творчества в наше время.

Уже через несколько минут они болтали как старые знакомые, и Женя уже знал, что зовут её Ниной, она студентка Института иностранных языков, где изучает арабский язык.

— А вы, Женя, чем занимаетесь? — спросила девушка.

— Я уже год как работаю в МУРе, — не без гордости ответил Кудрин.

— А что такое МУР, что за контора? — заинтересовалась Нина.

— Как говорят в народе, «контора Никанора», — ответил он, — а если серьёзно — Московский уголовный розыск.

— Ой, как интересно! — воскликнула Нина. — Вы и правда ловите настоящих преступников?

— Это моя работа, — лаконично ответил Женя.

Проговорив ещё целый час, они условились на завтра встретиться в семь часов вечера у входа в Зелёный театр в Парке культуры и отдыха. Там уже несколько дней проходили концерты самодеятельных инструментальных ансамблей и вход был бесплатным, а поскольку это не аншлаговое мероприятие, свободных мест должно быть много.

Солнечное утро, свежесть воздуха после ночного дождя и предстоящая встреча с Ниной создавали приподнятое настроение, и всё вокруг казалось прекрасным и радужным. Но едва Женя закрыл за собой входную дверь отделения милиции, как на него буквально наскочил дежурный офицер:

— Кудрин, где тебя носит, срочно бери дежурную машину и вместе с участковым инспектором Василенко выезжай на Нагатинскую улицу: там, похоже, убийство мужчины. Адрес я дал участковому инспектору, так что вперёд...

В дежурной части отделения милиции его уже ждал Юра Василенко, который вместе с Кудриным обслуживал Нагатинскую улицу.

— Привет, Женя, — пробасил он, — машина ждёт, так что поехали на место происшествия. Дежурный уже позвонил в скорую помощь и вызвал по адресу оперативную группу райотдела.

Они вышли на улицу и сели в милицейский «Москвич», который тут же лихо развернулся и помчался в сторону Нагатинской улицы. Сколько раз Женя ни проезжал по своему городу, всегда любовался им и крутил головой из стороны в сторону, стараясь ничего не пропустить из красот старой Москвы. Вот и показалась Нагатинская улица, деревянные домики которой создавали неповторимый московский колорит. Однако и здесь уже шумели краны, которые сносили эти удивительно красивые домики с резными ставнями. А на их место свозили панели для возведения многоэтажных домов. Всё это не радовало Кудрина, и он с сожалением смотрел на разрушение любимых им уголков старого города.

Они подъехали к небольшому одноэтажному частному домику, перед входом в который была большая лужа после ночного дождя. У ограды стоял среднего возраста мужчина и пожилая женщина с заплаканным лицом. Практически одновременно подъехала «Скорая помощь» и оперативная «Волга» из райотдела, из которой вышел следователь Андреев и эксперт-криминалист Глебов.

Поздоровавшись с приехавшими, мужчина сказал:

— Это я вам звонил. Примерно час тому назад я приехал к Ивану и обнаружил, что дверь в дом открыта. А когда вошёл, увидел Ивана на полу. Он не шевелился. По всем комнатам валялись вещи из перевёрнутых ящиков шкафа.

— Представьтесь, пожалуйста, — попросил его следователь.

— Меня зовут Валяев Сергей Петрович, я — двоюродный брат Ивана Трошина. Вчера он мне позвонил на работу и позвал к нему домой, чтобы помочь ему закинуть тяжёлый рулон рубероида на крышу сарая. Но поскольку

до вечера я был занят в школе, то мы договорились, что я приеду сегодня рано утром.

— А где вы работаете? — спросил следователь.

— Я работаю в школе учителем рисования, — ответил Валяев.

— А это соседка Ивана из стоящего рядом дома — Нина Яровая, — представил Валяев стоящую с ним рядом женщину.

Все приехавшие обошли лужу с левой стороны от порожка и неспешно гуськом вошли в дом. Это был небольшой деревянный дом старой постройки со скрипучими половицами. Войдя в комнату, они увидели тело мужчины, распростёртое на деревянном полу у письменного стола. Это был пожилой мужчина лет семидесяти; он лежал на спине с запрокинутым лицом, над головой были занесены стиснутые кулаки, а на белом, как бумага, лице застыла гримаса неистовой злобы и ужаса. Выступающая вперёд челюсть придавала ему сходство с человекообразной обезьяной, лежащей в неестественной позе. Одет он был в потёртый старый халат, из-под которого торчали босые ноги. Голова была неестественно свёрнута в сторону, а синяки на лице говорили о том, что его били и, возможно, пытали. Пол комнаты был заляпан глиной, как будто бы рота солдат в грязных сапогах побывала здесь. На письменном столе лежали разбросанные бумаги, обрывки газет и паспорт. Кудрин взял его в руки и открыл первую страницу: на фотографии он увидел приветливое лицо Трошина Ивана Сергеевича. На другой странице стоял штамп из ЗАГСа о регистрации брака с Косорыловой Ниной Тимофеевной.

— Косорылова! Где-то я слышал эту запоминающуюся фамилию, — попытался вспомнить Женя, но в голову совсем ничего не приходило. Он подошёл к Андрееву и передал ему паспорт потерпевшего.

— Пригласите, пожалуйста, понятых, — сказал следователь, обращаясь к участковому инспектору.

— Да, конечно, — ответил Василенко и быстро вышел из дома.

Пока Андреев готовился осматривать место происшествия, врач, который осматривал тело Трошина, тихо проговорил:

— Смерть потерпевшего наступила около десяти часов назад, приблизительно в двенадцать часов ночи от резкого разворота шейного отдела головы в сторону, то есть ему просто свернули шею. Судя по всему, потерпевший сопротивлялся, о чём говорят прижизненные кровоподтёки на лице и руках, а также разорванный рукав халата. Если исходить из того, что жертва в преклонном возрасте, но, как видно, крепкого телосложения, то человек, свернувший ему шею, должен быть на порядок сильнее его. Но это лишь мои рассуждения.

Пока оперативная группа занималась осмотром места происшествия, Кудрин решил поговорить с соседкой из рядом стоящего дома. Он подошёл к двери и постучал. На порог вышла пожилая женщина в домашней одежде, та самая, что стояла у дома потерпевшего, встречая приехавших милиционеров. Женя представился и показал своё удостоверение личности, она пригласила зайти в дом и повела его на крохотную кухню, где возле небольшого стола стояли две табуретки.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — со вздохом проговорила она.

— Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о вашем соседе и что случилось с ним вчера вечером? — попросил Женя.

— Меня зовут Нина Григорьевна Яровая, я давно пенсионерка, живу сейчас без мужа с дочкой, — просто и спокойно начала рассказывать она. — Ивана я знаю почти двадцать лет, с тех пор как вышла замуж за Сергея Ярового и переехала в этот дом. Мой покойный муж дружил с Иваном, и они часто ездили на рыбалку, на охоту, да и просто так сидели по вечерам на лавочке возле дома и судачили каждый про свою работу. Что касается Ивана, то могу сказать, что он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь в разных житейских ситуациях. До пенсии он работал слесарем в автобусном парке. С первой женой развёлся лет десять назад, и от неё у него единственный сын Олег, который до последнего времени приходил к нему. А вторая жена Нина год назад умерла от рака. Как же он переживал, как маялся, сердечный!

— А что по поводу случившегося вы можете сказать? — повторил свой вопрос Кудрин.

— У Ивана не складывались отношения с сыном от первой жены, — ответила Яровая. — Как только Олег придёт к отцу, так скандал, крики. Уж не знаю, в чём была причина этих ссор. Вот и вчера вечером, когда мы с дочкой Верочкой вышли во двор снять с верёвки сухое бельё, у них опять был скандал, — вздохнула она, опустив руки на колени.

— В котором часу это было и что конкретно вы увидели? — спросил Кудрин.

— Во двор мы вышли около десяти часов вечера, по всему было видно, что скоро начнётся дождь. Я осталась под навесом у входа в дом, а дочка пошла снимать бельё. Неожиданно входная дверь с шумом открылась, и из неё выскочил возбуждённый Олег, волосы на голове у него были взлохмаченными, и он, размахивая руками, быстро пошёл к калитке.

— А в руках у Олега что-нибудь было? — задал вопрос Кудрин.

— Нет, ничего не было, — помедлила с ответом Яровая и вдруг встрепетнулась. — Может быть, дочка вам больше расскажет, ведь она ближе находилась к дому соседа и с близкого расстояния может чего ещё рассмотрела. Но она сегодня рано утром уехала в деревню проведать бабушку и отвезти ей необходимые лекарства, она у неё переночует, а завтра вернётся обратно в Москву.

— Передайте ей, чтобы завтра обязательно пришла в отделение милиции на Хлебозаводской проезд в кабинет № 4, — сказал Кудрин. Он попросил её написать на листке бумаги всё то, что она рассказала, а когда она закончила писать объяснение, попрощался и вышел во двор.

Женя снова подошёл к дому потерпевшего и стал внимательно осматривать всё вокруг него. Прошёл мимо окна, в котором увидел, как работает оперативная группа и приехавшие медики и завернул за угол дома. Какое же было удивление, когда от прошедшего ночью дождя на размокшей глине он увидел две линии чётких следов. Одна принадлежала человеку с обувью

большого размера, примерно 45–46; это были следы тяжёлых ботинок с квадратными носами и, скорей всего, принадлежали человеку массивному, судя по сильному углублению следа в глину. Другой след — менее отчётливый, гораздо меньшего размера. Вокруг окна глина была истоптана, и Женя предположил, что обладатели этих ботинок здесь чего-то выжидали, а потом пошли ко входу в дом. Следы вели к большой луже, а потом ещё не высохший след ботинка большого размера с квадратным носом был виден на пороге. Женя представил себе, как неизвестные в темноте, увидев перед собой большую лужу, просто перепрыгнули её и вошли в дом, оставив следы на деревянном пороге.

— Скажите, Сергей Петрович, — обратился Кудрин к брату потерпевшего, который всё это время стоял во дворе и нервно курил, — все ли его вещи на месте или каких-то не хватает?

— Конечно, всё разбросано по комнатам на полу, вывернуты ящики шкафа, но вроде бы ничего не пропало, да и что было у него брать! Брат жил скромно, ничего лишнего не имел. Кому понадобилось убивать его, больного, старого человека? Ведь он болел раком, и врачи говорили, что ему недолго осталось жить. И грабители какие-то странные, радиоприёмник не взяли, часы с кукушкой, которые я ему подарил на день рождения, тоже на месте висят. А в кармане его пиджака, валявшегося на полу, целым и невредимым лежал кошелёк с деньгами.

— Так, значит, ничего, по сути, не было украдено? — допытывался Кудрин.

— Да нет, вроде ничего, — пожал плечами Валяев и вдруг на минуту застыл, задумался.

— Хотя, постойте, я не увидел серебряного нательного крестика на шее брата, он висел на простой шёлковой нитке. Брат был набожным человеком, часто ходил в церковь на службу, а крестик ему достался от нашей бабушки. Он был необычным, на его концах были четыре небольших бриллианта. Это, пожалуй, единственная ценная вещь, что была у него. Так вот этого крестика и не было на шее у Ивана.

— А вы сможете нарисовать его? — спросил Женя.

— Конечно, я же учитель рисования, — охотно откликнулся Валяев.

Кудрин достал из папки несколько листов чистой бумаги и протянул ему:

— Вы нарисуйте на одном листе рисунок крестика, а на другом напишите всё то, что мне только что рассказали и не забудьте поставить число и подпись.

Валяев послушно забрал листочки бумаги, зашёл в дом и примостился на кухне за маленьким обеденным столиком, а Женя продолжал стоять во дворе дома, прокручивая в голове возможные версии этого преступления.

В этот момент из дома вышли участковый инспектор и эксперт-криминалист, в руках которого был небольшой фотоаппарат. Они закурили, смачно затягиваясь сизым дымом. Кудрин присоединился к ним, прикуривая сигаретку.

— Юра, — обратился он к участковому инспектору, — нужно срочно «пробить» по адресному бюро Трошина Олега Ивановича, сына потерпевшего

от первого брака. Ему где-то лет восемнадцать, и он учится в каком-то техникуме.

— Конечно, — ответил Василенко, — тут рядом мой пункт охраны правопорядка, я сейчас же схожу туда и всё сделаю.

— Саша, — обратился к эксперту-криминалисту Кудрин, — у меня к тебе тоже просьба есть: сфотографируй, пожалуйста, отпечатки следов, какие я тебе покажу.

Сфотографировав следы, эксперт-криминалист и Кудрин вошли в дом, а Василенко быстрым шагом пошёл в сторону Нагатинской улицы.

Врачебная бригада, забрав тело потерпевшего, уехала, а Андреев продолжал составлять протокол осмотра места происшествия.

— Вот что ещё, — сказал эксперт-криминалист, обращаясь к Кудрину, — когда ты опрашивал соседей потерпевшего, во дворе дома я обнаружил закрытый чёрный зонтик с эффектной пижонской белой рукояткой, на которой, несмотря на дождь, сохранились характерные пятна бурого цвета.

Женя аккуратно осмотрел находку и задумчиво произнёс:

— Странно, зонтик весь мокрый, а рукоятка сухая!

— Да в том-то и фокус, — продолжал эксперт-криминалист, — что зонтик большей частью лежал на земле, как говорится, под открытым небом, а его рукоятка каким-то невероятным образом была под поленом. Чудеса какие-то!

— Да, странно всё это, — произнёс Кудрин.

— Ну я, кажется, тоже закончил, — сказал Андреев, прощаясь с понатыми. — Покурим, Женя, перед дорогой?

Они вышли во двор и закурили.

— Ну поведай, Женя, что «нарыл»? — спросил Андреев. Следователю нравился этот дотошный молодой оперативник, хотелось с ним побеседовать и узнать его мнение.

Кудрин рассказал ему о показаниях соседки Яровой, о разговоре с братом потерпевшего и о найденных следах обуви нескольких лиц.

— Ты знаешь, Слава, — глубоко затянувшись сигаретным дымом, продолжал он, — у меня ещё мало опыта в расследовании таких преступлений, но интуиция подсказывает, что, возможно, всё было совсем не так, как кто-то «нарисовал» нам картину этого преступления.

— Вот оно как! Но она предельно ясна, — возразил Андреев. — Во-первых, сын потерпевшего последним заходил вечером в дом отца; во-вторых, ты же сам сказал, что соседка видела, как они поссорились и Олег выскочил из дома отца в крайне возбуждённом состоянии; ну а в-третьих — в случае смерти отца сын, как единственный наследник, получает всё его имущество.

— Ну да, он что дурак, — возразил Женя, — чтобы прийти к отцу и хладнокровно убить его, оставляя многочисленные следы? Напряги своё воображение, Слава, зачем Олегу было убивать своего отца, больного неизлечимой болезнью, ему и так недолго оставалось жить на этом свете, а имущество — оно и так достаётся ему как единственному наследнику.

— А если Олегу очень нужны были деньги, а отец отказал ему? — не унимался Андреев.

— Может быть, так оно и было, — неуверенно ответил Кудрин, — но чтобы из-за этого убивать своего отца, а перед этим перевероршить все вещи, да и ещё сорвать с его шеи нательный крестик...

— Завтра увидим заключение эксперта-криминалиста, и всё, возможно, прояснится, но на этот момент я считаю, что улики против Олега достаточно, чтобы задержать его в качестве подозреваемого в совершении этого преступления, — настаивал на своей версии Андреев.

— А я хотел бы обратить твоё внимание ещё на один факт, — продолжал Кудрин, — во дворе у окна и на порожке дома я обнаружил следы от ботинок большого размера с квадратным носом и ботинок меньшего размера.

— Ну и что это за факт? — парировал следователь. — Ты фантазёр, эти следы могли быть оставлены кем-то из ранее приходивших к Трошину людей.

— Да нет, следы свежие, хорошо отпечатавшиеся на глине после прошедшего ночного дождя, — ответил Женя. — Ну а глина на полу комнаты тебе ничего не говорит?

— Да, может быть, Олег с отцом сначала погуляли во дворе, а потом просто в грязных ботинках зашли в дом, а видимых следов обуви в комнате мы не обнаружили.

— Но под окном у дома и на порожке они есть, — возразил Кудрин.

— Хорошо, — устало махнул рукой следователь, день близился к концу, пора уже было расходиться, — я остаюсь при своём мнении и в рапорте обосную свою версию этого преступления, а ты можешь фантазировать и выстраивать свои предположения.

— Думаю, что не совсем верно упираться на одной единственной версии и концентрировать своё внимание на личности Олега Трошина как убийце, — не унимался Кудрин, — хотя, конечно, улики и предопределяют именно это. Когда мы его задержим, всё выяснится, хотя я прекрасно понимаю, что именно эти улики против него в принципе свидетельствуют в пользу твоей версии, но я лишь высказал мысль, что возможны и другие, отличные от этой.

— Так, — проговорил следователь, — мы все закончили и уезжаем, а завтра утром, как обычно, пришлю все документы в ваше отделение милиции.

Попрощавшись, они быстро уехали в райотдел.

В это время из дома вышел Валяев и передал Жене подписанное объяснение и рисунок крестика.

— Очень красивый рисунок, — сказал Кудрин и положил документы к себе в папку.

Следом подошёл Василенко и сообщил, что Олег Иванович Трошин проживает с матерью на Каширском шоссе, дом 14, в квартире № 5, что совсем рядом, и предложил Кудрину прямо сейчас поехать по этому адресу, пока дежурная машина ещё ждёт.

— Конечно, поедем, — согласился Женя и, попрощавшись с Валяевым, вместе с Василенко быстро направился к дежурному «Москвичу».

Через пятнадцать минут они подъехали к пятиэтажному дому, зашли в первый подъезд и поднялись на второй этаж.

Василенко нажал кнопку звонка, и дверь со скрипом открылась. На пороге стояла пожилая женщина, закутанная в пуховый платок.

— Трошин Олег Иванович здесь проживает? — спросил Василенко, показывая своё удостоверение,

— Да, а что случилось? — испуганно ответила женщина и, неуклюже попятившись назад, пропустила в прихожую неожиданных гостей.

В небольшой комнатухе на тахте, широко раскинув руки, в одежде спал худощавый молодой человек.

— Олег пришёл поздно ночью, когда я уже спала, — со вздохом сказала женщина, — видимо, где-то с друзьями выпил и завалился спать, даже не сняв с себя одежду.

— А вы, наверно, его мама? — спросил Кудрин.

— Да, Ольга Николаевна Трошина, пенсионерка, — представилась она. — А что случилось, почему вы пришли к нам домой?

— Вчера вечером у себя в доме был убит гражданин Трошин Иван Сергеевич. Так вот Олег, по всей видимости, был последним, кто приходил к нему. Мы ведём расследование, поэтому к нему есть вопросы, на которые он должен дать ответ.

— О, Господи! Да что же это такое! — всхлипнула она, пуховый платок скользнул на пол, и без него она вдруг стала худенькой и беззащитной. — Олег мне говорил, что собирался вчера к отцу за деньгами на покупку мопеда, так как он когда-то обещал выделить небольшую сумму денег, но я его со вчерашнего дня не видела, поэтому не могу больше ничего сказать. Я абсолютно уверена, что сын никогда бы не поднял руку на отца. Никогда! — голос её дрожал, но в нём появилась твёрдость.

— Конечно, у нас с бывшим мужем были непростые отношения и это в определённой мере сказалось и на сыне, — продолжала она. — Иван по характеру очень грубый человек, он буквально изводил меня, я не могла это больше выдерживать. Поэтому и рассталась с ним. Ну а с Олегом он поддерживал отношения и даже помогал деньгами на покупку одежды или других предметов, но лично только для него.

— Мы разберёмся, — покачал головой Кудрин, — а сейчас прошу вас разбудить сына и дать мне его паспорт. А потом мы с ним поедem в отделение милиции на Хлебозаводской проезд.

Не без труда Ольга Николаевна разбудила сына, он поднялся и, уставившись на работника милиции, боднул головой воздух, удивлённо спросил:

— Мама, а зачем ты милицию-то вызвала?

— Олег, иди умойся, приведи себя в порядок, и мы поедem в отделение милиции, — сказал Василенко.

Через несколько минут они вышли из квартиры и направились к стоящей у подъезда машине. По приезду в отделение милиции Кудрин и задержанный сразу прошли в оперативный кабинет, а Василенко остался в дежурной части.

Юноша уже очухался и сидел на стуле, испуганно озираясь по сторонам.

— Ты где так напился, что перегаром тянет, как из паровозной топки? — спросил Кудрин.

— Да вчера вечером, после ссоры с отцом пошёл к друзьям, они меня и угостили самогоном, — криво усмехнулся Олег.

— А ты догадываешься, почему тебя привезли в отделение милиции? — задал вопрос Женя.

— Нет, не догадываюсь и вообще ничего не понимаю.

— Дело в том, — тихо проговорил Кудрин, — что вчера поздно вечером твой отец был убит у себя дома, а ты последний, кто в поздний час заходил к нему.

Олег удивлённо посмотрел на стоящего перед ним оперативника и, проглотив слюну, произнёс:

— Как у-убит?

Женя посмотрел на него и увидел, как на юном мальчишеском лице брызнули слёзы и что парень потрясён таким известием.

— Вот и я хочу узнать, как это случилось, — ответил Кудрин, — давай рассказывай, что произошло у тебя с отцом вчера вечером.

На щеках парня были слёзы, ему и пришлось вытирать их рукавом рубашки.

— Я пришёл к отцу вчера около десяти часов вечера, — проговорил он, — попросить денег для покупки мопеда, он мне ещё весной обещал дать. Но отец был не в себе, отказал мне. Да ещё и кричать стал, ругаться, хотя повода я не давал, а потом вообще замахнулся и ударил меня ладонью по щеке. Ну, думаю, хватит, надо уходить. А когда он замахнулся во второй раз, я поднял для защиты руку со сжатым кулаком, так он налетел на него, ударился сильно носом, и брызнула кровь. Потом я просто выбежал из дома и пошёл к своему товарищу, который тоже живёт на Нагатинской улице.

— А может быть, ты не договариваешь чего-то, может быть, вы по-мужски подрались, а потом ты ненароком и придушил отца? — допытывался Кудрин.

— Да что вы? Я не убивал его и рассказал всё, как было на самом деле, — захныкал Олег.

— А чей пижонский зонтик с белой рукояткой, который мы нашли во дворе дома? — продолжал Женя.

— Да это мой зонтик, — ответил парень, — когда я пришёл к отцу, дождя ещё не было и зонтик я бросил на тумбочку в прихожей. А когда уходил, просто забыл о нём и вспомнил только сейчас, когда вы напомнили мне о нём.

— Как показала гражданка Яровая из соседнего дома, вы часто ссорились с отцом, а вчера она видела, как ты вышел от отца возбуждённым, — проговорил Кудрин.

— Да, характер у него сложный, — ответил Олег, — особенно нервничать он начал после смерти второй жены, хотя в принципе мы с ним ладили, и он мне давал деньги на покупку каких-нибудь вещей. Он иногда взрывался по всяким пустякам, на которые нормальный человек не обратил бы внимания, но я понимал, что так ведёт себя неизлечимо больной человек, у которого обнаружили раковое заболевание.

Женя ещё раз обмерил взглядом сидящего напротив молодого парня: худощавое тело, тоненькие ручки, маленькие ладошки, испуганные детские глаза.

«Нет, — подумал он, — не верится, что этот «хлюпик» смог задушить такого борова, как его отец; скорее, было бы наоборот...»

— А ты никого не видел, когда выходил вчера из дома отца, может быть, что-то тебя насторожило?

— Нет, никого не видел, — ответил парень.

— Пока ты побудешь здесь у нас до выяснения всех обстоятельств, как я вижу алиби у тебя нет, поэтому ты будешь считаться задержанным по подозрению в убийстве Трошина Ивана Сергеевича, — подытожил Кудрин.

— Да не убивал я отца, — захныкал Олег и громко зарыдал.

— Это только подозрение, не более. Попей водички и успокойся, — сказал Женья и протянул ему стакан воды.

Когда дежурный офицер пришёл за Олегом, чтобы отвести его в камеру, Кудрин попросил «откатать» его пальцы и сегодня же отправить эксперту-криминалисту в райотдел, а сам усталой походкой пошёл во двор подышать свежим воздухом.

Выйдя из здания, он увидел, что из курилки валит сигаретный дым, а вокруг Ерихина стоят коллеги, которым он что-то рассказывает. Женья присоединился к ним и тоже прикурил сигарету.

— Представляете, мужики, — говорил Лев Алексеевич, — сегодня утром открываю газету, а там опять американского шпиона задержали с поличным, лезут к нам как мухи назойливые.

— Да что ты всё про политику вещаешь, — сказал Саша Блинов, — я тут каждый день сам ловлю...

— Понятно, — со смехом перебил его участковый инспектор Гришин, — почему ты зачастил к дерматологу.

— Да это я исключительно по делу ходил и то только один раз, — с обидой в голосе ответил Блинов.

— А туда без дела не ходят, — ответил с усмешкой Ерихин и попросил подошедшего Кудрина рассказать новый анекдот.

Все знали особенность Жени, он запоминал массу анекдотов, а иногда и записывал их в своём маленьком блокноте, который всегда носил с собой в кармане пиджака. И когда сотрудники вместе собирались, они обычно просили его рассказать что-нибудь новенькое.

— Значит, так, — без преамбулы начал Кудрин. — Джона три года учили в разведывательной школе под Калифорнией разговору с рязанским акцентом и усталой походке тракториста. По окончании школы его забросили к нам в Рязанскую область. Он, как учили, подошёл усталой походкой к колодезю, из которого какой-то мужик набирал воду и на чистом рязанском спросил:

— А далеко ли до райцентра?

Мужик отвечает:

— Дык, до райцентра недалеко, а вот шпионам мы такую информацию не говорим.

— А откуда ты, мужик, узнал, что я шпион?

Мужик отвечает:

— На нашей рязанской земле отродясь негров не было.

Все громко рассмеялись, а Женя, загасив окурок, направился на доклад к Николаеву и подробно рассказал ему о событиях сегодняшнего дня.

— Ну, какие версии выдвигаешь и какова, на твой взгляд, мотивация этого преступления? — первым делом спросил Павел Иванович, выслушав обстоятельный доклад Кудрина.

— Рассуждая в целом над этим преступлением, — начал Женя, — я исхожу из аксиомы, что истиной, какой бы она не казалась, является именно та, которая остаётся, если отбросить все незначительные и, на первый взгляд, вроде бы единственно верные улики.

— Ты так академично рассуждаешь, — проговорил Николаев, — как будто бы я нахожусь на семинаре по криминологии.

— Слушайте, пожалуйста, дальше. Это дело, на мой взгляд, допускало несколько вариантов ответа на вопрос о мотивах совершённого преступления. Кому была выгодна смерть Трошина? Во-первых, его сыну от первого брака Олегу, который около десяти часов вечера пришёл к отцу за деньгами, а тот отказал, стал кричать на него и даже ударил по щеке. Если исходить из того, что Олег учится в техникуме и стипендия у него небольшая, а мать — пенсионерка, то достатка в доме не было. Поскольку Олег является единственным наследником, то дом в случае смерти отца перешёл бы к нему. Так вот, в отношении Олега достаточно улик, доказывающих, что Трошина убил именно он, и мотив, хоть и хлипкий, но всё же имеется.

— Во-вторых, — продолжал размышлять Кудрин, — убить Трошина могли другие лица, с целью ограбления последнего, и никаких других версий я придумать не могу. Теперь, если проанализировать каждую из этих версий, то в отношении первой у меня возникли некоторые сомнения. Так, по показаниям соседки Трошина, она с дочкой около десяти часов вечера вышла во двор, чтобы снять бельё с верёвки. Она и увидела Олега выходящим из дома отца. Он быстрым шагом пошёл в сторону Нагатинской улицы, причём дождя в этот момент ещё не было. Но она видела его, находясь на заметном удалении — на пороге дома, а вот её дочка Вера, которая снимала бельё, находилась поближе по отношению к дому Трошина. Но она сегодня утром уехала к бабушке в Калугу отвезти лекарства и придет только завтра утром. Я попросил её маму, чтобы она завтра, как придет, сразу же зашла в отделение милиции.

— Так вот, вернёмся к Олегу, — продолжал Кудрин, — даже если это и он убил своего отца, зачем надо было всё переворачивать вверх дном? Он наверняка знал, где мог отец прятать деньги. И потом, ну не мог «хилак» Олег, с его тоненькими ручками придушить такого мощного мужика, как его отец. Всё это вызывает у меня сомнения.

— А следователь Андреев в рапорте настаивает о причастности сына к убийству своего отца, — заметил Николаев.

— Ну это его право излагать свою версию произошедшего, — ответил Женя и продолжил свои рассуждения. — Более правдоподобной выглядит версия о причастности других лиц к убийству Трошина.

— Обоснуй.

— Здесь не совсем понятен мотив преступления, — задумчиво ответил Кудрин. — Хотя какой он может быть у грабителя? Унести всё самое ценное, чтобы потом продать. В пользу этой версии говорят следы двух пар ботинок, оставленные неизвестными во дворе у окна и на деревянном порожке у входа в дом. После того как Олег вышел из дома и зашагал в сторону Нагатинской улицы, пошёл сильный дождь, и эти следы чётко отпечатались на размякшей глине. Причём у окна следов было много, и складывается впечатление, что там стояли неизвестные и ждали подходящего момента для проникновения в дом. Да и окурки от папирос «Север», найденные там, также подтверждают, что люди толкались в этом месте и ждали, когда Олег выйдет из дома.

— А теперь вернёмся к зонтику, забытому Олегом в доме отца, — продолжал Кудрин. — Олег показал, что оставил его на полке в прихожей дома, а когда уходил, то просто забыл его забрать. А эксперт-криминалист нашёл его мокрым, лежащим рядом со сложенными дровами у сарая. Но самое удивительное оказалось в том, что хотя сам зонтик был мокрым, на его абсолютно сухой белой рукоятке, которая лежала под массивным деревянным чурбаком, виднелись бурые следы, похожие на кровь. Это меня навело на мысль, что, возможно, кто-то специально обмакнул рукоятку зонтика в кровь, вытекавшую из носа потерпевшего, а потом аккуратно положил под полено. Тем самым как бы показывая следствию на прямую улику совершения преступления Олегом. Возможно, эти неизвестные видели через окно с полуопущенными шторами их ссору и, дождавшись его ухода, вошли в дом и убили Трошина. А когда поняли, что брат там нечего, сорвали крестик с шеи потерпевшего и решили подставить улики именно под молодого человека.

— Как я понимаю, в своём объяснении Олег именно об этом и говорил? — спросил Николаев.

— Да, он не отрицает ссору с отцом, но свою причастность к убийству отца категорически отвергает, — ответил Женя. — И я склоняюсь к версии о том, что убийство Трошина совершили какие-то неизвестные с целью ограбления.

— Но судя по твоему описанию и показаниям брата потерпевшего, у Трошина нечего было брать, он вёл скромный образ жизни, — проговорил Николаев, — да и его брат сказал, что ничего не было украдено.

— Вот здесь у меня и возникает главный вопрос, ответа на которого нет. Зачем они полезли в дом к одинокому пожилому человеку и убили его? — развёл руками Кудрин.

— Ну, некоторые особи лезут в квартиры наобум для того, чтобы что-то украсть, — ответил Павел Иванович.

— Но не убивать.

— Да, — покачал головой Николаев, — в уголовной практике, если преступник проникает в дом и убивает хозяина, значит, он чётко шёл «по наводке» и знал, зачем шёл.

— Вот то-то и оно, а тут не взяли ни радиоприёмник, ни часы с кукушкой, ни даже деньги из кошелька. Какие-то странные грабители, хотя серебряный крестик с бриллиантами на концах сняли с шеи потерпевшего.

Женя достал из своей папки листок бумаги, на котором брат потерпевшего нарисовал пропавший крестик и передал его Николаеву.

— Хорошо нарисовано! — сказал он.

— Так брат потерпевшего работает преподавателем рисования в школе, — ответил Женя.

— Нужно будет размножить этот рисунок и разослать по всем райотделам города, — сказал Павел Иванович, — вдруг кто-то принесёт этот крестик для продажи, ведь, судя по показаниям брата потерпевшего, бриллианты там настоящие. И подготовь документы для задержания Олега Трошина в качестве подозреваемого в совершении преступления.

— Сейчас же этим займусь.

Оформив все необходимые документы, он отнёс их в дежурную часть и снова пошёл в свой кабинет.

Поскольку никого из коллег-оперативников на месте не было, Женя сел за свой стул и по привычке уставился в окно. Солнце уже скрылось за стоящими напротив домами, и сумерки охватили все прилегающие окрестности.

«Ну и денёк сегодня был», — подумал он и, закрыв глаза, задремал. Ему чудилась мама, которая жарила на сковородке его любимые пирожки с капустой, запах от которых стоял по всей квартире.

— Женя, ты спишь? — как гром среди ясного неба прозвучало у него над головой.

Он с трудом открыл глаза и увидел стоящего перед ним своего коллегу Витю Колосова с большим бумажным пакетом, из которого виднелись пончики, посыпанные сахарной пудрой.

— Угощайся, пока они горячие, — сказал он и положил пакет с аппетитно пахнущими пончиками прямо перед Женей.

Кудрин схватил рукой один пончик и целиком засунул его себе в рот. Едва прожевав, он нацелился ещё на один, но стал его есть уже не спеша, с наслаждением, откусывая маленькие кусочки.

— Спасибо, Витя, а то я сегодня ничего не ел, — благодарная улыбка не сходила с его лица, ведь это любимые пончики — вкус детства.

— Ну и хорошо, а теперь пора собираться домой.

— А который час? — спохватился Женя.

— Да уже восемь вечера.

— Как восемь вечера? Не может быть, — вскочил со стула Кудрин и, посмотрев на часы, ударил себя ладонью по голове, — какой же я дурак, забыл про встречу с Ниной! Понимаешь, Витя, я вчера познакомился с девушкой, и мы договорились встретиться сегодня в семь часов вечера у входа в Зелёный театр в Парке культуры, где должен состояться концерт инструментальной музыки, а я тупо проспал.

— Ну, сейчас уже поздно туда ехать, — ответил Колосов, — пока ты доберёшься, концерт уже закончится, так что иди домой, а завтра утром

созвонишься с ней и решишь, надо тебе с ней общаться или нет. Может, тебе подсказали, что сегодня тебе встречаться не стоит.

После этих слов Колосов поднял глаза вверх и большим пальцем указал не потолок.

— Николаев что ли? — удивился Женя.

— Да причём здесь Николаев! Это наш Всевышний, который находится в небесах и всё про всех знает.

— Витёк, ты что, в бога веришь? — удивлённо спросил Женя.

— Ну не то чтобы верю, но понимаю, что над нами существует что-то такое, что ведёт каждого человека по его жизненному пути, — ответил Колосов и вышел из кабинета.

Кудрин, положив документы в сейф, ещё минут десять стоял у окна и «пережёвывал» сказанное Колосовым, а потом вышел из кабинета и пошёл в сторону трамвайной остановки.

На следующий день, придя на работу, Женя первым делом позвонил Нине.

— Слушаю вас, — раздался нежный голос девушки.

— Это Женя звонит, — волнуясь ответил Женя, — я хочу извиниться за вчерашний вечер, на работе был завал с очередным расследованием, и я не смог подойти к Зелёному театру.

— Продолжайте дальше расследовать свои дела, а мне больше не звоните, — сказала она ледяным тоном и повесила трубку.

Женя уставился на трубку телефона, из которой раздавались прерывистые гудки.

— Что, любовь прошла, погасли свечи? — спросил Колосов. — Не отчаивайся, на твой век ещё много красивых и порядочных девчонок найдётся.

— А где их найти таких? — уныло спросил Кудрин. — С такой работой их днём с огнём не найдёшь.

— А ты посмотри на нашего Сашку Блинова, — возразил Колосов, — что ни день, то новая девушка у него, а работает так же, как и мы все, — от зари до зари.

— Да баламут твой Сашка, — ответил Женя, — он ведь уже один раз был женат, поэтому и опыта у него предостаточно.

— Что баламут, это верно, — улыбаясь сказал Колосов, — но какие девушки его окружают! А тебе, Женька, мы обязательно найдём — беременную, но честную.

— Да ну тебя, — огрызнулся Кудрин, — у тебя какой-то казарменный юмор.

— А я тебе больше скажу, — не унимался Колосов, — хорошо, что так случилось на первом этапе знакомства, не зря народная мудрость говорит: «Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть будет».

В этот момент в кабинет вошёл дежурный офицер и передал Кудрину пакет из райотдела. Женя раскрыл его и вынул протокол осмотра места происшествия и заключение эксперта-криминалиста. Прочитав протокол, он более детально остановился на втором документе, из которого стало понятно, что, как он и предполагал, в комнате было обнаружено много отпечатков

пальцев сына потерпевшего. А на рукоятке зонтика, принадлежащего также Олегу Трошину, обнаружены микрочастицы крови, идентичные группе крови его погибшего отца.

— Олег утверждал, что зонтик он оставил в прихожей, когда пришёл к отцу, — подумал Кудрин, — а нашли его во дворе у поленницы. Или Олег говорит неправду, или другое неизвестное лицо специально подложило его под полено таким образом, чтобы дождь не замочил его рукоятку. А это значит, что кто-то старательно пытается увести следствие по ложному пути.

В дверь кабинета постучали, и на пороге появилась молодая девушка с большой русой косой в ярко-синем платье в горошек. Женя посмотрел на неё и отметил стройную фигуру девушки. «Всё в ней ладненько, — подумал он, — за исключением длинного носа, похожего на клюв коршуна».

Кудрин пригласил её присесть на свободный стул, стоящий рядом с его письменным столом, поздоровался и представился. А девушка достала из сумочки паспорт и протянула его Жене. Он бегло пролистал его, отметив про себя, что на фотографии она выглядела более симпатично.

— Расскажите, Вера, о том, что вы видели вчера вечером, когда снимали сушившееся бельё.

— Где-то около десяти часов вечера мы вышли во двор, — начала говорить она, — мама стояла под навесом у двери дома, а я снимала с верёвки бельё. Через некоторое время я увидела, как резко открылась дверь соседского дома и оттуда буквально выбежал Олег, сын Ивана Сергеевича; он был возбуждён и что-то бубнил себе под нос. Через мгновение за ним следом вылетела его фуражка и упала на землю, и я услышала голос соседа, который крикнул, чтобы тот больше к нему не приходил. Олег поднял с земли фуражку, надел её на голову и ушёл. Я думаю, что они в очередной раз поссорились.

— А в руках у Олега было что-нибудь? — спросил Кудрин.

— Нет.

— А вы общались раньше с ним? — допытывался Женя.

— Конечно, общалась, — ответила она, — парень он интересный, много читает, старается быть модным, только денег на это не хватает. Чтобы обратить на себя внимание, купил где-то импортный зонтик с белой ручкой и ходит с ним, делая вид, что дождь у нас идёт постоянно. По характеру он баламут ещё тот, мог знакомиться и встречаться с разными девушками по пять раз за день. Он как-то рассказывал мне, что приходил к отцу только тогда, когда ему нужны деньги на какие-то покупки. Олег учится в техникуме, где о-очень маленькая стипендия, а мать давно уже пенсионерка, ну что с неё взять. Больше ничего добавить не могу.

— Спасибо, вы очень нам помогли, — поблагодарил девушку Кудрин и протянул ей два чистых листа бумаги. — Напишите всё, что рассказали мне.

Написав объяснение и попрощавшись, она вышла из кабинета, а Женя пошёл к Николаеву докладывать о новых открывшихся деталях дела.

Он подробно рассказал о присланных из райотдела документах и о беседе с Верой Яровой.

— Да, — проговорил начальник, — похоже, у Олега Трошина есть алиби.

— Конечно, кто мог кинуть вслед ему фуражку, чужих людей в доме не было. А окрик отца говорит сам за себя. Поэтому получается, что, когда он выходил из дома, отец ещё был живой, а это говорит о том, что Олег Трошин невиновен.

— А как же кровь на ручке зонта? — спросил Николаев. — Как этот предмет оказался во дворе, накрытый поленом?

— Олег объяснил, что зонтик он забыл в доме отца, а каким образом он очутился во дворе с пятнами крови, я уже вам вчера об этом говорил, — ответил Женья и достал из своей папки несколько фотографий, сделанных экспертом-криминалистом на месте происшествия. — Прошу обратить внимание на фотографии следов ботинка с квадратным носом, которые я обнаружил за углом дома и на деревянном порожке.

— Преступники могли предположить, — продолжал рассуждать Кудрин, — что мы «клюнем» на их ложный след в отношении ручки зонтика, которую они испачкали кровью, вытекавшей из носа потерпевшего. Они прекрасно понимали, что мы проведём экспертизу пятен крови на зонтике для сличения с группой крови потерпевшего. У них хватило фантазии, чтобы подложить зонтик во двор, как бы намекая нам, что Олег бил им отца, потом задушил его, а зонтик выбросил, когда уходил из дома.

— Но Трошину ведь просто свернули голову? — спросил Николаев.

— Совершенно верно, — ответил Женья, — однако на его лице, голове и руках были видны прижизненные кровоподтёки. А это, вероятнее всего, и укладывалось в представлении преступников, пытавших беднягу, что этим зонтом парень и мог нанести травмы Трошину. Если обобщить всё то, что я вам сказал, то приоритетной версией считаю убийство Трошина другими неизвестными лицами с целью ограбления.

— Убедительно, — поджал губы Николаев, — будем придерживаться этой версии, а Олега надо отпустить домой, только пусть он в ближайшие дни не уезжает из города.

— Есть, — по-военному ответил Кудрин и вышел из кабинета начальника.

Женья вышел во двор и увидел знакомую картину, в курилке опять собрались сотрудники отделения милиции и бурно обсуждали, кто где летом отдыхал. Кудрин, не вступая в разговор, курил немного в стороне, так как голова была занята только одним вопросом: что делать дальше, ведь кроме следов обуви неизвестных ничего нет. Беда!

Вдруг все как по команде повернулись к нему:

— Ты что такой усталый, как будто разгрузил вагон дров, расслабься и порадуй народ новыми анекдотами.

— Ну хорошо. Значит, так, про отпуск. Один мужик говорит другому:

— Приезжай, Вася, к нам на море, у нас есть скалы, с них можно прыгать. Разбегаешься, прыгаешь и ба-бах..

— Ты имеешь в виду — бултых?

Мужик отвечает:

— Ну если на море прилив, то бултых...

Все громко рассмеялись В этот момент вышел дежурный офицер, который попросил Кудрина срочно зайти к Николаеву.

«Странно, — подумал Женя, — я ведь только что был у него».

Он загасил недокуренную сигарету и быстрым шагом пошёл к начальнику.

— Вот что, Женя, — сказал Николаев, — мне только что звонили из Черёмушкинского РОВД, там, кажется, объявился какой-то мужик, который пытался продать похожий серебряный крестик местному ювелиру. Поезжай туда, майор милиции, заместитель начальника по розыску Свешников предупредён о твоём приезде. Он мне обещал оказать содействие и выделить тебе в помощь своего оперативника.

Уже через час Кудрин шагал по коридорам Черёмушкинского райотдела. Постучавшись в указанную дежурным офицером дверь, он зашёл в кабинет Свешникова и, представившись ему, предъявил удостоверение личности. Майор набрал номер телефона и попросил своего сотрудника зайти к нему. Через несколько минут в кабинет вошёл моложавый человек высокого роста в сером костюме и в ботинках, начищенных до блеска.

— Капитан милиции Сомов Роман Андреевич, — представил вошедшего Свешников.

— Лейтенант милиции Кудрин Евгений Сергеевич. — Женя пожал вошедшему руку.

— Мне сейчас некогда, все указания я дал, Роман окажет тебе помощь и содействие, — сказал хозяин кабинета, давая понять, что разговор окончен.

— Пойдём на улицу, перекурим это дело, — предложил Сомов, когда они вышли из кабинета Свешникова.

Во внутреннем дворе райотдела они присели на лавочку, на краю которой красовалась консервная банка с сигаретными окурками и закурили.

Женя коротко рассказал Роману о цели своего приезда.

— Значит, такое дело, — в свою очередь, начал говорить Сомов, — вчера вечером в кафе у рынка произошла небольшая драка. В принципе — ничего особенного, но одного наиболее активного молодого забияку участковый инспектор всё же доставил в дежурную часть райотдела. А сегодня утром туда прибежал отец того парня — некий Фунт Михаил Аронович, заведующий ювелирной мастерской у Черёмушкинского рынка.

— Известная фамилия, — усмехнулся Женя, — один персонаж, если мне память не изменяет, сидел и при Николае втором, и при Временном правительстве и при советской власти тоже.

— Ну, этот Фунт пока ещё дышит воздухом свободы, — ответил Роман, — хотя грешки за ним числятся. Так вот, парню тому выписали штраф и отпустили домой, поскольку заявления на него никто не написал, а вот дежурный показал его отцу присланную вами ориентировку с рисунком серебряного крестика. Фунт сразу признал, что сегодня утром к нему в мастерскую заходил известный в этой округе парень по кличке Харя и пытался продать похожий серебряный крестик с бриллиантами, но не сошлись в цене и он ушёл. Харя — действительно известный хулиган в нашем районе, уж не припомню,

сколько раз ему выносили предупреждения; несколько раз привлекали к административной ответственности за пьянство и драки.

Сомов вынул из кармана пиджака сложенные листы бумаги и передал их Кудрину.

— Здесь справка на Харитонову — Харю и объяснение Фунта, которое на всякий случай взял дежурный офицер, — проговорил он.

Женя внимательно прочитал и отметил:

— Судя по описанию ювелира, возможно, что это именно тот крестик, который сняли с шеи убитого Трошина. А где сейчас можно найти этого Харитонову?

— Да он почти каждый день тусуется возле рынка, а потом с друзьями выпивает в кафе при нём, — ответил Сомов. — Я предлагаю сейчас пойти на рынок и поговорить с участковым инспектором Семёновым, он один из самых опытных работников и этот участок обслуживает не один год. Думаю, что у него на этого Харитонову много материала наберётся.

С этими словами Роман достал из своей папки ещё один листок бумаги с приколотой скрепкой фотографией круглолицего мужчины и протянул его Жене.

— Это краткая справка на Харитонову и его фотокарточка, — сказал он, — прочитай и тебе сразу станет ясно, что это за тип. Можешь забрать их себе.

Прочитав написанное, Кудрин поблагодарил Романа, и они, докурив сигареты, пошли в сторону Черёмушкинского рынка.

Минут через двадцать они уже были в массивном здании и, пройдя вдоль торговых рядов, вошли в дверь, на которой висела табличка «Милиция». За письменным столом сидел мужчина средних лет в форме капитана милиции и что-то писал. Увидев вошедших, он привстал из-за стола и поздоровался.

— Приветствую вас, Борис Иванович, — сказал Сомов и представил ему Кудрина.

— Мы по поводу Харитонову, — сказал Женя, — он подозревается в совершении убийства.

— Вот как! — воскликнул Сомов. — Доигрался, значит. У меня тоже есть куча материала на него: и драка в кафе несколько дней назад, и вчерашнее заявление гражданки Лядиной о попытке изнасилования.

— А почему вы до сих пор не задержали его? — удивился Кудрин.

— Да боятся люди писать на него заявление, — ответил Семёнов, — но я всё равно на вечер ещё раз вызвал тех парней, которых избил Харитонов со своими друзьями. А эта Лядина, чтоб у неё рога на лбу выросли, известная в этих краях профурсетка. Местная шпана, когда речь заходит о ней, произносит впереди ещё одну букву... Она и написала вчера заявление после того, как Харитонов поставил ей «фонарь» под глазом, а сегодня клянчит, чтобы я его ей вернул. И ещё говорит, что сегодня они с ним в ЗАГС идут.

— В пивную они пойдут, а не в ЗАГС, — проворчал Роман.

— Так как можно его найти? — спросил Кудрин.

— А чего его искать? Оттягивается наверняка пивом в нашем кафе после вчерашней пьянки.

Через запасной выход они вышли во внутренний двор, где в небольшой пристройке располагалось кафе для сотрудников рынка. В кафе дым стоял коромыслом, не спасало даже раскрытое окно. За столиком курили трое мужчин. Особенно выделялся в этой компании атлетически сложенный молодой человек с красной физиономией и оттопыренными ушами, который что-то громко говорил сидящим рядом мужчинам.

— Это и есть Харя, — на ухо Кудрину прошептал участковый инспектор, указывая жестом на него.

Сидящие за столом напряглись, увидев подошедшего к ним человека в милицейской форме с двумя попугайчиками в штатском.

— Харитонов, вставай и пройдем в комнату милиции, к тебе есть вопросы, — сказал Семёнов.

— Чего-о? — пробурчал тот. — Никуда я не пойду.

Женя заметил как Харитонов схватил рукой лежащую на столе вилку и крепко сжал её. Натренированным движением Кудрин выхватил из-под своей куртки пистолет и тихо сказал:

— Не дури!

— Я понял и уже иду, нервы у меня, — оправдался Харитонов, встал не спеша положил вилку на стол и подошёл к участковому инспектору.

— Ты не шути так, не испытывай терпение, — строго сказал Кудрин, убирая пистолет в кобуру. — Тебе сказали идти в комнату милиции, значит, так надо, а к твоим друзьям мы ничего не имеем, пусть дальше отдыхают.

Они вышли из кафе. В комнате милиции Женя предложил Харитонову вынуть всё из карманов и положить на стол.

— А где санкция на обыск? — Харитонов ехидно окинул всех взглядом и положил руки в карманы.

— Причём здесь обыск? — спокойно сказал Сомов. — Мы тебя просим добровольно выложить всё из карманов, а то вдруг у тебя ещё какая-нибудь вилка лежит.

Харитонов нехотя стал выкладывать содержимое из карманов брюк и летней куртки, а Женя, скользнув взглядом по его обуви, чуть не вскрикнул, увидев ботинки с квадратными носами.

— А здесь что? — спросил Сомов, указывая на внутренний карман куртки.

Харитонов инстинктивно прикрыл его рукой, но участковый инспектор отогнул маленький кармашек, и на пол выпал небольшой серебряный крестик с четырьмя характерными кристалликами. Женя поднял его и понял, что в его руке лежал крестик, снятый с шеи Трошина.

— Откуда крестик? — спросил Сомов.

— Да это крестик моей бабушки, — поспешил ответить Харитонов.

— Ну да, конечно, — усмехнулся Кудрин, — очень странно, что ты носишь его во внутреннем кармане куртки.

Кудрин попросил участкового инспектора пригласить понятых, а сам достал из папки листок бумаги и стал писать протокол изъятия крестика.

Через минуту Семёнов уже вводил в кабинет двух женщин, а Сомов усадил Харитонову за стул и встал с ним рядом.

Когда протокол был написан, а понятые покинули помещение, Женья положил его в папку. В этот момент Харитонов резко встал со стула, ударом кулака в лицо опрокинул Кудрина на пол, оттолкнул грузного участкового инспектора прямо на стоящего Сомова и резво выбежал из кабинета в сторону запасного выхода. Никто не ожидал такой прыти. Бросились в погоню во двор, обыскали всё вокруг, но Харитонova и след простыл.

— Ну и что теперь будем делать? — Кудрин не мог отдышаться от погони, злость переполняла его.

— Думаю, по домашнему адресу его искать бесполезно, — ответил Сомов, — заляжет на дно у своих дружков, поэтому надо объявить его в розыск, и, уверен, что в скором времени он как-то проявится.

— Больше здесь ждать нечего, — Женья поблагодарил коллег и отправился в своё отделение милиции.

По приезде на работу Кудрин первым делом отправился на доклад к начальнику. Он обстоятельно рассказал о задержании Харитонova, о его бегстве и показал серебряный крестик, изъятый у него. Николаев долго рассматривал его, а потом произнёс:

— Ты пригласи в ближайшее время брата потерпевшего и предъяви ему крестик для опознания.

— Хорошо, — ответил Женья.

— А теперь поведай, — сердитым тоном произнёс он, — как вы, трое здоровых и вооружённых людей, могли упустить Харитонova, а ты при этом ещё и в глаз получил?

— Да всё так быстро произошло, мы даже не успели среагировать, — стал оправдываться Кудрин, — но Сомов обещал объявить его в розыск.

— Да не он, а мы должны это сделать, — почти закричал Николаев, — детский сад какой-то! У тебя есть все его данные и даже фотография имеется, так что иди и занимайся делом, а не рассказывай мне сказки про то, что кто-то должен за тебя делать твою работу.

— Есть, — коротко ответил Женья и вышел из кабинета.

Сегодняшний «прокол» при задержании преступника и неллицеприятный разговор с начальником негативно сказались на неуёмном и пылком характере Кудрина. Он зашёл в свой кабинет и, не обращая внимания на своих коллег, молча сел за стол. Посмотрев в окно, Женья увидел, как падали жёлтые листья и вспомнил о платочке такого же цвета, который был на шее у Нины в кафе, и от этого ему стало совсем грустно.

«Как жалко, что общение с ней не продолжилось, — думал он, — но я же не виноват, что целый день носился с этим происшествием. Что делать, когда девушка отказывается общаться? Понятно, что я не учёл элементарной истины: любая девушка противоречива в своих действиях и словах. Вот в начале их беседы она не обратила на него никакого внимания, делая вид, что ей некогда с ним разговаривать. Но потом проявила интерес как к сотруднику уголовного розыска и с удовольствием стала общаться. И ещё,

может быть, не надо было оправдываться, а просто сказать: мол, виноват и всё. Объяснить своё отсутствие можно было позже, когда страсти улягутся. А лучше было бы заранее придумать «маленькую хитрость» и ещё в кафе предупредить Нину о том, что у меня психологическая неуверенность в общении с девушками, связанная с тем, что год назад без объяснения причин меня бросила моя подруга и ушла к другому. Может быть, жалость с её стороны оказалась бы сильнее всей этой женской психологии и все было бы в порядке. Надо бы позвонить ей через некоторое время!»

— Ты что такой подавленный? — Ерихин с трудом оторвался от своих бумаг.

Кудрин нехотя поведал ему о нелепом разрыве с девушкой и нелицеприятном разговоре с начальником.

— Да брось, Женька, — махнул рукой Лев Алексеевич, — сочувствую, конечно, а что касается остального, ты что же думал, что Николаев тебя хвалить будет за твой же «прокол»? Он всё правильно сказал, а ты думай и не торопись с оценкой поведения начальства. Сегодня он тебя пожурил за промашку, а завтра похвалит. Так всегда бывает, когда люди по-настоящему радеют за работу. А ошибки совершают все. Кто не работает, тот их не совершает. А вообще, ты, Женя, молодец, убедительно доказал невиновность Олега Трошина и ещё извинился перед ним, это дорогого стоит. А главное, ты выстроил правильную версию и не поддался разговорам Андреева, вычислил настоящих преступников и нашёл крестик, снятый с убитого. Я убеждён, что ты найдёшь и доставишь в отделение милиции этого Харю.

— Дорогой мой Женька, — продолжал Ерихин, похлопывая его по плечу, — опыт приходит со временем, а сегодняшний твой «прокол» считай неудачным эпизодом в твоей личной копилке сыщика.

— Спасибо за поддержку, Лев Алексеевич, я всё понял.

— Вот и хорошо, — сказал Ерихин и вышел из кабинета.

Было уже поздно и через полчаса Женя отнёс подготовленные документы по розыску подозреваемого дежурному офицеру и снова пошёл в свой кабинет. Он стал потихоньку собирать бумаги, чтобы положить их в сейф, но вдруг дверь кабинета с шумом открылась, и на пороге появился его коллега Саша Белов.

— Женя, можешь меня поздравить, только что завершил дело по краже обуви из промтоварного магазина, — громко сказал он, — представляешь, наводчицей оказалась уборщица этого магазина.

— Поздравляю, — с грустью в голосе ответил Кудрин, — а у меня по убийству на Нагатинской улице полный мрак и никаких перспектив.

— Да ладно, все образуется, — ответил Блинов, — у меня по этому поводу есть предложение, отличающееся своей новизной.

— Это какое такое предложение? — спросил с улыбкой Кудрин.

— Понимаешь, — ответил Саша, — мой дед попросил меня купить ему бутылку портвейна. Я её купил, а потом закрутился и забыл ему отдать, так вот она бедная до сих пор лежит в моём столе. Предлагаю её открыть и выпить, ведь это наш любимый «Агдам».

— Не возражаю, — коротко ответил Кудрин, — всё равно скоро домой.

Блинов открыл ящик своего стола, достал бутылку портвейна, два гра-
нёных стакана и две малюсенькие шоколадки. Заученными движениями он
быстро протёр стаканы чистым листом бумаги и поставил их на стол, а по-
том вынул из другого ящика маленький штопор и лихо вынул пробку, бы-
стро разлил портвейн по стаканам и громко произнёс:

— За всё хорошее!

Потом они чокнулись и выпили, закусив шоколадками.

Женя сразу почувствовал, как живительная влага разливается по его
уставшему организму, и стало гораздо легче и веселее.

— Классный всё же мужской напиток «Агдам», — проговорил Блинов, за-
кусывая кусочком шоколадки.

— А я видел в продаже женский вариант этого портвейна, — сказал Женя, —
он называется «Ах дам».

Блинов рассмеялся и попросил ещё что-нибудь смешное рассказать.

— Значит, так, учитель математики с большого бодуна с трудом заползает
в класс и говорит:

— Дети, записывайте условие задачи. Вчера два учителя выпили на двоих
бутылку водки, затем бутылку коньяка и «залакировали» это парой бутылок
пива. И замолчал.

— А в чём вопрос? — спрашивают дети.

— А вопрос в том, на хрена они потом пошли за портвейном...

Саша снова громко рассмеялся и предложил допить оставшийся портвейн,
но Женя отказался, и Блинов допил его из горлышка и, громко крякнув,
сказал:

— Ну, теперь можно и домой идти.

Поблагодарив коллегу за поднятое настроение, Кудрин бодрым шагом
пошёл в сторону трамвайной остановки.

На следующий день с самого утра в кабинете зазвонил телефон. Женя
поднял трубку и услышал голос Романа Сомова, который сообщил, что два
часа назад у гаражей рядом с рынком было обнаружено тело Харитонова
с ножевым ранением в сердце.

— Как так? — удивлённо воскликнул Кудрин, вскочив со стула.

— Я там был в составе оперативной группы и только что вернулся на ра-
боту, — продолжал Сомов, — явных следов обнаружено не было, а ударили
его или финкой, или заточкой. Врач пояснил, что удар был точным и смерть
потерпевшего наступила мгновенно.

— Ну хоть что-нибудь удалось установить? — допытывался Женя.

— Пока это вся информация, — сказал Сомов и положил трубку телефона.

— Всё! Последняя ниточка оборвалась, — с горечью произнёс Кудрин.

— Ты чего грустишь, молодой человек? — с улыбкой спросил вошедший
в кабинет Ерихин. — Или день не задался?

— Перед тобой, Лев Алексеевич, сидит неудачник и растяпа, — грустно
проговорил Кудрин.

— Да что случилось? — с тревогой в голосе переспросил Ерихин.

Женя подробно рассказал ему о своём расследовании и произошедших событиях.

Лев Алексеевич подошёл к нему, по-отечески обнял за плечи и сказал:

— Не переживай, парень, я же вижу, как ты стараешься, однако так переживать не стоит. Наоборот — такую ситуацию надо воспринимать как стимул к дальнейшим активным действиям. По себе знаю, что иногда переживание кризиса в расследовании есть начальное звено к появлению новой, отличной от других версии.

— Вот ты сказал, что чувствуешь себя неудачником, — продолжал Ерихин. — Выкинь эти слова к чёрту и впихни в свою голову единственную фразу: «я — крутой сыщик, и у меня всё получится». И ещё, настоящие неудачники те, кто останавливается от первых неудач на тернистом пути расследования преступления. Им проще, чтобы преступление «зависло», а там трава не расти. А ты стараешься дальше идти и, что очень похвально, анализировать свои действия, что в определённой мере позволит избежать неудач в будущем. Используй метод «мозгового штурма» и попробуй написать на бумаге идеи, которые тебе пришли в голову, пусть самые фантастические.

— А что, — проговорил Кудрин и пожал плечами. — Трошина, судя по всему, убил Харя, а того неужели марсианин замочил?

— Ну, у этого марсианина должна быть фамилия, имя и отчество, — сказал Ерихин, — а у тебя всё сладится, главное — не опускать руки и продолжать двигаться дальше.

Поблагодарив Льва Алексеевича, Женя в приподнятом настроении пошёл к Николаеву.

Павел Иванович молча выслушал доклад Кудрина, помолчал и, вздохнув, сказал:

— Жаль, что не успели даже допросить Харитонову, видимо, кому-то очень не хотелось, чтобы мы его раскололи.

— Я думаю, что, после того как он сбежал от нас, он пошёл к своим друзьям, чтобы рассказать о нашей «дружеской» встрече.

— И этим самым, возможно, подписал себе приговор, — подхватил начальник. — Ну что же, поезжай к Сомову, — продолжил он, — почитай документы, а вдруг что-то новое появится в расследовании убийства Харитонova.

— Уже еду, Павел Иванович!

Приехав через час к Сомову, он застал того в кабинете пишущим какие-то бумаги.

Поздоровавшись, Женя спросил:

— Что-нибудь новое удалось установить?

— Да есть один интересный момент, — загадочно улыбнулся Сомов, — вчера вечером в одном из гаражей рядом с местом происшествия возле своей машины возился некий гражданин Розов. Когда мы сегодня приехали к этим гаражам, он также продолжал заниматься ремонтом своей машины. Он и рассказал, что вчера около семи часов вечера ему показалось, что кто-то вскрикнул. Он инстинктивно посмотрел в приоткрытые ворота гаража. Через этот достаточно большой проём он увидел проходящего мимо коренастого

мужчину и даже успел заметить круглое лицо со шрамом на левой щеке, который проходил от виска до подбородка.

— А почему именно на левой щеке, как он определил? — интерес у Жени нарастал.

— А потому, что неизвестный шёл с правой стороны от Розова и именно левую часть тела тот смог увидеть, — ответил Сомов. — Сейчас наш эксперт-криминалист вместе с Розовым составляют фоторобот того мужика, а ты пока почитай протокол осмотра места происшествия.

Через полчаса в кабинет зашёл дежурный по РОВД и передал Сомову лист бумаги, на котором красовался фоторобот человека. На его круглом лице выделялись выступающая челюсть и шрам, проходящий по щеке от виска до подбородка.

— Это копия, возьми себе, — сказал Сомов.

Поблагодарив коллегу за оказанное содействие, Кудрин вышел из кабинета и отправился на работу.

Подходя к отделению милиции, Женья увидел, что в курилке стояли его коллеги и в сизом дыму «травили» анекдоты.

— У нас мужики научились из навоза самогон гнать, да одно плохо — коровы не поспевают, — смеясь рассказывал Саша Блинов.

Все гыгыкнули, а Витя Колосов подхватил эту весёлую волну и выдал:

— Я у своего деда в деревне был и попробовал его крепкий самогон, «косорыловка» натуральная. Вечером выпил, а утром как заново родился!

— В каком смысле? — недоуменно спросил Блинов.

— Ну, в капусте меня нашли, — ответил Колосов.

Все шумно обсуждали промах Блинова.

«Косорыловка, — напрягал память Женья. — Ну где же я слышал это слово?»

Быстро поздоровавшись с коллегами и не обращая внимания на их просьбы рассказать новенький анекдот, Кудрин вошёл в здание отделения милиции.

В кабинете сидел Ерихин, всё его внимание было приковано к каким-то бумагам.

— Лев Алексеевич, хотел бы задать вопрос: тебе ничего не говорит слово «косорыловка»?

— Ну, так в народе называют плохой самогон, — ответил он.

— А фамилия Косорылов нигде не встречалась? — повторил вопрос Женья.

Ерихин на минуту задумался, почесал затылок, прищурил глаз и проговорил:

— Если мне память не изменяет, то в прошлом году в Сокольниках была ограблена квартира известной артистки Громовой, из которой, помимо всяких драгоценностей, было похищено очень дорогое бриллиантовое кольцо. Да, тогда вся Москва шумела об этом, а дело было на контроле у нашего начальника управления. Так вот, при задержании грабителей один был убит при попытке к бегству, а другого арестовали и в итоге посадили. И вот у него была фамилия — Косорылов.

— Вспомнил! — воскликнул Женя. — Конечно же, это тот самый Косорылов. Мы тогда ещё смеялись, что заметку в газете «На боевом посту» об этом происшествии написал корреспондент Кривошеев. А удалось тогда изъять драгоценности у грабителей?

— Какие-то удалось, а вот колё так и не нашли. А почему ты спросил?

— Да вот в деле об убийстве гражданина Трошина, которое я сейчас расследую, фигурирует его умершая жена с девичьей фамилией Косорылова. Согласись, что это очень редкая фамилия, а вдруг женщина была связана родственными узами с заключённым Косорыловым?

— Ну ты и фантазёр, — усмехнулся Ерихин, — а хотя, чем чёрт не шутит. Нужно тебе съездить в Сокольнический РОВД и попросить у местных оперативных работников материалы по тому делу; наверняка там найдёшь справочные данные о всех родственных связях этого Косорылова.

Кудрин был доволен — дело приобретало интересный оборот. Он отправился к Николаеву, чтобы изложить разговор с Ерихиным и показать фотопечатки неизвестного мужчины, переданного ему Сомовым.

— А что, прав Лев Алексеевич, — ответил начальник, — я позвоню в Сокольнический РОВД и попрошу, чтобы тебе оказали содействие в предоставлении материалов по краже из дома артистки. Завтра с утра посети коллег из Сокольников, а потом, если понадобится, и в колонию нужно будет съездить для встречи с осуждённым Косорыловым и работниками оперативной части.

— Моя интуиция подсказывает, что существует какая-то связь между этим осуждённым и второй женой Трошина, — задумчиво проговорил Кудрин, выходя из кабинета начальника.

— Будем надеяться на лучшее, — сказал ему вдогонку Николаев.

Женя в хорошем расположении духа шагал по вечернему городу в сторону дома и размышлял о том, что в жизни бывают две полосы: белая и чёрная. Ещё вчера была чёрная, когда было всё так непонятно, запутанно и он даже чувствовал себя неудачником, а сегодня — белая, всё вдруг становится на свои места и жизнь начинает налаживаться. Это придавало ему уверенность в правоте появившейся версии, которая подкрепляла внутреннюю убеждённость в успешном завершении дела.

На следующий день с самого утра Женя отправился в Сокольнический райотдел к майору милиции Баранову, которому позвонил Павел Иванович. Тот встретил Кудрина приветливо и отвёл в соседний кабинет к своему оперативнику Сергею Алдохину.

— Помогите нашему гостю из Красногвардейского райотдела найти дело оперативной проверки на Косорылова, который проходил по краже из квартиры артистки Громовой, — сказал Баранов и вышел из кабинета.

Кудрин коротко рассказал Алдохину о цели своего приезда и тот, оставив Женю в одиночестве, пошёл искать документы. Через полчаса Сергей вернулся и передал Кудрину пухлую папку с надписью «ДОП».

Женя стал внимательно читать материалы дела, наконец его взгляд остановился на рапорте участкового инспектора Шилова, в котором чёрным

по белому было написано, что у Григория Тимофеевича Косорылова имеет-ся родная сестра — Трошина Нина Тимофеевна, проживающая в доме мужа на Нагатинской улице.

— Есть! — воскликнул Женя. — Интуиция сработала.

— Что такое? — не понял Алдохин.

— Нашёл, что искал! Осуждённый Косорылов являлся родным братом Трошиной Нины Тимофеевны, её мужа убили несколько дней назад. К сожалению, она сама умерла год назад.

— Вот видишь, кто ищет, тот всегда найдёт, — с улыбкой произнёс Алдохин.

— Сергей, расскажи подробнее о той краже из квартиры артистки, — попросил Женя.

— С удовольствием! Очень хорошо помню то происшествие, я ведь сам участвовал в его расследовании, — проговорил Алдохин. — Знаменитая певица Альбина Громова часто выступает с концертами по стране и, как правило, надевает какие-нибудь драгоценности. Так принято в этой богемной среде. Однажды, вернувшись с очередных гастролей, увидела, что в её квартире кто-то был чужой и обобрал её подчистую. Но самое главное — отсутствовало кольцо с бриллиантами. Как она писала в объяснении, оно досталось ей от бабушки, которая в своё время была певицей Большого театра и гастролировала по Европе ещё до революции. Во Франции один из её почитателей и подарил ей это кольцо.

— Наверное, очень дорогое?

— Не то слово, по оценке артистки оно стоит около миллиона долларов.

Сергей вынул из сейфа очередную папку и, порывшись в ней, достал объяснение Громовой и её фотографию с колье на шее и передал Кудрину.

Женя читал её объяснение как интересный роман: она писала о гастролях бабушки в Париже в 1916 году и встречах со знаменитым мастером Альфредом Маню, работавшим в ювелирном доме «Бушерон». Также подробно описала само кольцо и что оно находилось в сафьяновом красном мешочке.

— Послушай, Сергей, ты наверняка уже разобрался в этих драгоценностях, в чём разница между колье и ожерельем?

— Колье, в отличие от ожерелья, обладает центральным элементом, в нашем случае — это крупный бриллиант, — ответил Алдохин.

— А что, его так и не нашли?

— В том-то и дело, что не нашли. Золотые кольца и броши изъяли у преступников, а кольцо и след простыл.

— И не смогли их расколоть? — допытывался Женя.

— Одного застрелили при попытке к бегству в момент задержания, а Косорылов и на следствии, и в суде говорил о том, что кольцо взял погибший поделщик и куда дел, ему неизвестно, — вздохнул Алдохин. — Я думаю, что каждая такая драгоценность привлекает преступников как магнит, как своего рода капкан, ловушка сатаны. Судя по объяснению артистки, со слов её бабушки, этот бриллиант был привезён в Париж из Китая в 1900 году и попал на огранку в ювелирную мастерскую «Бушерон», после чего был подарен ей тем самым мастером.

— Наверняка, — сказал Женя, — до того, как этот бриллиант попал к бабушке артистки, с ним было связано много трагедий, в том числе и грабежей, а может быть, даже и убийств. Такая красивая вещь зачастую приводит одних людей на тот свет, а других — в тюрьму. А ты не в курсе, где отбывает наказание Косорылов?

— Кто-то говорил, что недалеко от города Александрова, — ответил Сергей, — но точно не могу сказать.

Женя поблагодарил Алдохина за помощь и поехал на свою работу, уж очень ему хотелось побыстрее доложить начальнику о столь позитивных новостях.

Подробно доложив Николаеву про события сегодняшнего дня, Кудрин замолчал и посмотрел в окно, за которым уже накрапывал дождь.

— Ну что же — это уже кое-что. — В устах начальника это звучало как: «Молодец, Женёк, копаешь в правильном направлении!» — Что ты думаешь обо всем этом?

— Во-первых, — начал Женя, — понятно, что между Косорыловым и Трошиным существует родственная связь. Первый является шурином потерпевшего. Возможно, он попросил его спрятать украденное кольцо. Во-вторых, Косорылов уже на зоне мог кому-нибудь рассказать об этом.

— Но это как-то не вяжется со здравым смыслом, — парировал Николаев, — ну зачем ему надо было кому-то рассказывать об этом кольце, если через четыре года он выйдет и сам заберёт его.

— Если исходить из того, что у Косорылова это первая «ходка», — ответил Кудрин, — то он мог просто не знать криминальные законы зоны и проколаться с блатными. Представим такую ситуацию: по каким-то причинам на него наехал местный криминальный авторитет, и он, чтобы спасти свою жизнь, поведал ему о спрятанном у Трошина кольце. А дальше — по уголовному телеграфу авторитет передаёт на волю своим дружкам эту информацию и всё: пришли, стали пытаться, забрали кольцо и убили. Вот почему в доме Трошина было всё перевёрнуто.

— Да, — проговорил Николаев, — логика в твоих размышлениях определённо есть. Я сегодня постараюсь выяснить, в какой колонии отбывает наказание Косорылов. Если мне память не изменяет, то город Александров находится в двух часах езды от Москвы на электричке, поэтому завтра утром поезжай туда, а сегодня чуть позже дежурный офицер тебе позвонит домой и передаст информацию, к кому ты обратишься в колонии. А сейчас иди домой и постарайся лечь спать пораньше.

Когда Женя уже ложился на свою тахту, прозвенел телефонный звонок.

— Это дежурный говорит, — услышал он. — Николаев просил передать, что тебя завтра в 11 часов на привокзальной площади Александрова, будет ждать чёрная «Волга» с номерным знаком 14–77, она отвезёт тебя в колонию. Там зайдёшь к заместителю начальника по оперативной части майору Агапову, он обещал оказать содействие в организации беседы с осуждённым Косорыловым. Поезжай утром на Ярославский вокзал и садись на семичасовую электричку, которая и доведёт прямиком в Александров.

Передав информацию, дежурный офицер положил трубку телефона.

В одиннадцать часов следующего дня Кудрин вышел из электрички и сразу же увидел чёрную «Волгу». Представившись, он сел на переднее сиденье, и они покатали вдоль уютной улицы с мокрыми осенними цветами в палисадниках и стоящими вдоль дороги домиками с резными наличниками. Умилительная картина маленьких городов. Потом они выехали за город и через час остановились у мощных ворот, обнесённых колючей проволокой. Часовой, проверив документы Кудрина, открыл ворота, и они въехали на большой плац, рядом с которым рядком стояли одноэтажные домики с железными решётками на окнах. Водитель проводил его до кабинета майора Агапова, и Женя, постучавшись, вошёл. За массивным письменным столом, обшитым зелёным сукном, сидел невысокий человек в форме и что-то писал.

— Лейтенант Кудрин Евгений Сергеевич, — представился Женя, показывая майору удостоверение личности.

— А я Агапов Андрей Алексеевич, — с улыбкой ответил хозяин кабинета, — мне вчера вечером звонили из Москвы и просили оказать содействие в организации встречи с осуждённым Косорыловым.

Агапов угостил гостя чаем с ванильными сушками. С дороги это было кстати. Женя рассказал о цели своего приезда.

— Осуждённый Косорылов Григорий Тимофеевич, — начал говорить Агапов, — по характеру человек скрытный, молчаливый, старается не обращать на себя внимание, но работает прилежно и норму выполняет. Он мало с кем поддерживает хорошие отношения, не вступает в конфликты, а вот вчера чуть не отдал богу душу. Когда он выходил из библиотеки, кто-то сзади ударил его по голове железной трубой. Но удар пришёлся по касательной, так как в этот момент он нагнулся, чтобы зашнуровать ботинок. Отделался лёгким испугом. Не могу понять, кому он дорогу перешёл? Я распорядился, чтобы его привели в переговорную комнату, где вы сможете с ним побеседовать.

Кудрин вынул из своей папки фоторобот человека, которого видел свидетель после убийства Харитонова и показал его майору.

— О! — воскликнул Агапов. — Так это же Борис Сергеевич Ломов по кличке «Лом» собственной персоной.

— А с этого момента можно подробнее? — попросил Кудрин.

— Ломов отбывал в нашей колонии пять лет за совершённый грабёж и освободелся всего месяц назад, — продолжил Агапов, — очень неприятный человек. Это его вторая судимость, а первый раз он отбывал наказание за хулиганство. Вот как раз он один из немногих, с кем иногда общался Косорылов. Ломова боялись в колонии за крутой характер, особенно когда играли с ним в карты.

— А что, он хорошо играл? — спросил Женя.

— Я с ним не играл, но знаю, что он к тому же ещё и карточный шулер. Майор достал из сейфа папку и вынул несколько листов бумаги.

— Прочитайте, здесь краткая характеристика на Ломова, — сказал Агапов.

Он взял трубку телефона и попросил привести заключённого Косорылова.

— Пройдите, Евгений Сергеевич, в переговорную комнату, она находится напротив моего кабинета, — сказал майор, — а потом снова зайдите ко мне.

Пока Кудрин ждал заключённого, он прочитал характеристику на Ломова, и в его голове начали складываться пазлы и по убийству Трошина, и по убийству Харитоновой, и по краже из квартиры артистки Громовой. Он не мог поверить, что все это сложилось в одночасье и неожиданно, в этой душной, маленькой переговорной комнате, как будто кто-то написал в его голове, как все было на самом деле. Женя вспомнил разговор с Колосовым о всевышнем, который все предопределяет и подсказывает человеку в течение всей жизни.

Размышления Кудрина прервались, когда охранник ввёл в комнату худощавого человека в чёрной робе с перевязанной головой. Он был среднего роста, сутулый и по-змеиному раскачивающейся из стороны в сторону головой.

— Проходите и присаживайтесь, — сказал Кудрин, жестом указывая на прикрепленную к полу табуретку, — я работник Московского уголовного розыска Кудрин Евгений Сергеевич и хотел бы задать вам несколько вопросов.

Конвоир вышел в коридор и сказал, что будет рядом за дверью комнаты.

— Что за вопросы? — отрешённо спросил Косорылов.

Кудрин достал из своей папки несколько фотографий с места происшествия, на которых чётко в разных ракурсах было видно тело убитого Трошина.

— Узнаёте? Это тело Ивана Трошина, убитого несколько дней назад в своём доме, он был мужем вашей покойной сестры.

Косорылов посмотрел на фотографии и сразу положил их на стол, но Женя заметил, как дёрнулась его левая щека, а на лбу выступил пот.

— Я здесь ни при чём, — подавлено сказал осуждённый, — пока я сижу на зоне, всё, что творится на воле, мне до лампочки.

— А может, вы мне расскажете, о чём говорили с Ломовым, когда он ещё был в колонии? — допытывался Кудрин.

Косорылов уставился на пол и замолчал.

— Странно, — пожал плечами Женя. — Вы даже не сожалеете о смерти Ивана Трошина, хотя были его шурином.

— А что, я должен рыдать? — с издёвкой ответил Косорылов.

— Так что, будете молчать? — спросил Кудрин. — Ведь Трошин, по сути, погиб из-за вас.

— Послушайте, гражданин следователь, — сказал осуждённый, — мне нечего вам сказать, я всё сказал на следствии и в суде, а к смерти Ивана не имею никакого отношения.

— Тогда я вам расскажу, — проговорил Кудрин. — Когда вы с подельником ограбили квартиру артистки Громовой, вы сразу побежали к Трошину и попросили его спрятать на время бриллиантовое кольцо. Он в память об умершей супруги не отказал, а потом вас с подельником быстро задержали, его при попытке к бегству застрелили, а вас посадили. Я читал материалы дела. Тогда на следствии вы показали, что кольцо после кражи осталось

у подельника и, куда он его спрятал, не знали. А поскольку того застрелили, то и спрашивать вроде бы не с кого. Ну, а потом в колонии на вашем пути оказался заключённый Ломов, который ко всему прочему был карточным шулером. Вот он вас и обыграл в карты, а платить было нечем, ведь карточный долг — это святое на зоне. По этой причине, опасаясь за свою жизнь, вы и слили ему информацию о бриллиантовом колье, которое хранил по вашей просьбе Иван Трошин.

Косорылов слушал, склонив голову к груди, сиплое дыхание участилось, по лбу обильно струился пот.

— А дальше — всё по схеме, — сказал Кудрин, — освободившись, он не стал откладывать это дело в долгий ящик и со своим подельником ночью забрался в дом Трошина. Они там перевернули всё с ног на голову, и, скорее всего, после пыток, Иван отдал им колье, а они, чтобы не оставлять свидетеля, убили его. После этого Ломов расправился и со своим подельником. Но это ещё не всё. После этого Ломов понял, что и в колонии остался ненужный ему свидетель. Вот он через свои криминальные каналы и заказал вас. Пока всё обошлось лёгким сотрясением мозга и вы живы, но никто не даст гарантии, что Ломов успокоится и вы будете ещё ходить по этой земле. Так что рассказывайте всё и в том числе, где может скрываться Ломов. От этого зависит ваша жизнь!

— Мне нечего говорить, — угрюмо мотнул головой Косорылов и побледнел ещё больше, — а ваши фантазии оставьте при себе.

— Ну, как знаете, если память к вам вернётся, дайте знать майору Агапову, — проговорил Кудрин и попросил конвоира увести заключённого.

Женя снова зашёл к Агапову и рассказал ему о беседе с осуждённым.

— Я так и предполагал. — Майор протянул ему фотографию Ломова и листок бумаги, на котором был написан его домашний адрес. — Но очень сомневаюсь, что его можно будет там отыскать, скорее нужно объявлять его в розыск.

— Мы так и сделаем. — И Кудрин засобирался в обратный путь.

— Если хотите, через полчаса моя служебная машина поедет в Москву, — сказал Агапов, — и может вас довезти прямо до отделения милиции.

Они вышли на улицу закурили. Минут через пятнадцать подъехала знакомая Жене чёрная «Волга». Поблагодарив майора, Кудрин сел рядом с водителем. Они выехали на трассу и быстро покатали в сторону Москвы.

Через два часа Кудрин уже был на работе и докладывал Николаеву результаты поездки в колонию.

— Ну вот, всё и сложилось, — сказал начальник, — теперь остаётся вычислить, где прячется этот Ломов, по месту жительства ехать бесполезно, так что поинтересуйся подробнее у Алдохина о его связях. А сейчас — готовь документы для объявления Ломова в розыск.

Николаев внимательно прочитал справку-ориентировку, любезно представленную Агаповым и посмотрел на фотографию Ломова.

— Неприятный тип, — сказал он, — колючие глаза, выступающий подбородок и шрам на щеке — настоящий злой демон, совсем как по Ломброзо.

И вот этот человек из-за какой-то золотой побрякушки двух людей на тот свет отправил. А ты, Женя, молодец, правильно выстроил свою версию, а я ведь вначале сомневался, что кто-нибудь кроме Олега мог убить Трошина. Похоже, что ты раскрыл сразу три преступления, причём кража кольца была явно «висяком» и перспектив не имела. Так что пиши подробный рапорт.

— Хорошо, — ответил Кудрин и пошёл в свой кабинет. Он сел за свой стол и стал думать о том, с чего начать рапорт, как зазвонил телефон.

— Это майор Агапов говорит, — послышалось в трубке, — сразу после вашего отъезда ко мне попросился осуждённый Косорылов. Так вот, он заявил, что Ломов, скорее всего, отсидивается в квартире своего дружка Коростылёва, который в настоящее время также отбывает наказание в нашей колонии. Как показал Коростылёв, перед своим освобождением Ломов попросил у него, если будет необходимость, воспользоваться его квартирой, в которой никто не живёт. Коростылёв согласился и рассказал ему, что запасной ключ от квартиры спрятан в верхней части коробки входной двери. Адрес этой квартиры: Московская область, город Мытищи, улица Вокзальная, дом 5, квартира № 16. И ещё, Косорылов сказал буквально следующее. Ломов ему как-то говорил, что если его когда-нибудь будут искать, то надёжнее «хаты» его кореша Коростылёва не найти.

Поблагодарив Агапова за ценную информацию, Женя повесил трубку телефона и быстро пошёл к Николаеву.

— Проняло этого Косорылова, видимо, здорово ты его припугнул, — обрадовался Павел Иванович, — значит, дальше будет следующий алгоритм действий: я созвонюсь с Мытищинским райотделом и попрошу оказать содействие в задержании Ломова, тебе в помощь выделяю Ерихина. Вот с ним и подумай план действий по задержанию Ломова, пока тот не свалил в тёплые края.

— Есть, — коротко ответил Кудрин и вышел из кабинета. Но через час Николаев снова пригласил его к себе.

В кабинете начальника уже находился Лев Алексеевич Ерихин.

— Вот что, мужики, — сказал Николаев, — берите дежурную машину и поезжайте в Мытищинский райотдел. Зайдёте к заместителю начальника по розыску майору милиции Светлову Юрию Сергеевичу, он предупреждён о вашем приезде и обещал помочь в задержании Ломова, выделив для этой операции своих оперативников. Так что в семь часов вечера он ждёт вас у себя в кабинете.

— И вот ещё что, — продолжал начальник, — аккуратнее там, Ломов может быть вооружён.

Выйдя от Николаева, Женя предложил покурить и они вышли во двор, чтобы также обсудить детали предстоящей операции.

Ровно в семь часов вечера они вошли в кабинет майора Светлова.

«Ну надо же, — подумал Женя, когда увидел перед собой улыбчивого светловолосого человека с простодушным, открытым лицом, — как внешний вид хозяина кабинета соответствует его фамилии».

Рядом с майором стояли два молодых человека. Он представил их как своих сотрудников, которые будут помогать им в задержании преступника.

— Знакомьтесь, лейтенант милиции Лопатин и капитан милиции Сергеев, — сказал он.

Вошедшие поздоровались, в свою очередь представились и сели на стулья, стоящие рядом с письменным столом Светлова. Женя коротко рассказал о цели приезда, и они сразу приступили к обсуждению плана предстоящей операции по задержанию Ломова.

Около десяти часов вечера на двух машинах они подъехали по указанному адресу к пятиэтажному дому, стоящему в стороне от проезжей улицы, зашли в первый подъезд. Сергеев остался на всякий случай у подъезда, а остальные поднялись на четвёртый этаж и остановились у двери квартиры, на которой с трудом можно было увидеть в тусклом свете лампочки, висевшей на потолке, цифру 16.

Ерихин достал пистолет, а Женя нажал на кнопку звонка и для убедительности постучал в дверь кулаком.

— Открывай, козёл, дверь, залил весь третий этаж! — громко закричал он.

— За козла ответишь, — услышали они хриплый мужской голос за дверью.

В проёме открывающейся двери Женя узнал Ломова, а тот, увидев в коридоре незнакомых людей, резко развернулся и побежал в комнату. Женя и Лопатин бросились за ним, но Ломов точным ударом в челюсть сбил Лопатина с ног и ногой под колено ударил Кудрина — тот упал на пол как подкошенный. Затем он схватил лежащую на столе отвёртку и замахнулся на вбежавшего в комнату Ерихина, но застыл, увидев направленный на него ствол пистолета.

— На колени! — спокойным голосом произнёс Ерихин.

Ломов бросил отвёртку на пол и, не отрывая глаз от дула пистолета, опустился на колени. Подошедший Кудрин завёл ему руки за спину, а Лопатин надел наручники.

— Посадите его на табуретку, — попросил Ерихин своих товарищей.

Когда Ломов сел Лев Алексеевич с силой ударил его кулаком в лицо.

— Это тебе за моих ребят! — сказал он. — А вообще-то у меня есть приказ не брать тебя живым, как особо опасного преступника.

— Волки позорные! — огрызнулся Ломов и с трудом снова взгромоздился на табуретку.

— Слушай, Лом, и запоминай, — проговорил Ерихин, — ты человек битый, с двумя ходками на зону и должен понимать, что за твои все грехи — «вышка» светит.

— Не докажете ничего, — прохрипел он.

— Да на тебя, козла, улик столько, что на две «вышки» хватит, — ответил уже Кудрин, — но мы тебе даём выбор: ты рассказываешь нам про все свои кровавые дела и как ты «надул» Косорылова в карты, а потом в качестве долга он под страхом смерти рассказал тебе про кольцо, которое спрятал у Трошина, и как под пыткой тот отдал его тебе, а вы потом убили его, и как потом ты устранил того же Харю, и как заказал Косорылова как лишнего

свидетеля. Ну и, конечно, отдаёшь нам кольцо. При этом условии я разрешу тебе написать явку с повинной, а ты, как человек с большим криминальным опытом, не можешь не знать, что суд иногда смягчает наказание при наличии явки с повинной. У тебя будет хоть какая-то надежда остаться живым.

— А альтернатива заключается в том, — продолжал снова Ерихин, — что я сейчас первый выстрел сделаю в потолок, а вторым выстрелом — прострелю тебе колено, и будет очень больно. Так что до суда будешь мучиться, а после «вышки» уже станет всё равно. А мои коллеги подтвердят, что выстрел я произвёл, когда ты попытался убежать.

Ломов замолчал, опустив голову, и задумался, искоса поглядывая на пистолет в руках Ерихина.

— Там, на столе, в банке из-под муки, — неожиданно сказал он, кивком головы показав на кухню.

Женя пошёл на кухню, открыл банку и вынул красный сафьяновый мешочек, в котором лежало кольцо с большим жёлтым бриллиантом.

— Ну вот, ты правильно всё сделал, — сказал Ерихин, убирая пистолет в кобуру.

— А тому мужику Харя башку открутил, — вдруг произнёс Ломов, — а потом из-за жадности ещё и крестик серебряный с его шеи сорвал и засветил нас.

— Напишешь всё это в отделении милиции, — проговорил Кудрин, — у тебя будет время, чтобы всё подробно написать.

— А вы дадите написать явку с повинной? — спросил он.

— Слово офицера, — ответил Кудрин и попросил Лопатина пригласить понятых для составления протокола изъятия кольца.

Через час все формальности были соблюдены, и они, поблагодарив местных оперативников, поехали в своё отделение милиции.

Было уже поздно, дорога была пустая, и они очень быстро доехали до Москвы.

— Красивая вещь, — сказал Николаев, рассматривая кольцо, — но сколько людей полегло из-за неё. Будь моя воля, я бы этому сукиному сыну «вышкку» без разговоров бы вlepил, зря дали ему возможность написать явку с повинной.

— Я обещал и своё слово держу, — ответил Кудрин.

— Да знаю, поэтому ценю и уважаю тебя, — сказал начальник.

Через час Ломова увели в камеру, а Женя, не откладывая в долгий ящик, принялся писать рапорт.

— Молодец Женя, из тебя выйдет хороший сыщик, — сказал Лев Алексеевич и, попрощавшись, ушёл домой.

А Кудрин, написав рапорт, пошёл по опустевшим коридорам отделения милиции в кабинет Николаева.

— Похвально, Женя, — прочитав рапорт сказал тот, — в таком сложном деле раскрутил сразу три преступления. Можно только позавидовать твоему упорству в достижении цели. И ведь настоял же на своей версии! Правильно сделал! Если так пойдёт дальше, то впереди тебя ждёт большое будущее в милицейской карьере.

Женя, хоть и понимал, что молодец, к концу дня от усталости просто валился с ног. Вернувшись в свой кабинет, он стал медленно убирать документы в сейф.

В тишине неожиданно зазвонил телефон.

— Кто это может быть в такое позднее время? — озабоченно подумал он.

— Добрый вечер, мой случайно знакомый сыщик, — словно с небес раздался нежный голос Нины. — Я, наверно, нелепо поступила, когда не стала с тобой общаться по телефону. Грустно было, что ты не пришёл. А тут ещё ты стал сразу оправдываться, нужно было просто... промолчать.

— Да, конечно, — волнуясь, ответил Женя, — я всё понял, и, если ты не возражаешь, давай завтра в семь часов вечера попробуем ещё раз встретиться на том же месте.

— Хорошо, давай попробуем, — ответила Нина и, попрощавшись, положила трубку телефона.

Женя был счастлив. Он вышел на улицу, вдохнул полной грудью чистый осенний воздух, огляделся вокруг, увидел куда-то спешащих взрослых и детей под яркими цветными зонтиками и тихонечко запел:

— Осень дождями ляжет, листьями заметёт, по опустевшим пляжам медленно побредёт....

Он был взволнован и горд завершением трудного дела. И его переполняла нежная радость от слов девушки Нины и от возможности предстоящей встречи. Хорошо! Дождь стал накрапывать сильнее, и Женя, подняв воротник, быстро зашагал в сторону трамвайной остановки.

Маргарита Смольянинова

Маргарита Ивановна Смольянинова — кандидат филологических наук, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Родилась 25 марта 1934 года в с. Перемышль современной Калужской области в семье учителей. В 1961 году окончила аспирантуру в МГПИ им. В. И. Ленина (ныне МГПУ). Педагогический стаж работы в КГУ им. К. Э. Циолковского — 60 лет. Специалист по современному русскому языку, стилистике, культуре речи. Автор около 200 печатных работ, статей и учебных пособий.



Личная переписка «обычных», неизвестных на всю страну или на весь мир людей редко попадает на страницы литературных изданий и становится достоянием широкого читателя. Нужны какие-то особые достоинства писем и нестандартные условия, чтобы это случилось.

Настоящая публикация как раз такого рода случай.

Эти письма объединены не только авторством, но и непростым сюжетом, в основе которого отношения двух людей, необходимых друг другу. Что нужно сделать, чтобы их судьбы соединились и что им мешает? Какие особенности характеров, социальные условия, мистические причины встают на их пути? Всё, как в настоящем романе, но это самая настоящая реальность со всеми подробностями быта, политической ситуации, умонастроений и уклада жизни с начала пятидесятых годов двадцатого века до первых лет века двадцать первого.

Перед нами трогательная и в чём-то поучительная история, которая будет интересна как ровесникам её героев, так и молодым читателям.

ЧЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Никто, кроме нас, не знает, как мы нужны друг другу...

У меня сохранились письма дорогого мне человека — Цуранова Владимира Петровича. Он был моей первой любовью. А потом, когда у каждого из нас сложилась своя жизнь, наши отношения стали подходить под известное определение: «Больше, чем любовь».

Почти все письма датированы, что позволяет проследить жизненный путь интересного человека, принадлежащего к поколению детей войны.

Владимир Петрович Цуранов (1932–2005) родился 26 ноября 1932 года в районном городе Духовщина Смоленской области в интеллигентной

советской семье. Его отец был вторым секретарём райкома партии. Когда немцы подходили к Смоленску, отца назначили руководителем партизанского отряда. Мать родила младшую дочь в 1941 году, в лесу, под ёлкой. Дочь назвали Сталиной. Отец погиб. Семью эвакуировали. Для Владимира отец всегда был примером честного гражданского служения.

Володя был средним ребёнком в семье. Старше его была сестра Светлана.

Володя мечтал стать лётчиком. Учился в Курском лётном училище, но из-за ухудшения зрения был отчислен. В 1950 году он поступил в Брянский лесохозяйственный институт.

Мы встретились в 1951 году, когда он был студентом I курса БЛХИ, а я училась в 10 классе.

Прошло всего шесть лет после окончания Великой Отечественной войны. Разрушенный Брянск восстанавливался. Директор БЛХИ Григорий Никитич Моисеев по-отечески относился к своим подопечным. Зимой 1951 года были выстроены два двухэтажных, двухподъездных деревянных здания под общежитие для студентов и преподавателей на окраине Брянска, недалеко от аэродрома. Мой брат, Иван Иванович Смольянинов, бывший студент БЛХИ, стал работать в должности ассистента на кафедре почвоведения. Но одновременно он был зачислен в аспирантуру и оканчивал биофак в Новозыбковском пединституте. В его отсутствие Григорий Никитич вручил мне ключи от нашей с братом комнаты в выстроенном общежитии и пригласил меня в свой институт по окончании школы.

В двух зданиях общежития жили только парни. В нашем дворе кипела молодая жизнь. Были совместные весёлые субботники по расчистке двора; поставили турник, соорудили волейбольную площадку. Гул снижающихся военных самолётов нисколько не мешал этой жизни.

Когда я шла в школу, меня неизменно провожали два юноши, один из которых и был Володя. Они доводили меня до школы, а сами шли дальше, в институт.

Володя учился довольно легко, имел спортивный разряд, много читал, хорошо рисовал. Мне с ним было интересно. Так и завязались наши добрые отношения.

В 1951 году я окончила школу и свой выпускной вечер и ночь провела с Владимиром. Бродили вдоль рек Десны и Снежки, купались. Потом с удовольствием вспоминали это время.

По словам брата, я «проиграла в волейбол» свою школьную медаль. Без медали не рискнула ехать в Москву и поступила в Калужский пединститут.

В пединституте поначалу мне не нравилось. Общежитие давали только старшекурсникам; какое-то время мне пришлось жить на квартире и спать с подружкой на одной кровати. Лекции казались скучными и утомительными. А в группе были одни девчонки. Я заскучала по Брянску. О своём разочаровании и сомнениях в выборе профессии написала большое письмо Владимиру. В ответ получила не сочувственное, а назидательное письмо с некоторой критикой в мой адрес. Это меня обидело, возмутило и оттолкнуло. Я назвала Владимира «резонёром». Перечитывая студенческие письма

Владимира, я с каким-то удивлением вспоминаю себя того времени. Очевидно, я была довольно строптива, ершиста, самолюбива.

Письма возвращают в юность. Студенческие годы всегда эмоциональны и насыщены. За недолгие студенческие годы человек быстро взрослеет, расстаётся с детской беспечностью, может ошибаться в своих жизненных ориентирах. Но молодость, как и детство, — это чистый и честный исток будущей жизни. Поэтому я привожу довольно много студенческих писем Владимира (или их фрагментов).

Все имеющиеся у меня письма я разделяю на четыре части, соответствующие периодам жизни Владимира и особенностям наших отношений: студенческие годы, в тайге на «трёхлетке», путь в науку, тридцать лет спустя.

ТЕРНИСТЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПУТЬ

...всё, что ты написала в этом письме,
подействовало на меня,
словно хорошая, ласковая песня.

— г. Брянск. 1 сентября 1951 г.

Дорогая Рита, здравствуй!

Как живёшь, как доехала? Наверно, всё благополучно.

Сегодня уже пробовал заниматься. Было две лекции. Основы марксизма и органическая химия. Первую я кое-как отсидел, ну а вторую по старой привычке просидел только наполовину. А дальше сходил позавтракал и, одним словом, прогулял. Как говорится, без привычки трудно, хотя это как раз и есть моя привычка. А вот Дронжевский нам сообщил о новых условиях проведения экзаменов. У вас, наверное, тоже расскажут, если уже не рассказали. Раньше, если не сдал, то можно было взять разрешение в учебной части и пересдать, а теперь разрешается сдавать только один раз. Сдал на два — значит, столько и останется. Это, как у нас уже окрестили, «удар по «трудовому студенчеству»? Остается лишь поздравить тебя со вступлением на тернистый студенческий путь и пожелать тебе всего хорошего. Ну, до свидания.

— г. Брянск. 15.9.51.

Рита, здравствуй!

Получил твоё письмо ещё позавчера, да вот ответить собрался только сегодня. Дело в том, что левой рукой ещё писать не научился, а правой ... Одним словом, «спикировал» с колец. Ну, как я понял, в Калуге ты не нашла то, что искала. Конечно, преподавательская работа хотя и почётная, но и не так уж лёгкая. А литератор из тебя вряд ли выйдет, так я думаю (может быть, я и ошибаюсь). Знаешь, Рита, я ведь в лесной поступил тоже через силу. Однако мне сейчас уже нравится моя будущая специальность. Стоит лишь только заинтересоваться, поглубже взглянуть. Сопоставить свои

силы, свои возможности, ну и разные качества и недостатки с будущими условиями, тогда станет ясно, годен я или не годен для такой специальности.

Рита, ты, конечно, как хочешь, но я тебе советую придерживаться однажды сделанному решению. Пока сделаю перерыв, т.к. пора на занятия. Занимаемся мы во 2-ую смену с 2 часов. Остальное продолжу вечером.

Вот только что пришёл с занятий. Надо хотя бы закончить письмо, а то будешь его ожидать так, как я твоё ожидал. Ну ладно, тебя это, наверное, не интересует...

— Брянск. 25.9.51.

Рита, здравствуй!

Надо было ответить пораньше, но, признаюсь, твоё письмо меня так ошеломило, что я даже не знаю, что тебе ответить... Выходит, что я оказался резонёром, и притом не совсем удачным. Ты почитай в учебнике, что резонёр — это действующее лицо, выражающее мысли и идеи автора. Я под это определение никак не подхожу... Критику я принимаю, хотя кое-где она не совсем правильная.

В том, что у тебя хватит сил преодолеть трудности преподавательской работы, я не сомневаюсь. Ты говоришь, что некоторые профессии могут интересовать и одновременно не нравиться. Здесь ты не права. Я не знаю, что ты понимаешь под словом «интересовать». По-моему, заинтересоваться профессией — значит целиком посвятить себя ей. Ну ладно, это всё ерунда. А вот то, что ты оценила моё письмо как труд, и притом напрасный, вот это меня задело. Исходя из этого и из твоего письма, можно решить, что письма вообще не нужны. Ну, ладно. Пока до свидания. Не буду писать приписку. Писать есть что, только как-нибудь в другой раз.

— Брянск. 23 декабря 1951 г.

Рита, может быть, это недоразумение, может быть, много посерьёзнее, но я, я не знаю, как считать твоё молчание. Ну, если это в самом деле так серьёзно, то можешь считать, что этого письма не было. Только не воспринимай его как мою слабость. Я скажу прямо, что мне не хотелось бы терять тех отношений, которые были между нами до этого времени.

Теперь дальше. Помнишь, как однажды в сквере ты сама задала мне вопрос, верю ли я в любовь на расстоянии. Я тебе тогда ответил, что верю. Я не знаю, зачем тебе нужен был этот вопрос, а может быть, ответ. Я не хочу пока что делать преждевременных выводов. Может быть, ты снова скажешь, что это была шутка. А мне кажется, что слишком много для такого короткого срока ты шутишь со мной.

Ещё дальше. Конечно, ты не могла бы молчать до сих пор, если бы у тебя оставалась половина тех чувств, которые ты питала ко мне раньше. Но, может быть, я и здесь ошибался и воспринимал всё в розовом свете. Тогда мне остаётся только поздравить кого-нибудь третьего между нами. Может быть, и это нелепо, но написать обыкновенное письмо я тебе всё-таки не могу, хотя бы и желал. Конечно, мне будет трудно перенести это, но я постараюсь

воспринять всё так же, а может быть, и спокойнее, чем тогда, весной. Я не умею, да и не в моих привычках стучаться в занятое сердце. Я всегда желал тебе счастья, ну если ты его не нашла со мной, а нашла с кем-то другим, то мне остаётся пожелать вам счастливого пути.

После встречи на каникулах наши отношения наладились, и мы снова доверительно писали друг другу о своей жизни.

— Брянск. 9 марта 1952 г.

Рита, здравствуй!

(...)

Жизнь идёт как-то незаметно. До 7 часов отсидишь на занятиях, а там уже и вечер. Ну, вечера мы проводим когда как. Иногда ходим прогуливаться, иногда производим культвылазки в кино. «Тарзана» я не смотрел, все хвалят, а мне кажется, что какая-то ерунда. Таким образом, я занимаю некоторую оппозицию. Вот «Пржевальский» — это совсем другое дело. Потом видел недавно «Сын степей», «Воздушный извозчик», а вот сегодня с ребятами смотрели «Последний раунд». Ну, я думаю, ты уже видела «Пржевальского». Мне фильм очень понравился. Чтобы создать его, киноэкспедиция проехала 30000 км по местам экспедиции Пржевальского. Это тебе не какой-нибудь «Тарзан».

Уже почти год, как мы знаем друг друга. Просто не верится, что за один только год можно так сдружиться, и даже больше того...

— г. Тамбов. 6 VII 52.

Здравствуй, Рита! Ты меня извини, что долго не писал. Теперь я человек военный и временем своим распоряжаюсь лишь по приказанию командования. Свободного времени своего лишь час, да и то лишь сегодня разрешили им воспользоваться, а то всё время занимали его занятиями. Поздно ложимся, рано встаём, весь день бегаем. А подъём рано, в 6 часов, а иногда и в 5... Вечера были прекрасные. Сколько раз я со вздохами жалел, что мы с тобой не вместе... Как ты думаешь, сможем ли мы встретиться? Ведь это теперь зависит от тебя. Рита, если бы ты знала, как хочется посмотреть на тебя, снова быть вместе. Помнишь, как мы просидели с тобой всю ночь на Снежке? Какая была хорошая ночь! Я, наверное, никогда не забуду её. А потом ещё та историческая скамейка в скверике. А скамейка на крыльце общежития... Сколько хороших вечеров мы провели вместе!

Пиши, буду ждать.

В 1953 году на ноябрьские праздники Владимир приехал в Калугу. Встреча была очень тёплой. Сходили на наш институтский вечер. Володе он понравился, понравились певцы, особенно чистые женские голоса. Я втайне мечтала даже о студенческой свадьбе на старшем курсе. Но сказала, что

кафедры и русского языка, и литературы советуют мне учиться в аспирантуре, а замуж выйду лет двадцати семи. Видно, это запало в душу Володи. А пока, после посещения Калуги, я продолжала получать от своего друга хорошие письма.

— Брянск. 11.XI 53.

Рита, здравствуй!

Знаешь, Рита, мне октябрьские сейчас представляются словно во сне. Даже самому не верится, что побывал в Калуге. Все-таки я очень рад, даже больше — счастлив, что встретился с тобой. У меня теперь так спокойно и ясно на душе, словно никакой размолвки между нами не было. Очень хочется, чтобы всегда было так, чтобы верить друг другу, как самому себе. Тогда никакие «трюки» не будут иметь места между нами...

Привет тебе от всех наших ребят. А от меня всем вашим девчатам, ну и ребятам — Михаилу и Сергею. Ну вот пока и всё. Владимир.

— Брянск. 30. XI. 53.

Рита, здравствуй!

Вот, получил твоё письмо. Хочется так много сказать, как говорится, открыть душу, но это, оказывается, не всегда бывает просто. И к тому же я никак не могу поверить, что я счастлив. Только ты не подумай, что я не доверяю тебе. Риточка, я очень верю тебе, и всё, что ты написала в этом письме, подействовало на меня, словно хорошая, ласковая песня. Я не знаю, что нужно для счастья, но тем не менее я считаю, что счастье — та самая причина, которая приводит человека к душевному равновесию. И чем больше таких причин, тем счастливее становится человек. И если я получил от тебя это письмо, то я очень счастлив. Счастлив, что ты доверишься мне. Но я никогда не буду счастлив, если не смогу ответить тебе тем же. И ещё я считаю, что главное в нашем счастье — верность. Верность своим убеждениям, верность друг другу.

Я помню, как ты мне писала, что в нашей дружбе мы мало смотрели вперёд, всё больше оглядывались назад. Конечно, это правильно, и я в этом виноват больше всего.

— Брянск. 11.1.54.

Рита, здравствуй!

Получил твоё письмо. Правда, отвечаю не сразу. Решил подождать один день, пока сдам экзамен. Вот сегодня сдал гидромелиорацию, и сдал неплохо — отлично. Знаешь, Рита, мне в эту сессию что-то слишком легко сдавать экзамены, может быть, это до поры до времени. Но сейчас никакого напряжения не чувствую. Видно, это потому, что до сессии у нас было труднее. Два проекта: один уже защитил, а другой только начал писать.

Сейчас только что пришёл из кино. Смотрел «Нет мира под оливами». Очень понравилось.

Как твои дела? Хорошо ли идёт подготовка к сессии? Я буду болеть за тебя. Крепко целую и желаю успехов. Твой Владимир.

— Брянск. 27.I.54.

Риточка, здравствуй!

Ну как идут твои дела? Каковы успехи? Я, конечно, не сомневаюсь, что все замечательно. Ведь даже я чуть не выбился в отличники, как у нас говорят, — «в люди». Имею 19 очков из 20 возможных. Один потерял на лесных культурах, но особенно не горюю. Эта сессия у меня пока что стоит выше над всеми остальными. Хотя особенного труда не прилагал.

Рита, ты меня прости, что я не писал тебе. Ведь я сдал 23-го, а сегодня уже 24-е. Просто как-то не доходили руки до письма. Пришлось пару дней потрудиться: «зашибал» деньги на билет. А то ведь даже на билет не хватало. Вот до чего докатился. Ну, ничего: сегодня ночью еду. Завтра к вечеру буду дома. Пиши обязательно. Надо заготовить дрова. Вот такие дела. Крепко целую.

Рита, дорогая, пиши. Я так буду ждать. До свидания. Владимир.

В 1954 году произошёл сбой в наших отношениях уже не по моей вине. Владимир познакомился с девушкой из Курска, о котором у него остались самые тёплые воспоминания. Варя была старше Владимира годами, но моложе курсом. Как в песне, «черешней скороспелую её любовь была». Молодые быстро сблизились, Варя забеременела. И в 1955 году родила сына, которого назвали Петром, в честь отца Владимира. Для меня после хороших писем Владимира это было и неожиданно, и не совсем понятно. На каникулах мы встретились, объяснились. Оценивая свою семейную жизнь, Владимир сказал: «Что-то не то». А наши отношения действительно вышли за рамки юношеской влюблённости. Володя просил отвечать на его письма.

Особенностью характера Владимира было то, что он не забывал прошлого. Его внутренняя раздвоенность причиняла боль и ему, и его близким. А мне он доверительно писал обо всех сколько-нибудь значительных изменениях в своей жизни.

Некоторые фрагменты писем последнего года студенческой жизни. 1955 год

— В юности, как в половодье, — ощупывай каждый шаг. Очень верная поговорка, но я её очень поздно узнал, а теперь уже трудно применять её в своей жизни.

— Вот, Рита. Можешь меня поздравить. Я уже третий день являюсь папашей (очень ответственная должность). Варя сейчас в роддоме, и я, по долгу своей ответственной службы, забочусь о ней. Приношу яблоки, варенье, конфеты и всякую всячину — все, что ей хочется и не хочется. Одним словом, стал таким заботливым, каким не был никогда.

— Распределение у нас уже прошло, примерно в 20-х числах апреля. Я попал в Хабаровский край, только не в лесоустройство, а в лесную промышленность, но это лучше. Работать инженером в планово-техническом отделе леспромхоза.

В ТАЙГЕ НА «ТРЁХЛЕТКЕ»

А пока жду от тебя письма.
Жду, как воздуха, который может влить в меня новые силы...

Свою «трёхлетку» Владимир Цуранов отработал в с. Мариинск-на-Амуре. Полюбил тайгу, был и служителем, и хозяином тайги. Тушил пожары, восстанавливал лес, охотился, но, по его словам, не «зверствовал». Подробности в письмах.

— Мариинск. 14.9.55.

Рита, дорогая, здравствуй!

Я за последнее время стал более или менее спокойным. А ведь приехал сюда — и пришлось два месяца жить в конторе, только недавно дали комнатёнку. Живу я, можно сказать, нормально. Со мной сестрёнка Нэля, неудачно поступавшая в Хабаровский мединститут. Сам я дома бываю не часто. Все по участкам, а их у нас 4, и очень разбросаны. Живу-то я у самого синего моря, вернее, у океана. От самого дальнего нашего участка до Татарского пролива всего 7 км, а с сопки виден Сахалин. Этот район считается приравненным по условиям к районам крайнего Севера. И правда, у нас уже давно зима. Первый снег выпал ещё 3 октября. А Амур стал только лишь сегодня ночью. Очень быстрое течение — никак не замерзал. Последний пароход прошёл 20 октября, и теперь отсюда можно выбраться лишь на крыльях, и то лишь в лётную погоду, которая довольно редко. Местное население здесь — гиляки или, по-новому, — ульчи, а большинство — русских и выселенных бандеровцев, но они сейчас себя довольно мирно ведут и про «самостийную» Украину не вспоминают. Только до денег крепко неравнодушны.

А знаешь, Рита, мне эти места как-то сразу понравились. Амур здесь (правда, не Амур, а лишь Мариинская протока) очень красив. Особенно берега у Мариинска, так называемая «батарея». Только очень высокие и обрывистые. Есть озёра: Большое Кизи и Малое Кизи, — по берегам которых расположены все наши участки. Озёра сообщаются с Амуром, а по Амuru сутки езды паромом до Комсомольска и трое — до Хабаровска. В Комсомольске я уже побывал. Город неплохой, и мне понравился.

А здесь наших брянских немало. Материально жизнь много лучше, чем в Брянске.

Мне так и хочется сказать тебе — приезжай. Здесь в Мариинске школа — десятилетка, с интернатом.

Рита, прости меня и не считай это за какую-нибудь шутку. Я ведь даже сейчас ревную тебя, сам не знаю к чему... Пиши обязательно.

— с. Богородское. 2.IV.1956.

Риточка, дорогая, здравствуй!

Вчера ночью, да ведь ты знаешь, пытался поговорить с тобой. Мысль эта у меня зародилась давно. Только осуществить её не удалось вовремя. Ведь

это я хотел сделать так, чтобы в день твоего рождения ты смогла бы услышать поздравление от меня самого, безо всяких посредников (писем, телеграмм и т.п.). Риточка, не знаю, как тебе был слышен мой голос, но ты меня слышала, и мне от этого очень хорошо. А вот я даже не смог узнать твой голос, слишком слабо было слышно. Лишь один звук, а не голос. Но, как мне показалось, звук этот очень знакомый и напоминающий что-то такое далёкое и родное. У нас была тогда ночь, без 20 мин. 3.

Я сейчас нахожусь в нашем районном селе (на пленуме РК ВЛКСМ). Ночевал у нашего секретаря райкома. В эту ночь, вернее в 12 ч., раздавили бутылочку шампанского. Все улеглись спать, а я стал ожидать 2-х часов, вместе с одним товарищем коротая время за шахматами. А когда начали разговаривать, пришлось разбудить своим криком весь дом, но что обидно — это то, что твой голос так и не послушал. А если бы можно было нормально поговорить, какое это было бы счастье для меня! Этой бы зарядки хватило бы ещё на некоторое время.

А пока жду от тебя письма. Жду, как воздуха, который может влить мне новые силы...

Всегда с тобой. Владимир.

— с. Мариинск-на-Амуре. 7.III.58.

Здравствуй, Рита!

Решился я написать тебе. Хотя писал и раньше. С каким-то волнением приступаю к письму, хотя, впрочем, и всегда так бывало.

Письма я писал в одной (общей) тетради. Писал не каждый день, но очень часто. Тетрадь путешествовала со мной и по тайге, и по озеру, была на побережье Татарского пролива. В полевой сумке она занимала одно из важных мест (как, впрочем, и в самой моей жизни). В любые трудные моменты я обращался к ней, как к самой тебе. Писать тебе для меня было каким-то облегчением. В этой тетради было всё, что могло быть интересным для тебя, мои размышления и пр., даже несколько стихотворений — возврат к юности. Так вот это было письмо к тебе. Начиналось оно так: «Нет, не забыл, помню. Каждый день, каждый час. И чем дальше, тем больше убеждаюсь в своей...» В общем, начиналось оно так, а окончиться ему не пришлось. Может быть, потому, что в тетради оставались свободные страницы, или потому, что я уезжал в отпуск...

В отпуске я думал увидеть тебя, хотя бы издали. Письмо решил послать вместе с твоим портретом. Как это всегда бывает, в спешке портрет и письмо остались непосланными. Из дому я написал своему другу, чтобы он выслал это всё по адресу. Виктор мой, как потом выяснилось, послал один портрет, а тетрадь с письмом остались в полевой сумке...

В этом году, 2/VIII, у меня кончается трёхлетка. Так называют у нас договор, по которому я обязался отработать три года в данной местности, приравненной к крайнему Северу. После этого мне положен отпуск и переезд в любую точку Советского Союза за счёт предприятия. Вот я и думаю воспользоваться этим, чтобы уехать куда-нибудь ещё подальше. План этот

может и не осуществиться. Но, я думаю, 1958 год, как и 1955, должен быть переломным в моей жизни.

Теперь мне предстоит ответить на некоторые твои вопросы.

Энцефалит. Это не ерунда. В 9 случаях из 10 он кончается если не смертью, то тяжёлым увечьем. Человек перестаёт быть человеком. Лично для меня лучше смерть, чем энцефалит. Нам каждую весну портят шкуру укулами по 3 раза, причём после укулов с неделю приходится болеть, хотя укулы почти не помогают.

Второй ответ. Климат здесь мне нравится. Весной можно наломать здоровый букет рододендрона, и если поставить в комнате на ночь, то от запаха не уснёшь. Что ещё? Амур. Знаменитая река. Водится много рыбы. Осетров всегда можно наловить или купить. Кетой здесь кормят свиней. А вообще, край суровый. Тайга, где на сотни километров ни одного человека не встретишь. Вся жизнь на берегу Амура. На огороде растёт почти всё, что и у вас. Однако нужно приспособливаться. Весна у нас наступает поздно. В середине мая приходит первый пароход из Хабаровска. Лето жаркое, сухое. Осень тёплая. В ноябре уже ложится снег.

Работаю я теперь не в ЛПХ, а в Кизинском лесхозе старшим лесничим. Что это такое? Это нечто, похожее на зам. директора. Одним словом, начальство.

Предлагали мне стать секретарём РК ВЛКСМ (вторым, но я отказался)...

Ты меня сейчас совершенно не узнаешь. Я теперь уже совсем не такой, каким был когда-то. Нервный, раздражительный, злой. Вот к чему приводят неудачи в семейной жизни.

После того как сгорела тетрадь с письмами, я и не пытался писать тебе, хотя потребность была очень большая ...

Это хорошо, что ты нашла себе друга. А зачем сообщать об этом мне? Если только для очистки совести. Через год-два или больше я бы знал всё. Ведь у нас есть какая-то связь, даже лучше, чем радио. Почему-то радиоволны из Москвы до нас не доходят, а мы ведь чувствуем всё, что творится в душе друг друга. Вот и сейчас мне почему-то кажется, а вернее, не верится в то, о чём ты пишешь...

Слушай, Рит, а если я приеду хоть за день до свадьбы, что будет? Ведь ты не приглашаешь. А вдруг мы с тобой возьмём и уедем вместе на Восток. А? Извини. Ведь у тебя в одном письме проскользнула эта мысль.

ПУТЬ В НАУКУ

Сердце приходится всё время
чуть ли не руками сжимать —
так оно рвётся назад, к тебе.

1958 год стал переломным в жизни Владимира и в моей жизни.

Я не вышла замуж, но поступила в аспирантуру, на кафедру русского языка при МГПИ им. В. И. Ленина. Я сдавала вступительные экзамены

в аспирантуру во время заочной сессии в своём институте. От занятий меня не освободили. Напротив, я вынуждена была выполнять дополнительную нагрузку: вести занятия и свои, и ушедшей в декрет коллеги. Эти дополнительные часы (целой ставки), по недосмотру руководства, мне никто не оплатил и не оформил нагрузку, что потом сказалось на аспирантской стипендии. В аспирантуре решили, что я не нуждаюсь в общежитии. А когда выяснилось, что это не так, мне дали общежитие в Тарасовке, где было печное отопление и какой-то жуткий холод в коридоре. От перенапряжения и простуды я тяжело заболела. Экссудативный плеврит с очаговым туберкулёзом лёгких. В Москве в больницах не нашлось свободных мест. И я с температурой под сорок, еле живая, приехала в Калугу. Меня тут же положили в больницу, дважды откачивали экссудат и спасли мне жизнь. На полгода я была освобождена от занятий.

Когда я только что вышла из больницы, приехал Владимир. С женой он разошёлся. Моя болезнь его не испугала, не оттолкнула. Моя тётка, у которой мы жили, понимая серьёзность наших отношений, радовалась тому, что теперь она всегда будет с дровами. Но подходил срок отъездов: мне — в Москву, ему — снова в Мариинск. Летом я обещала приехать на каникулы. Но куда? Володя всерьёз задумывался, где я смогла бы работать. Я считала, что он себя недооценивает и ему тоже следует подумать о научной работе.

И снова письма.

— Мариинск-на-Амуре. 26/I-59.

Рита, дорогая моя, здравствуй!

Вот я уже прибыл домой. Весь долгий путь уже позади. Сегодня третий день, как я на работе. Доехал я благополучно. После того как побывал в Красноярске, на четвёртые сутки был уже в Хабаровске. Здесь также сделал остановку на 2 дня, а потом уехал в Комсомольск и сразу же улетел в Мариинск. На аэродроме меня поджидали с лошадкой, и через 15 минут моё путешествие благополучно завершилось у дверей собственной квартиры, замок которой пришлось, правда, взломать.

Погода дала мне возможность благополучно добраться до дому, а теперь начинает портиться, буранит...

Жизнь моя как будто течёт старым руслом: утром на работу в контору, вечером — назад. В обеденный перерыв — также домой и назад. Но ты сама представляешь, что вокруг меня — пустота. Всё, что я делаю, всё это механически, по старой привычке. Не хватает для полного удовлетворения, для настоящей жизни — одного, это всего-навсего твоего присутствия. Рита, дорогая, я даже всё-таки не представлял, что ты занимаешь в моей душе, сознании и во всём мне так много места, что мне самому там места не остаётся.

Трудно, Рита, очень трудно. Сердце приходится всё время чуть ли не руками сжимать — так оно рвётся назад, к тебе. Каждый вечер словно какая-то неведомая сила так и заставляет взять ручку и писать... Жду письма. А ещё больше жду лета... Твой всегда.

— Мариинск-на-Амуре. 30/III-59.

Рита, дорогая, хорошая моя!

Очень рад, что мой подарок тебе пришёлся по душе.

Где мы будем летом, я сейчас не могу и сказать. Не так давно меня звали в другой лесхоз, тоже ст. лесничим, — в Богородск, наш райцентр. Директор тогда не дал своего согласия, и меня непустили. А сейчас мы с ним крупно повздорили (после моей командировки), и он прямо поставил вопрос: «Или я, или он...» В Богородске мне бы было во много раз лучше, и можно воспользоваться этим моментом. Второе — то, что Иван, твой брат, предложил мне этим летом перебраться в Красноярск. Предложение это довольно заманчивое, и другого такого случая может не представиться. Я ему дал, после долгого раздумья, своё согласие. Вот сейчас и не знаю, что делать: идти в науку нужно, я считаю, не просто иждивенцем, а иметь хотя бы что-то из своего, за пару лет я мог бы что-то сделать. Через 2 года я мог бы поступить в ДальНИИЛХ в Хабаровске. В Хабаровске есть пединститут и всё, что тебе надо. Так что, может быть, будем брать прицел на Хабаровск?

Теперь, на остатках бумаги, остаётся поздравить тебя с началом твоего 25-го года жизни на Земле. Рита, милая моя, товарищ мой дорогой, всё-таки помни, что каждый прожитый год вернуть назад мы никогда не сумеем. Только, Рит, не бросай аспирантуру. Это вне наших отношений. Целую тебя. Владимир (разумеется, твой всегда).

— Санники. 20/V-59.

Рита, дорогая, хорошая моя, здравствуй!

Получил не так давно твоё письмо. А вот сам как-то всё откладываю написать тебе. Всё время до того занято, что просто некогда дыхнуть. 5 мая у нас был лесной пожар. Пришлось 6 дней тушить его, а до этого ездил в командировку. Когда возвращался в Мариинск, пришлось переходить Кизи пешком, т.к. на льду уже выступила вода и машины не ходили. Но, правда, обошлось всё хорошо, отделался насморком.

Не дождусь твоего приезда. Как это будет и когда? Отдыхать мне Ксенозов (директор), конечно, не разрешит. У нас в это время будет самая горячая пора: отвод лесосек, сенокос, да и, конечно, не обойдётся без лесных пожаров. Так что тебе придётся сопровождать меня в моей беготне, будешь моим адъютантом. Конечно, Рита, тебе от Москвы нужно взять всё, что возможно. Такого случая больше не будет...

С директором сейчас очень натянутые отношения, и работать с ним я даже и не думаю. Я уже написал письмо в управление, чтобы меня перевели. Ко времени твоего приезда должен быть ответ. Ну, ладно. Что будет, то пусть и будет. Есть такая пословица на этот счёт (тебе, как лингвисту): «Будь, что будет, всё равно что-нибудь да будет, никогда не было, чтобы ничего не было».

Теперь о практической стороне. Конечно, комаров у нас меньше, чем в Красноярске. И потом я беру на себя защиту тебя от них. Что взять из твоего гардероба, я советовать не могу. Но учти, что летом у нас бывает и жарко, и прохладно. Особенно на Амуре и Кизие. А вообще-то, Рита, как ни приедешь, будет хорошо, только бы скорее. Жду. До скорой встречи. Владимир.

— Мариинск-на Амуре. 7/VI-59.

Рита, хорошая моя, дорогая, здравствуй!

Вот только сейчас собрался ответить тебе сразу на два письма. Значит, ты задерживаешься в Москве, а я-то ждал со дня на день телеграммы, думал встречать тебя чуть ли не в Хабаровске. Ну что же, раз не выходит, ничего не поделаешь, придётся ждать. Спасибо тебе за письма. Они мне очень помогают ждать и вообще жить... Может быть, как я уже писал, тебе придётся помогать мне в переезде на новое место работы. Может быть, тебе вдруг понравится это новое место настолько, что ты бросишь свою аспирантуру?

Я себя что-то не могу представить в роли «учёного мужа», мне больше радости и удовлетворения приносит работа внизу, в лесу. А, впрочем, жить-то я, наверно, смогу где угодно. Ко всему можно привыкнуть. И для меня сейчас как-то мои собственные желания и стремления почти не имеют значения. Всё будет решаться вот-вот, в течение этой недели или двух недель.

А везти, Рита, ничего не надо. Приезжай только сама. Вернее всего, я перейду в ДальНИИЛХ. Для начала обещают лаборантом на 600 р., а потом будет видно.

Целую. Твой всегда. Владимир.

Летом 1959 года я участвовала в переезде В. Цуранова из Мариинска на ст. Океанская, в 90 км от Владивостока, где он начал заниматься научной работой. Во многом из-за меня осуществился этот переезд и поворот в его профессиональной жизни. Место было живописное, курортное, на берегу Тихого океана. Но я не могла бросить аспирантуру, к которой очень стремилась, и просила меня подождать. Ждать пришлось бы ещё два года. Владимир честно сказал, что, скорее всего, больше не выдержит одиночества. Вероятно, была у него и внутренняя обида на меня, за то, что я уехала. Владимир соединился со своей прежней семьёй. Жена родила второго сына, Александра, который стал его гордостью.

Наша переписка иногда продолжалась, хотя я понимала, что свою личную жизнь я должна продолжать без Владимира. Но мне интересны были изменения в его жизни, переезды, продвижение в науке.

Некоторые письма шестидесятых.

— 8 июля 1960 г.

Ритуша, дорогая, хорошая! Здравствуй!

Пишу тебе из посёлка, который своим названием ежедневно напоминает мне о тебе. Живу сейчас в пос. Смоляниново. 2 месяца, т.е. по 1 августа, придётся здесь служить, призвали на переподготовку...

Рита, хочется чтобы переписка наша всё же осталась. Твои письма для меня много значат. Мы с тобой связаны одной верёвочкой. Напиши мне, пожалуйста, всё, всё. Мне кажется, что наши отношения не просто любовь, а что-то значительно большее, что не укладывается и в смысл слов «дружба» или «товарищ». Не будем же сдерживать хотя бы это.

Жду письма. Твой всегда Владимир.

— Океанская. 17/I-61.

Дорогой мой друже, здравствуй!

Вот пишу тебе. И было бы очень нелепо нам не писать друг другу хотя бы коротенькие весточки. Так вот, Ритушка, жизнь моя почти не налаживается. Обвинять кого-то здесь нечего...

С работой у меня всё по-прежнему. Только сейчас уже поднялся на следующую ступеньку — стал старшим научным сотрудником. Перед Новым годом была возможность перейти работать в филиал АН СССР здесь, во Владивостоке. И я чуть было не перешёл, а надо было бы. Знаешь, как-то не совсем удобно летать с места на место. Но сейчас мой шеф, Соловьёв К. П., усердно меня зовёт к себе в аспиранты. Наш ДальНИИЛХ получил возможность принять 10 человек в аспирантуру. Соловьёв пишет, что это единственный способ увеличить мне зарплату (до 1000 р.). Сегодня я написал заявление в аспирантуру. Конечно, будет трудновато, но как-нибудь. Мой отчёт шеф похвалил, значит, не так уж и плохо.

Жду от тебя ответа, Ритушка. Всегда твой Владимир.

— Океанская. 8/III-61.

Сегодня 8 марта. Извини, что не поздравил тебя официально. Считаю, что я всегда, в любой день и час, в мыслях, в думах вместе с тобой. Часто вижу тебя во сне. Днём то же самое, ты незримо со мной...

Недавно был в Хабаровске. Ездил туда сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Всё обошлось довольно формально. Из всех заявлений было отобрано требуемое количество. Остальным отказано. Так что конкурса не было. Да меня к тому же освободили от экзаменов. Теперь я в аспирантуре (тоже формально). Жить остаюсь на прежнем месте, пока в Хабаровске не построят жилой дом. Его уже строят. Обещают закончить осенью. Дом немного дальше того, где мы когда-то жили с тобой. Так что думаю стать хабаровчанином. Вообще, Хабаровск лучше Владивостока, не говоря уже об Океанской...

Ну, всего доброго. Целую тебя, Ритушка.

В 1961 году Владимир поступил в аспирантуру, а я её оканчивала. Аспирантские годы были лучшими, наиболее интересными и насыщенными в моей жизни. Мы, аспиранты, могли прочитать любую книгу, любую диссертацию в Ленинке. Могли посещать — по своему усмотрению — любые лекции не только в МГПИ, но и в МГУ. В МГУ я посещала семинар академика В. В. Виноградова. Была хрущёвская оттепель. В книжных магазинах читали свои стихи поэты-шестидесятники. Почему-то рано утром можно было участвовать в просмотрах зарубежных кинофильмов. Аспирантов постоянно привлекали к встрече зарубежных делегаций. В 1960 году МХАТ торжественно отмечал столетие со дня рождения А. П. Чехова. В 1961 году вместе с москвичами я встречала Юрия Гагарина.

По окончании аспирантуры нас приглашали на работу в недавно открывшийся университет Дружбы народов им. Лумумбы. А. И. Павлович,

обучавший нас славянским языкам, довольно настойчиво приглашал меня на кафедру русского языка в областной институт им. Н. К. Крупской. Но с февраля 1961 года меня зачислил в штат КГПИ директор А. И. Мигунов, хотя мой аспирантский срок истекал только в сентябре и мог быть продлён, в связи с моей болезнью, ещё на полгода. В Калуге меня ждала и моя тётка. Так что от московских предложений я отказалась.

Переписка с Владимиром прекратилась, но он поддерживал связь с моим братом, стараясь получать какие-то сведения обо мне.

В 1964 году я вышла замуж за Владимира Холмова. Я знала его, когда он был студентом физмата, но гораздо лучше знала его родителей, которые дружили с моей тёткой.

Его родители, очень порядочные и добросердечные люди, соединили нас.

В отпуске летом 1964 года Владимир Цуранов сделал попытку побывать в тех местах, где партизанил его отец, и отыскать его могилу. Он был и в Калуге, надеясь встретиться со мной, но этого не случилось. Привожу часть его письма, которое было последним перед большим перерывом в нашей переписке.

Август 1964 года. ...Поиски отца почти безуспешны. Я уже исколесил все возможные места, встречался со множеством людей, знавших его или вообще что-то знающих, но последний его след так и не найден. Его могилу разыскивали по поручению обкома, и безуспешно. Боюсь, что и у меня получится то же. Встречи со многими людьми ничего, кроме рассказов о живом, не дают. Писатель из таких рассказов мог бы написать интересную повесть, вроде той, что написал Смирнов о героях Брестской крепости. Но мне не до того. Последняя поездка — встреча с человеком, видевшим его в последний или, может быть, предпоследний день... Но всё же я доволен всем тем, что проехал и прошёл, услышал и увидел, узнал и понял. Такое бывает редко. И я сам не знаю, как и когда мне это пришло в голову, и не могу понять, почему это так поздно.

Случайно пришлось провести весь вчерашний день в твоём родном городе. Дело, предпринятое мною, забросило меня в Тёмкино, а от него рукой подать до Калуги. Приехал рано утром, а уехал ночью. Весь день провёл в интересной экскурсии по городу и его окрестностям. Был на Оке, возле нового моста, за рекой в сосновом лесу, пересмотрел почти все кинофильмы и бродил по городу, приятно узнавая памятные места.

Сейчас, уже собравшись с мыслями, я думаю, что это даже к лучшему, что нам не пришлось встретиться. У меня такая привычка — ставить себя на место другого. Наша простая и невинная встреча могла бы много испортить в ваших отношениях, а в наших — добавить ещё обиду.

Как видишь, трудно приехать сюда и не побывать в памятных местах. Старые раны лечат забвением, а для нас нужно время. Много времени, считай, вся жизнь. До последней берёзки.

Никто, кроме нас, не знает, как мы нужны друг другу. Все эти годы я постоянно чувствую твоё присутствие, слышу твои мысли, слова. Это незримое твоё присутствие даёт мне силы, стимулирует к действию. Правда, сделано мало, но без тебя не было бы и этого.

Уже три дня ношу это письмо, не решаюсь положить в конверт. Сегодня 31/VIII, а я всё в пути. В поисках. Видимо, придётся уезжать так. Будь здорова. Желаю тебе всего-всего хорошего. ЦКК Владимир.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Какой бы мы были хорошей парой!
Особенно на закате дней.

Наша переписка прервалась почти на 30 лет. В 1992 году я поздравила Владимира Цуранова с 60-летним юбилеем. Он сразу откликнулся. Переписка возобновилась. К этому времени личная жизнь и у Владимира, и у меня дала свои сбои, и мы снова оказались нужны друг другу.

Владимир ушёл от жены Варвары, когда его сын Александр окончил школу. Ушёл к Тамаре, с которой вместе работал в лесничестве. В 1992 году Тамара умерла от рака.

В моей семье происходили ссоры между отцом, моим мужем, и дочерью, отчего страдали все. Кроме того, были лихие девяностые, когда по несколько месяцев не выплачивалась зарплата. Владимир Цуранов старался помочь мне материально. Присылал деньги, лекарственные растения, книги, свои научные работы, учебно-методические материалы. Мы стали с ним коллегами. В заботе обо мне, как мне кажется, он находил какое-то облегчение своему душевному состоянию.

В исповедальных письмах 1993 года он рассказывал о своей прожитой жизни. Письма привожу не полностью (и не все).

— 17/V-93. Уссурийск.

Здравствуй, дорогой мой человек.

Вот наконец собрался внести свою лепту, как ты сказала, — согреть твою и свою тоже душу. Моё долгое молчание действительно можно простить. У меня такой тяжёлый не год, а период в жизни.

С того времени, как ты уехала, прошло время. Время, называемое жизнью. И она уже где-то на финише. Варвара приехала с Петькой сразу же по первому слову. Поселились мы в 5 км от конторы в лесу. Варвара устроилась работать в в/ч. Потом родила Шурика. Моя работа заключалась в полевых командировках. В ДальНИИЛХ начиналась интересная работа по изучению причин усыхания ельников. Вот я и начал свою научную жизнь. Три сезона проработал в ельниках Нижнего Амура, т.е. почти рядом с Мариинском. Собрал кое-какой материал для диссертации. Многие считали, что этого достаточно для написания диссертации. Но мне казалось, что материала мало. А ещё зарплата МНС не превышала 750 р. Бросил я науку, ушёл в заочную аспирантуру. Переехал в Уссурийск. Здесь я стал лесничим, а точнее, начальником Уссурийского военного лесничества. Зарплата увеличилась сразу в 2 раза. В лесничестве начал всякие мероприятия.

В основном — строительство. Недалеко от Уссурийска нашёл старую дачу одного генерала. Мне понравилось место, и я устроил там контору своего лесничества. Переехал туда жить. Половина дачи — контора, другая половина — квартира. Потом, когда всё было перестроено и перепланировано, я вспомнил о науке, и последние три года работы в лесничестве я посвятил ей всё своё время.

Во время отпуска съездил в Мариинск. Тимка Харченко (ты его знаешь) отвёз меня с Петькой в те самые ельники, где 10 лет назад я закладывал пробные площади. Работа была выполнена основательная. Диссертация получилась интересная и оформлял я её и рисунками, и фото, и диаграммами. Для ускорения работы я снова переехал во Владивосток. Уже ст. научн. сотрудником в эту же ЛОС (Лесная опытная станция), где и начинал. Дело двинулось быстро. В марте переехал, а в июле уже защитился. Вернулся снова в Уссурийск, и уже в Приморский СХИ институт на лесфак. И вот уже с 1979 г. я здесь. Вот такая жизнь. Работа нравится и наконец начала получаться.

— Уссурийск. 29/VI-93.

Здравствуй, дорогой мой друг!

Спасибо тебе за письмо. Спасибо, что ты есть и переживаешь вместе со мной.

Пока нужно ответить на твои вопросы. О сынах. Петька всё ещё холостяк, и, наверное, это надолго. Живёт вместе с Варварой в трёхкомнатной квартире в Уссурийске. Работает в стройтресте рабочим-каменщиком. Очень любит кино и чтиво. Помогает в саду и по дому. Варвара с ним, как за стеной. В детстве он упал с мотоцикла, и думаю, что это повредило ему что-то в голове. Что-то не так, как нужно, пошло развитие. Окончил гидромелиоративный факультет нашего ПСХИ, поработал по специальности и бросил. Неразговорчивый, некоммуникабельный какой-то.

Ну а Шурик кончил 10 кл., когда мы жили все во Владивостоке. Уехал в Ленинград в военное топографическое училище, кончил его с золотой медалью. И его оставили в Москве в военном НИИ (по топографии). Женился уже в Москве на своей подруге из Ленинграда. У неё уже был сынишка. Получил в Москве квартиру. Дослужился до майора и бросил службу. Закончил курсы пчеловодов. Кое-что, видимо, помнил из нашей жизни в лесничестве (я ведь тоже занимался пчёлами). Сейчас недалеко от моего родного города Духовщины работает в совхозе пчеловодом. Я сначала не понял его, а теперь одобряю. Совхоз построил дом, и он переехал туда всем семейством. Завёл сад, огород, хозяйство. Я ему туда посылаю кое-что из ДВ флоры. Всё это ему нравится. Детей своих нет. До свидания. ЦКК Владимир.

— Уссурийск. 11/VII-93.

Здравствуй, моя Марго, здравствуй, милая и дорогая!

Так вовремя твои письма. Спасибо тебе за это и за всё другое. Ты была права, когда определила период жизни с Тamarой как хороший. Это и так

и не так. Сначала это действительно был рай, о котором при Варваре я и не мечтал. Мы были такие родные и близкие. Несколько раз отправлялись в тайгу на ~~1~~месяца — корневали, т.е. искали жень-шень, часто бывали на реке, на море, да и везде. Я думал, что 5–6 лет такой жизни — и не жалко помирать.

Когда стало ясно, что детей не будет, решили усыновлять. Я лишь намекнул, а она, видимо, уже и сама была готова к этому. Дети были молодцы, хотя и с задержкой в развитии (оба), но помаленьку всё налаживалось. Женя был молодцом до 5 кл. Потом ему надоело учиться, захотел работать, чтобы иметь свои деньги. Определили его в ПТУ, с трудом он его закончил, но работать уже не хотелось. Недавно был суд. За воровство «припаяли» 3 года. Оксана (сестра) закончила 9 классов на тройки, лишь по труду четыре. Сейчас нужно подавать документы в училище. Повар-кондитер, сама придумала...

Последняя пятилетка смазала всё то, что было хорошим, исковеркала наши отношения. Тамара стала пить. Плохо, когда муж пьёт, но когда жена — это ужас. Жутко жаль такой пустой траты времени — 12 лет. Из них самое начало было ярким и радостным, а потом — в сто раз хуже, чем я оставил с Варварой. Жуткая обида. Не знаю на кого... Наверно, всё-таки судьба. Она — умеет мстить... Будь здорова. Владимир.

В последующие девяностые мы писали друг другу о работе, об изменениях в вузах и стране, о своих близких и др. Владимир очень ответственно работал со своими дипломниками, сочувствовал заочникам. Близко к сердцу принимал все, что происходило в стране.

ФРАГМЕНТЫ НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ

— 22.01.94.

Дорогой мой, милый человек! Здравствуй!

Хорошо, что всё моё ты получила. Следующая бандероль будет в марте. Твои труды я с удовольствием полистал. Наверно, ты большая дока в своей области. Спасибо тебе за новогоднее поздравление, за стихи, которых я не заслуживаю.

О делах. Аттестация нашего института состоялась на уровне самооценки. Ты права, москвичи работать не любят. В день всеобщей забастовки у нас была экзаменационная сессия, так что забастовка не получилась, хотя другие вузы провели её. Но, как это и было ясно, ни на что она не повлияла. Два дня назад получили зарплату за декабрь. Цены страшные. Буханка хлеба — 400 р., 1кг сыра — 3200. Банку селёдки купил — 12 тыс... На стене у меня висит картина (сам рисовал). В лодке сидишь ты и смотришь с улыбкой (улыбка Джоконды почему-то) на меня. Это было на Океанской.

Похожий слайд я тебе послал. Такой ты мне всегда кажешься, и я не верю, что ты с букетом артрозов, хондрозов и т.д.

– 27/II-94.

Дорогой и родной мой человек, здравствуй!

С небольшой задержкой отвечаю тебе. Я был занят, был счётчиком по переписи населения. Целых 10 дней обходил квартиры и писал. Не знаю, как мои писания тебе, а твои мне очень помогают.

Что-нибудь из лекций я подготовлю к печати. Но наш печатный цех без бумаги. Лекцию по истории садово-паркового искусства, что я послал тебе, мне сделал один студент (по «бартеру»). Он мне на ксероксе отпечатал 20 штук. Я ему — экзамен по озеленению. Во!

Действительно, я всё время помнил о тебе. И в дни хорошие, и в дни плохие. Всегда. В каждом письме твоём много мысли, с одного раза не схватить. Какой бы мы были хорошей парой!. Особенно на закате дней.

Установка на забвение...

Вот три слайда из далёкого-далёкого... Не дам тебе забывать. ЦКК

– 13/IX-94.

Дорогой, родной, милый человек! Здравствуй!

Я побывал на Камчатке. Поездка не очень благополучная. Сутки просидел в аэропорту. Улетел на военном транспортном самолёте. Мама, конечно, очень плохая. У неё почти полностью пропала память. Меня она так и не признала. У Нэли живёт 1,5 года, но её тоже не знает. Помнит одну Сталинку. Не помнит, сколько у неё детей и как зовут. Жизнь её у Нэли — в постели или на кресле. Привести в туалет — проблема. Нэля — врач скорой помощи. Пока я там был, она вышла на работу. Дежурство по целым суткам. Маме 83 года.

А на Камчатке интересно. Из окна виден вулкан. Купался в горячей воде. Был у Нэли на даче. Огурцы и помидоры — в теплице. Лето там короткое. Но природа чудесная. Назад возвратился без приключений. Правда, билеты по 300 тыс. Так что часто туда не летаешь. Оставил Нэле полмиллиона на похороны, но это на Камчатке — копейки. Всё страшно дорого. ЦКК. Владимир.

– 25/X-94.

Здравствуй, дорогой мой человек!

Прости, что отвечаю не сразу. Всё как-то не по себе. Какая-то неустроенная жизнь. Не в смысле работы, как раз наоборот. На работе отдыхаю душой, хотя почти ежедневно по 4 пары...

Мама умерла 8.10.94. Я уже не поехал. Конечно, хорошо, что увидел её живую...

В учебно-опытном лесхозе отмечали 35 лет лесфаку. Народу было человек 20, пели и пили, и наоборот. Будь здорова. Это самое главное. ЦКК Владимир.

– 7/XI-94.

Здравствуй, дорогой мой Рит!

Сегодня был праздник. Но праздник был ещё и раньше, когда пришло твоё письмо (З.ХІ).

Несмотря на холод, у нас собрали митинг. Было много умных выступлений, но были и провокационные выкрики. Ты, наверное, знаешь, что я не отказался от партии и не собираюсь это делать. Мне бы было стыдно перед моим батюшкой. Да и задачи и мысли партии, её программа ничего плохого не имеют. Всё согласуется с моим мировоззрением.

– 16/X-95.

Дорогая моя, здравствуй!

Сегодня уже месяц, как я начал учебный год. 12–13/X у нас были торжества по поводу переименования ПСХИ в ПГСХА, т.е. мы стали академиком. ПГСХА – Приморская государственная с-х академия. Меня, как и ещё нескольких наших, представили к «Заслуженному лесоводу». Были, кроме торжеств, и обильные возлияния в столовой...

– 27/XI-95.

Здравствуй, дорогой мой человек!

Не верится, что подкрадывается старость. Ведь сегодня мне уже полных 63 + один день. Сколько ещё? Правда, всё самое главное в жизни уже сделано: деревья посадил – на многих хватило бы, домов понастроил тоже. Двух сыновей вырастил. Правда, внуков нет и не будет. И это жалко. После 60 не только каждый год – праздник, но и каждый день. Не так давно прочёл в «Лесной газете» заметку директора музея «Брянский лес» о бедственном положении музея. Написал злое письмо в газету, злое – не на газету, а на наше лесное ведомство. Обратился к выпускникам БЛХИ всех выпусков, с просьбой помочь музею. Моё обращение было напечатано. Директор музея сообщил номер счёта, куда можно прислать помощь. Я выслал вчера 100 тыс. Очень доволен, что совершил доброе дело.

Спасибо тебе, что ты есть, что наши отношения хорошие, что пишешь и помнишь, что я тебе нужен. Вот и будем духовно поддерживать друг друга.

Сегодня я принимал экзамен у заочников по лесным культурам. Они были очень довольны. Я их почти не спрашивал. Да их нужно представлять к награде за то, что не бросают учёбу. Пока.

– 11/I-96.

Здравствуй, дорогой мой человек!

Спасибо тебе за последнее письмо. Хотя и все остальные добрые, расудительные, мудрые. Сейчас только что досмотрел по tv «Зимнюю вишню». Жизнь – такая сложная штука, и не только на экранах. Как с нею распорядиться, становится ясно, когда уже нечем распорядиться. А вчера услышал такую мудрость: человеческую жизнь продолжает лишь человеческая жизнь. Так что у нас – и у тебя, и у меня – продолжение пока что

есть. И это уже хорошо. Крепись, держись, живи. Каждый прожитый день в наших нынешних временах — это уже победа, это праздник. Живи, работой, это очень помогает, живи заботами о своих, это отвлекает. Знай, что я всегда помню и думаю о тебе, и это будет тебе помогать во всех передрягах...

Живу по-прежнему. С Варей никаких контактов. Она на меня лишь надеется, чтобы было кому её похоронить. Хотя это ещё вопрос: кто кого будет хоронить. Я уж и не знаю, смогли бы мы жить рядом. А врозь как будто и не плохо. Петя работает на стройке. Иногда приходит обедать ко мне. Правда, я не всегда бываю в это время дома. Но у него ключ. Ну, пока. Будь здорова. ЦКК.

— 13/III-96.

Здравствуй, дорогой мой человек!

Добрый день тебе, Ритунька!

Надеюсь, что мой перевод тебе к 8 марта пришёл, пока верю почте. Прими от меня добрые пожелания и мой простенький подарок. Это не золото. Пусть будет просто знак внимания.

На работе вроде всё нормально. Тяну 6 дипломников. Есть хорошие, с которыми приятно работать. Защита через 5 дней. А с 15 апреля у нас учебная практика. Но учебно-опытный лесхоз в таком состоянии, что питомник закрыли, да и сам лесхоз дышит на ладан. Все в долгосрочных неоплачиваемых отпусках, кроме 4 человек. В отпуске все лесничие и лесники. Правда, скоро здесь начнётся пожароопасный период, тогда снова соберутся все.

Накануне 8/III наши кафедралы-мужики возложили на меня ответственность за проведение праздника. Купил я нашим дамам конфет да по цветочку. И изобразил каждую из четырёх в дружеских шаржах размером в четверть ватмана. Получилось интересно. Вчера нам выдали зарплату за ноябрь. Сегодня отнёс за квартиру 73 тысячи, по новой цене. Раньше было 39 тысяч...

И ещё раз с праздником тебя. В нашем возрасте каждый день рождения — это юбилей. Будь здорова. ЦКК.

— 22/X-96.

Здравствуй, дорогой мой человек!

Хорошо, что встречается с братом. А моя родня вся в разных концах. С работой пока всё нормально. 1 курс — подшефный нашей кафедры, и я — куратор. Снова ввели кураторство. Пишу методичку по лабораторному анализу семян. Стараюсь бывать в саду-огороде. Есть картошка и кое-что ещё. Жить можно... Зарплату нам выдали в сентябре за апрель...

Я укладываюсь в 12, обкладываюсь газетами, книжками и читаю. Прочёл «Мой отец Л. Берия». Пишет сын, знаменитый ракетный конструктор. Сейчас читаю «Кремлёвских жён». Думаю: бедная Россия, что ей перепало вынести! «Блажен, кто праздник жизни вечной оставил, не допив бокал...» И в то же время так интересно посмотреть, а что дальше?..

Недавно слышал по радио передачу «Посиделки у Елены». Карина Филиппова пела свою песню. Начало песни я воспринял как послание от тебя. Вот оно:

Вернись скорей домой, мне холодно и страшно.
Слоняюсь по углам в холодной тишине.
Ты слишком жизнь моя, чтоб сразу стать вчерашним.
Побереги себя. Попомни обо мне.

Я тоже могу сказать тебе: ты слишком жизнь моя, побереги себя. Будь здорова. Будь спокойна. Целую тебя.

— 16/IX-97.

Здравствуй, дорогая моя Марго!

Наконец-то пишу тебе. Ты права. Всё лето — в огороде, т.е. на даче. Ты меня здорово не кори. Я ведь всё время с тобой говорю. По поводу и без. И мне кажется, что ты всё слышишь, но только не говоришь. Ты для меня — родней не бывает. Хотелось бы помогать тебе. Ты помни всегда, что я всё время с тобой и по мере возможности буду помогать...

На работе я всё время. В отпуске был не больше месяца. В 1 семестре у меня около 700 часов нагрузки. Во II семестре будет мало.

В это воскресенье — День лесника, праздник. Наши лесфаковцы собираются сделать вылазку в учебно-опытный лесхоз (23 км от Уссурийска). Может быть, и я поеду.

— 23/XI-97.

Дорогая моя, здравствуй!

Спасибо тебе за твоё поздравительное письмо. Готовлюсь к юбилею. На кафедре соберёмся и пообедаем. С работой всё в норме. Весной нас будут аттестовывать. Сейчас в академии холодина. Учимся по 1 часу. Нет денег на отопление. В квартире жить можно. В субботу-воскресенье езжу на дачу. Бывает, и ночую там. Сплю одетым под ватным одеялом. Зато интересно!.. Будь здорова. Пусть тебе улыбнётся судьба. ЦКК.

— 15/I-98.

Дорогая моя Рита, здравствуй!

Спасибо за Рождественский привет. Тебе и всем вам также всего доброго.

У меня всё нормально. Принял почти все экзамены по озеленению и курсовые проекты по лесным культурам. А студенческие каникулы придётся потратить на приведение себя в порядок. Недавно поскользнулся и разбил плечо. Хожу лечусь... У нас здесь что-то вроде блокадного Ленинграда. То нет тепла, то нет света. Недавно в академии проводили медосмотр сотрудников. У меня нашли повышенное давление — 190. Правда, я ничего особенного не чувствую. Часто задумываюсь о жизни и смерти. Нет наследников

и внуков. Жалко завершать род свой. Но это всё не только от Бога, но и от себя. Пока. ЦКК.

— 20/I-98.

Дорогая моя Рита, здравствуй!

Перечитываю твоё последнее письмо несколько раз. Тружусь. Осваиваю новый предмет. Назвали наш факультет Институтом лесного и лесопаркового хозяйства. Теперь новая программа. И вместо озеленения, которое я вёл почти 20 лет, надо осваивать новую дисциплину — Основы лесопаркового хозяйства. Уже со следующего года (с сентября) нужно будет читать и вести лабораторные. Иногда думается, что брошу, останусь пенсионером. И в то же время жаль бросать. Вот и занимаюсь изучением новой науки.

Целую тебя и желаю всего-всего доброго. Пусть будет добро и всем твоим.

— 25/XI-98.

Дорогой мой человек! Получил сегодня твоё письмо. Спасибо за поздравление.

С работой пока всё в норме. Московская проверка прошла довольно просто. Подготовка к ней была много сложнее. Нас проверяли лесники из Биолого-почвенного института ДВ отд. АНРФ (Владивосток). Они нас знают, и всё кончилось хорошо. Другие факультеты тоже нашли с комиссией общий язык: организовали поездку в Китай и на полевые станы.

Я продолжаю работать. Наш декан — мой первый дипломник — обещает меня «не гнать», пока сам не попрошусь. А когда проситься, пока не знаю. Расширена аорта, покалывает в сердце. Да ещё в желудке не всё хорошо.

К тебе отношение не меняется и не может измениться. Очень беспокоит твоё нынешнее состояние...

Недавно лесфак отмечал своё 40-летие. А ведь начало его почти совпало с твоим приездом, когда мы с тобой были у Солодухина в гостях. Сам Евгений Дмитриевич умер в прошлом году в Москве. Жена его, Галина Михайловна, была в президиуме, как старейший преподаватель.

У нас сегодня получка. Посылаю тебе подкрепление. Будьте здоровы все. ЦКК.

Письма от Владимира Петровича приходили какое-то время ещё, но они не содержали существенно новой информации. В 2004 году Владимира Петровича постигло несчастье: был убит на аэродроме его любимый сын Александр. Из Уссурийска с его родной кафедры мне написали, что после этого Владимир Петрович «сломался» и по настоянию коллег вернулся в свою прежнюю семью, а в августе 2005 года умер. Из Минска его, больного, приезжала навестить сестра Сталина. Он просил её что-то передать мне. Для встречи с ней я должна была приехать в Москву. Но я не смогла оставить больного мужа, так что не узнала, что в конце жизни хотел мне отдать Владимир Цуранов.

Несмотря на то что наши жизни не объединились, мы всегда были близкими людьми. Судьба не раз предоставляла нам выбор. Иногда как-то помогала нам. В 1993 году на телеграфе работала моя студентка-заочница, которая соединяла нас по телефону. В письме от 11/VIII-93 Владимир писал:

«Большое спасибо твоей дипломнице — работнику связи. Такая точность! Я ещё за всю жизнь ни разу не встречался с такой точностью на междугородном телефоне. Одним словом, — большой привет и благодарность. Ну а тебе — ещё больше за этот разговор. Голос не изменился (или не очень). Я бы узнал сразу, без предупреждения. Вот получился мостик из прошлого в настоящее и, может быть, в будущее».

Казалось, что в 90-е годы для нас выпал шанс. Владимир готов был приехать ко мне, а я готова была уехать на Восток.

В этом же письме от 11/VIII-93 года Владимир писал: «Мелькнула мысль о том, что можно было бы мне приехать насовсем и заняться и домом, и садом в Дугне. У меня бы хватило сноровки на эту работу. Но мысль эта постепенно потухла, как только начал реально представлять, что и как и для чего. На новом месте ни инструмента, ни материалов, ни транспорта. А сколько осталось жить?»

Ссоры в моей семье не прекращались. И муж стал иногда говорить: «Уйду к старушкам». Я не возражала, но и не подталкивала к этому. К «старушкам» ушёл мой брат от любимой жены, которая была моложе его на 11 лет.

Ушёл к женщине старше его, у которой была прикована к кровати больная мать. Ушёл, чтобы избежать ссор с тещей. У «старушек» он был независим, спокоен, помогал лечить больную. И не пожалел о своём уходе из прежней семьи.

Поскольку в моей семье, как мне казалось, я уже не очень была нужна, я решила, что могу уехать к человеку, с которым в молодости хотела связать всю свою жизнь. Но тут вмешалось Провидение. Я увидела отнюдь не случайный сон. По белой стене в большой овальной раме спускалась живая Мария Александровна, моя свекровь. Лучи яркого света исходили от овала. Рама остановилась против меня, и Мария Александровна произнесла: «Рита, не бросай Володьку». Я молчала. Тогда Мария Александровна, не выходя из овала, ещё два раза повторила: «Рита, не бросай Володьку». Я пообещала: «Хорошо, не брошу». Рама поднялась по стене вверх при наличии того же сияния. Я сообщила о своём сне Владимиру Цуранову.

Жизнь показала, что я действительно не должна была оставлять мужа. На почве диабета он стал терять зрение, стало плохо с ногами. В мае 2005 года он умер от гангрены. Два Владимира ушли из жизни в одном и том же году.

Как видно из писем, Владимир Цуранов успел сделать за свою жизнь много. За что бы он ни брался, у него всё получалось. И делал он всё как следует, с душой. Его опыт, знания, умение работать с людьми пригодились



Владимир Цуранов

5.7.94

Здравствуй, дорогой мой человек!
 Стефан Ниси написал тебе кое-что о годах
 этого, конечно, очень-очень давно. Но, думаю, что
 в жизни Саломеевых можно жить так и сейчас.
 Помню все, эту улицу и ее Рамки все-таки
 это было бы негодным делом, да еще, и не
 бы победил. В комнате мы и в 63-9, устроились
 и все-таки, может быть, увидели кое-что интересное
 и даже не успевали читать. Тут еду с друзьями.
 Понял, что можно жить и так. Мы же
 отпустили у нас много времени (это не я пишу -
 ма) хотя сейчас можно не жить - мы же
 все-таки живем, тут есть люди - сейчас надо.
 Все будет и морю, если это можно
 считать за морю.

Ну, пока тебе в 68-4. В.Ц.

Одно из писем
 Владимира Цуранова

в педагогической деятельности. Он стал авторитетным преподавателем, мудрым наставником студенческой молодёжи.

К тому, о чём Владимир писал в приведённых письмах, я хотела бы добавить, что он очень любил хорошую поэзию, живопись, музыку. Несколько раз Владимир дарил мне разные издания собрания сочинений А. С. Пушкина. Моими любимыми стали три небольших томика, которые удобно было брать на занятия. Подписаны они были словами А. С. Пушкина:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединённый,
Печальным снегом занесённый,
Твой колокольчик огласил.

Океанская. 30/VIII-59

Мы участвовали в судьбах друг друга и дорожили этим. Письма Владимира Цуранова — это честные страницы и его, и моей жизни и жизни нашей страны в XX веке.

СЛОВО,
ИСКУССТВО,
СУДЬБА



Обухов Владимир Михайлович — искусствовед, художник, писатель. Выпускник отделения истории искусства МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор искусствоведческих книг и альбомов, поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей, вице-президент Академии аналитического искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ФОРМУЛА ГЕНИАЛЬНОСТИ

(то лет тому назад оборвалась жизнь художника Василия Чекрыгина.

И сто двадцать пять лет отделяют нас от дня его рождения.

Даты жизни художника: 1897–1922.

Всего-то лишь двадцать пять лет длилась его жизнь. И многие из них пришлись на пору всеобщих бедствий и бытовой неустроенности.

Жизнь эта страшно коротка и отчаянно трудна. Однако итоги её грандиозны.

Интеллектуально-художественное наследие Чекрыгина — это сотни и сотни великолепных произведений искусства и весомый массив искусствоведческих и философских текстов.

Более шестидесяти лет тому назад Константин Паустовский, увидев впервые некоторые образцы искусства этого мастера, написал: «Первое, самое явное и безошибочное ощущение от работ Чекрыгина — ощущение гениальности. Это художник мирового значения, мировой силы и поэтому странно и горько, что о нём ничего не знает народ, ничего не знает страна».

Право же, прав «доктор Пауст».

И впрямь от созданий Чекрыгина веет великой душевной и духовной мощью.

Увы, и поныне страна и народ, в массе своей, ничего не знают об этом художнике «мирового значения, мировой силы». Кроме, разве что, некоторого числа знатоков и ценителей искусства прошлого века.

Подозреваю, что даже на малой родине Чекрыгина, в Жиздре, мало кто слышал о великом своём земляке.

А возможно, и совсем никто не слышал.

* * *

Как ни странно, но даже Лев Жегин, самый близкий друг и первый биограф Чекрыгина, полагал, что тот — «родом киевлянин».

Но это не так. А точнее — не совсем так.

Детство своё Чекрыгин, действительно, провёл в Киеве. И позднее, по словам всё того Жегина, «его всегда можно было узнать по характерному украинскому произношению, которое постепенно сглаживалось и обращалось в московское».

Однако он тем не менее родом всё-таки из Жиздры. Уроженец Калужского края.

Именно в Жиздре родился он 6 (19) января 1897 года — как раз в праздник Крещения.

Он стал шестым ребёнком в семье жиздринского мещанина Николая Николаевича Чекрыгина и его супруги Марии Игнатьевны, урождённой Мечковской (позднее они обзавелись ещё четырьмя детьми).

И всего лишь два года было Василию, когда семейство Чекрыгиных переехало в Киев. А значит, даже и самые ранние воспоминания его, скорее всего, — киевской поры.

Вот голубь влетает в храм — и будит Василия, уснувшего на плече у отца.

Вот древний старик рассказывает ему о необычайной яблоне, цветущей среди снегов.

* * *

Так что Жиздра вроде бы как всего-то лишь место рождения Василия Чекрыгина. Вроде бы как никакого отношения не имеет она к становлению его личности, к его судьбе.

Но так ли это?

Всё-таки всякий человек в душевных основаниях своих — существо родовое. В глубинах личности всегда коренятся черты, свойственные тому социальному окружению, из которого она возросла.

Правда, чем глубиннее эти черты, тем расплывчатее, тем труднее их различить и определить.

Я не психоаналитик и считаю не совсем приличным делом копание в человеческих душах. Но всё же осмелюсь упомянуть об одной родовой, издавна свойственной калужским простолюдином черте, которая могла укорениться в семейном быту и в душах Чекрыгиных.

Это — сметливость ума и предприимчивость.



Автопортрет. 1920–1921 гг.

Именно этим славились ещё крепостные калужские крестьяне, почти не знавшие барщины, но зато обложенные оброком и зачастую вынужденные искать заработка в далёких городах и весях.

Стоит, пожалуй, иметь в виду и ещё одно обстоятельство: дореволюционная Жиздра была городом крепкой и высокой духовной стати.

Примечательно, что Евгений Шварц, в детстве долго гостивший в Жиздре, назвал её позже родиной своей души и признавался, что именно тут он постиг Бога, ощутил присутствие Его.

Знаменитый советский драматург в дневнике своём умилённо и восторженно вспоминал просветлённо православный быт старой Жиздры.

Странно? Ничуть.

Лишь совсем недавно стало известно, что Шварц — один из героев белого движения. Он участвовал в Ледовом походе. Был контужен — у него после этого всю оставшуюся жизнь сильно тряслись руки.

Может, и прочность веры в Бога, сквозь все житейские испытания пронесённая Василием Чекрыгиным, — тоже родовое свойство его души, ещё в жиздринском быту его отца, Николая Николаевича, коренившееся?

* * *

Рисовать Василий Чекрыгин начал в пять лет. И в этом, конечно, нет ничего удивительного: мало кто не рисовал в раннем детстве.

Семи лет отроду поступает в городскую четырехклассную школу и, ещё не окончив её, устраивается в иконописную мастерскую Киево-Печерской Лавры — по благословию митрополита Киевского Флавия.

Учится ремеслу иконописания у отца Владимира, светлой души священника и иконописца. Заодно завершает школьное обучение. Да ещё и трудится помощником ретушёра фотографий.

Приобщается и к монастырской жизни: поёт на клиросе, становится пошником митрополита.

Вроде бы всё у него складывается благополучно, даже и благолепно.

Но вот как описал он позднее свои душевные переживания этой поры: «Смерть и молитвы. Я задыхаюсь. Обморок, кадило, в нём бес. Я не могу больше. Бегство на дачу. Прихожу за подушкой и вещами. Я хочу и еду в Москву».

* * *

«После несложных сборов, — пишет Жегин, — четырнадцатилетний подросток с 25 рублями в кармане едет в Москву» — с целью поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Жегин вновь ошибается. На этот раз ошибка — сугубо арифметическая.

Известно, что Василий Чекрыгин покидает Лавру и приезжает в Москву в 1910 году (кстати, и сам Жегин имеет в виду именно эту дату). И ему в это время всего лишь тринадцать лет.

Он совсем ещё мальчишка.

Совсем невысокий, хрупкий. Зато высоколобый.

Его сопровождает старший брат — Захарий. Мечтатель. Фантазёр. Но, судя по всему, умелый рисовальщик.

Братья успешно сдают вступительные экзамены. Василий и вовсе один из первых в списке поступивших.

Впрочем, Захарий решает вернуться обратно — в Киев. Учиться искусству живописи — дело не только трудное, но и дорогостоящее. А рассчитывать на помощь отца, обременённого большой семьёй приказчика магазина готового платья, он не может. Как, впрочем, и Василий.

Но тот ничуть не боится грядущих трудностей, испытаний, нужды. И, распрощавшись с братом, остаётся в Москве.

Однокашники зовут его Чекрыжкой — уж слишком он юн. Но Чекрыжка ещё и чрезвычайно талантлив. Это стало очевидно почти сразу же.

«Чекрыгин пишет несколько «Зимок с лошадками», за которые получает 10 первых категорий сряду — а анналах Училища событие небывалое!» — восторженно вспоминает Жегин.

Первой категорией отмечалась самая лучшая из ученических работ, представленных на контрольный просмотр. Великим счастьем для любого учащегося было получить хотя бы раз не то что первую, а хотя бы вторую, третью, четвертую категорию.

Похоже, не сохранилась ни одна их «Зимок с лошадками». Но нетрудно понять, почему так высоко оценили их преподаватели Училища — достаточно всмотреться в написанные в 1911 году пейзажные этюды. Вот этюд «Серый день». Вот ещё один пейзаж — «К весне. Серенький денёк».

Широкая, мазистая живопись. Но неэффектная, не щегольская.

Слитые воедино краски звучат слаженно.

А чуть намеченные кистью домики, сугробы, дали полнятся энергией мазков, одушевлённой жизнью красочных субстанций.

Живопись истинно колоритна: краски прочно сцеплены с художественным содержанием, неотделимы от него.

Пейзажные этюды юного Чекрыгина — прекрасные образцы живописи русского неореализма, а отчасти и русского импрессионизма. То есть как раз той живописи, принципы которой культивировались ведущими художниками Москвы, ведущими преподавателями Училища.

Чекрыгин разом усвоил и освоил художественные находки, сделанные Левитаном, Серовым, Константином Коровиным.

Причём освоил — на свой лад. Не впадая в прямое подражание.

Чекрыгин — колорист! Так говорят о нём однокашники.

И это — весомая похвала.

Сам он однако мечтает написать такой пейзаж, «какого никто никогда не писал».

Это я опять цитирую Жегина.

* * *

Ещё в конце 1870-х годов братья Ляпины, чудаковатые, но человеколюбивые московские купцы, устроили бесплатное общежитие для учащейся молодёжи.

Просуществовало оно чуть ли не до революции. И никогда, конечно же, не пустовало.

Общежитие это прозвали Ляпинкой. И слово это стало легендарным. Причём ассоциировалось оно обычно с дикой неустроенностью, грязью, беспросветной нищетой.

На самом же деле это было, в общем-то, вполне благоприличное заведение.

«Грязно, конечно, было в Ляпинке, — писал Владимир Гиляровский, большой знаток старомосковского быта, — зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столик с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги.

Внизу была столовая, где подавался за пятнадцать копеек в два блюда мясной обед — щи и каша, бесплатно раз в день давали только чай с хлебом».

Попасть в это общежитие было и просто, и сложно.

Для этого достаточно было быть студентом Московского университета или учеником Училища живописи, ваяния и зодчества.

Вот только вакансий почти никогда не было.

Василию Чекрыгину повезло — и Ляпинка на некоторое время стала для него чуть ли не родным домом.

Можно не сомневаться, что он быстро стал полноправным гражданином студенческой республики. И, конечно же, каждодневно забегал в столовую, когда там можно было бесплатно получить чай с хлебом.

Вероятно, время от времени он мог и поесть щи с кашей: за ученические успехи он был не только освобождён от платы за обучение, но и стал получать Левитановскую стипендию. Да ещё и рисунки делал для какого-то писчебумажного магазина.

А тем не менее денег не хватало катастрофически. Надо ведь было постоянно тратиться на краски, холсты, подрамники, прочие художнические принадлежности.

Гордый подросток унизился до того, что стал слать слёзные письма отцу Владимиру, прежнему своему наставнику, умоляя его прислать хоть малую толику денег.

И тот, конечно, старался помочь Василию — по мере своих возможностей. Вот только возможности эти были крайне ограниченны.

* * *

«Это был тоненький хрупкий мальчик с живыми карими глазами. Белокурые волосы, небрежно подстриженные «в скобку», скрывали высокий чистый лоб. Первая из его работ, которую я увидел? Рисунок гипсового торса. Уже в этом ученическом рисунке чувствовались неповторимое своеобразие и решительность его изобразительного почерка.

Поражённый рисунком торса, совершенно непохожим на сотни старательно выполненных ученических «штудий», я знакомлюсь с юным художником.

Вскоре знакомство переходит в тесную дружбу».

Так описывает первую свою встречу с Чекрыгиным Лев Жегин.

Случилась она, видимо, осенью 1911 года. Жегин только что поступил в Училище. Он на несколько лет старше Чекрыгина. И, несомненно, гораздо образованнее. Много лет спустя, Жегин, будучи профессиональным художником, станет ещё и известным искусствоведом — исследователем древнерусского искусства.

Кроме того, он, что называется, удачно родился.

Вообще-то настоящая его фамилия — Шехтель. Жегин — это псевдоним. Впрочем, ставший со временем второй, а затем и основной фамилией.

Отец Жегина — Франс Шехтель, знаменитый зодчий (в 1914 году он, немец, переменит имя на русский лад, станет Фёдором Осиповичем).

Шехтель — самый значительный мастер московского модерна. Из множества его построек особенно известны особняк Рябушинского на Малой Никитской (ныне дом-музей А. М. Горького), торговый дом купеческого общества в Малом Черкасском переулке, Ярославский вокзал в Москве.

Шехтель не только знаменит, но весьма влиятелен и очень богат. И при этом отнюдь не скуп.

Неудивительно, что сын его становится не только ближайшим другом, но и надёжным покровителем Чекрыгина.



Голова лошади и раб. 1920 г.

* * *

Летом 1912 года Чекрыгин приезжает на каникулы в Киев, встречается с Климентом Редько, своим приятелем, на ту пору — учеником иконописной школы.

И вот как описывает тот московского гостя: «Мелкие черты его тонкого лица всё так же бледны. Жидкие каштановые волосы, высокий выразительный лоб мыслителя, пристальные карие глубокие глаза, капризно сложенные губы — в нём всё говорило само за себя. Во всей фигуре и способе носить костюм, галстук, шляпу и ботинки чувствовалась претензия на хороший московский шик с характером небрежности, подчёркивающей устремлённость к свободе».

Свобода свободой, но ведь претензия на шик должна была немало денег стоить.

Спустя некоторое время Редько встречается с Чекрыгиным уже в Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Чекрыгин «одет в новенький коричневый костюм заграничного покроя». Богато одет!

И там же, в Москве, Редько выслушивает целый монолог некоего Сидоренко: «Было время, Вася не имел башмаков, занимал копейки у товарищей по школе, и есть ему было нечего. Сейчас Чекрыгину дорога открыта. Известный архитектор Шехтель, в доме которого он сейчас гостит, надо думать, состоит членом акционерного общества по постройке Ярославской железной дороги и директора этого общества — Рябушинский и Морозов. Если Чекрыгин ещё не попался на глаза этим двум меценатам, то это только вопрос времени. Но, думаю, талантливому Чекрыгину уже и называли. Вася Чекрыгин баловень, но голова у него не вскружится».

Познакомился ли Чекрыгин с Морозовым и Рябушинским — неизвестно. Но он, видимо, действительно, подолгу «гостит» у Шехтеля, то есть живёт у него. Благо, во владении зодчего отнюдь не один дом, а сразу несколько.

Скажем, летом 1913 года Чекрыгин, видимо, жил на даче Шехтеля в Крылатском. И уж точно работал в его художественной мастерской, выстроенной рядом с дачей.

Некоторое время Чекрыгин вроде бы как снимает комнату в Петровском-Разумовском. Но даже если это и так, то, несомненно, самому ему это не стоит и гроша.

Жегин позаботился, чтобы у Чекрыгина было всё необходимое для вполне комфортной жизни: и крыша над головой, и сытная еда, и шикарная одежда.

В прошлом остались и Ляпинка, и голод, и стрижка «в скобку».

* * *

«Я не гений, но гениален».

Так говорил юный Чекрыгин Льву Жегину. Так писал он однажды сестре друга — Вере Шехтель.

Фраза вроде бы как горделивая. Если, конечно, не учитывать того обстоятельства, что в кругу друзей и однокашников Вася Чекрыжка числился как раз — гением.

Сам же Чекрыгин понимал, что он пока что не создал ничего гениального, а потому гением считаться не может. Но сознавал, что художественные способности его велики, что потенциально он гениален.

Он верил в своё будущее. Писал тогда же: «Сил у меня много, я чувствую, что они затопят всех. У меня колоссальный переворот в образе мысли, и в мыслях я дошёл себя до многого, что сказать сейчас неудобно, потому что время моё не пришло, но оно близится, конечно. Всё это пахнет очень не мелким, а огромным и значительным для России».

Совершенно очевидно: этот мальчишка не только верит в себя в свои силы, но и ставит перед собой цель — стать гением.

И это вовсе не значит, что он хочет стать первоклассным мастером живописи, в максимальной мере овладев живописным ремеслом.

Напротив, учеником он был нерадивым.

«Рутинное преподавание в Училище его совершенно не удовлетворяло», — вспоминал Жегин.

«В класс он являлся редко (к самому концу урока), но когда принимался за работу (подрамок любил ставить прямо на пол, а сам садился по-турецки), краски молниеносно загорались, и обозначался особый, ему одному свойственный строй форм».

Училище — побоку!

У Чекрыгина — свои учителя: Андрей Рублёв и Джотто, Мазаччо и Леонардо да Винчи, Эль Греко и Рембрандт, Гойя и Сезанн.

Словно алхимик, ищет он свой «философский камень». Стремится извлечь из драгоценной субстанции искусства величайших художников некий экстракт — гениальность как таковую.

Гениальность — в чистом виде.

Ему мало было стать большим, даже великим художником. Он явно мечтил на первое место в недлинном ряду титанов и богов живописи.

* * *

Самым главным своим учителем Чекрыгин считал Андрея Рублёва.

И однажды вроде бы как скопировал его «Троицу»; впрочем, сугубо аналитически: предельно обобщив, схематизировав иконописные формы.

Работа эта не сохранилась. Потому, видимо, что Чекрыгин считал её всего лишь экспериментальной штудией. Своего рода художественно-аналитическим исследованием.

Художественному анализу подверг он и формальный строй фресок Помпеи — и возникает «Зелёный (помпейский) натюрморт» (1913, частное собрание, Москва). Работа опять же экспериментальная, сознательно-подражательная, но вполне художественная — цельная и колоритная.

А ещё Чекрыгин попытался слить воедино живописные находки Эль Греко и Сезанна.

В одном из частных московских собраний хранится замечательный «Портрет В. Е. Татлина (посвящается Сезанну и Эль Греко)». Это замечательный образец художественно-логического «умножения» («пересечения») двух художественных феноменов, в силу чего остро проявляются, акцентируются сходные их черты).

Но это — и одна из самых лучших работ юного Чекрыгина:



Посвящение Сезанну и Эль Греко. 1913 г.

«эталонное — как пишет Е. Б. Мурина — воплощение всего, чему он научился у Сезанна, Эль Греко, кубизма, иконы, Ларионова и т.д. Всё это претворилось в абсолютно индивидуальный художественный сплав».

Добавлю к авторитетному суждению Е. Б. Муриной, автора единственной пока книги о Чекрыгине, что у замечательной работы этой — крепкая и высокая статья.

Чекрыгин уже кое-чему научился у своих гениальных учителей. И прежде всего — умению строить крупные, бытийные образы.

Кстати, работа эта — вовсе не портрет Татлина, знаменитого художника, вождя русских конструктивистов.

И вообще не портрет.

Это — экспериментальная живописная конструкция.

Человекоподобное строение.

Его сходство с Татлиным совершенно случайное.

Такое в художническом деле иногда случается.

* * *

В Училище живописи, ваяния и зодчества появляется новый ученик — Владимир Маяковский. Поначалу — никакой не поэт. Но и художественными талантами не блещет.

Чекрыгин, ставший его приятелем, ехидничал: «Тебе, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать».

Маяковский не обижался.

Напротив, как свидетельствует Жегин, «нередко брал его под своё покровительство. Он не раз помогал своему другу выпутаться из разных «казусов», которых было немало из-за горячности Чекрыгина и его непримиримости в вопросах искусства. В то время он был порядочный «задира», что иногда приводило к серьёзным «историям». Предполагалась даже дуэль с одним из старших учеников, не состоявшаяся благодаря вмешательству Маяковского».

Так что у Чекрыгина появился ещё один покровитель.

И вроде бы как друг.

А вскоре, вслед за Маяковским, в Училище появляется Давид Бурлюк.

«Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая».

Это я Маяковского цитирую.

Бурлюк такой же живописец, как и Маяковский. То есть никакой. Но ему присущ острый вкус к талантливости и художественной новизне.

Вновь цитирую Маяковского: «Днём у меня вышло стихотворение. Вернее — куски, плохие. Нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня, рывкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!». Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушёл в стихи. В этот вечер я совершенно неожиданно стал поэтом».

Причём в итоге большим, даже великим поэтом. Вот только, право же, отнюдь не гениальным.

* * *

«Однажды, — вспоминает Жегин, — Чекрыгин объявил мне, что Маяковский хочет издать первый сборник своих стихов литографированным способом и что ему в этом надо помочь; удобнее всего работать в моей комнате. Маяковский принёс литографскую бумагу, чернила и стал диктовать Чекрыгину — тот писал своим характерным почерком, немного в славянском духе.

Чекрыгин сделал несколько прекрасных рисунков, напоминающих новгородские фрески, но не имеющих ничего общего с текстом Маяковского.

— Ну вот, Вася, — бурчал Маяковский, — опять ангела нарисовал — нарисовал бы муху, давно не рисовал!

Впрочем, особенно не возражал.

Текст книжки «Я!» и рисунки были отнесены в маленькую литографию у Никольских ворот. Тираж — 300 экземпляров».

Жегин, в силу великой скромности своей, даже и не упоминает о том, что и он тоже оформлял эту книжицу, делал иллюстрации к ней.

В том же, кстати, духе, что и Чекрыгин.

Мух не рисовал.

* * *

Пожалуй, в мировой поэзии нет более мерзкой строчки, чем эта: «я люблю смотреть, как умирают дети».

Она как раз из первой книжки Маяковского. «Я!».

Фраза эта не только ужасна, но и фальшива. Ну, не правду он пишет! Просто хочет обратить внимание почтенной публики — на скандальные стихи, на себя скандалиста, на своё Я.

Хотя, конечно, есть тут и великолепные строчки:

Я одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека!



Иллюстрации к книге В. В. Маяковского «Я!». 1913 г.

Маяковский — замечательный эгоцентрист. И книжка его — пылкий гимн эгоцентризму.

А вот созданные его приятелями иллюстрации в духе новгородских фресок, в духе христианского искусства — принципиальное и демонстративное отрицание эгоцентризма.

Чекрыгин и Жегин не могли отказать Маяковскому в дружеской помощи. Но и согласиться с ним, соучаствовать в эпатаже публики не захотели.

Уж так они были воспитаны.

Чекрыгин, к примеру, всё ещё вместо «спасибо» говорил на монашеский лад «спаси, Бог».

«Спаси, Господи!»

* * *

«Он был слишком талантлив, чтобы стать гением».

Так говорили о художнике Александре Яковлеве, мастере неоакадемизма. То же самое можно сказать о Михаиле Ларионове.

Талантливейший живописец, был он и талантливейшим придумщиком — новейших форм, новейших идей, новейших видов искусства.

А чтобы понять, каков был характер Ларионова, достаточно глянуть на его картины, развешенные в экспозиции новой Третьяковки. Они прямо-таки лутчатся весельем и разнузданной душевной свободой.

Ларионов — забавник и весельчак. Заводила и вождь.

Но уж точно не гений. Вместо одного, но великого дела творит целую россыпь блистательных, но отнюдь не великих дел.

Не сойтись с ним, не познакомиться Чекрыгин не мог: Ларионов был повсюду, во всём, что делалось в кругах московской художественной молодёжи.

И вот уже Ларионов именуется Чекрыгина Васенькой и «прозорливцем» (в прозвище этом явно отзываются задушевные беседы на философические темы).

Чекрыгин же подпадает под обаяние живописи Ларионова, на ту пору чаще всего неопримитивистской и отчаянно хулиганской.

Даже выделяет несколько работ ларионовского склада — например, картины «Даная», «Беременность». Образцы «заборной» живописи — буд-то бы и впрямь на заборе намалёванные.

Славную Даная Чекрыгин, по словам Муриной, «прямо-таки развенчивает, изобразив прославленную классикой мифологическую красавицу в ключе «низовой» эстетики: она бесстыдно раскорячилась, подобно какой-нибудь из ларионовских «Манек». Её лицо, небрежно намеченное одной-двумя линиями, растянута в бессмысленной улыбке. И Даная, и фон прописаны в весёлом темпе быстрой, упрощённой живописи — кисть работает «вразброс».

Да и картина «Беременность» написана «буквально «как попало», в состоянии полного раскрепощения от каких бы то ни было эстетических условностей и табу».

В общем, демонстративно похабные ню.

Зато колорит — изысканный, ласковый, нежный. Демонстративно красивый.

И всё же есть в этих работах Чекрыгина что-то неестественное, почти что жалкое.

Недостаёт им ларионовской душевной раскрепощенности, весёлого цинизма. «Прозорливец» Чекрыгин остаётся серьёзен даже тогда, когда старательно исполняет роль циника и похабника.

Гораздо удачнее картина «Адам и Ева», хотя и она, в общем-то, исполнена в ларионовской стилистике. Та же примитивизация форм, то же бойкое движение кисти. Но никакого цинизма, никакого ёрничества.

Всё — всерьёз.

И великая библейская тема раскрывается, развёртывается наивно свежо и мощно.

Уместной оказывается даже грубая упрощённость форм — прародители человечества словно бы из скалы высечены.

Багрово-красное полотно прямо-таки светится — жарко и жутко. Тут и отблески покидаемого Адамом и Евой рая. Тут и огни ада.

И это уже не подражание забавнику Ларионову.

Вроде бы вслед за ним идёт Чекрыгин. А на деле вдруг — далеко опережает.

* * *

«В конце 1913 года было написано «Мучительное» или «Претворение плоти в дух» — вспоминает Жегин.

Он ошибается.

Вот авторский комментарий к этой картине: «И времени больше не будет. Апокалипсис. Растворение материи в дух. Написана автором 17-ти лет, в дни увлечения западными мастерами, в часы духовного парения и подъёма. 1913. Январь».

Тут, кстати, и сам Чекрыгин ненароком ошибся: в январе 1913 года ему только что исполнилось шестнадцать лет.

Но не о том речь.

Главное тут то, что картина написана не в конце, а в начале 1913 года.

Уточнение весьма значимое. Ведь картина эта — один из самых ранних образцов абстрактной живописи. В ней начисто отсутствует предметность — всё её живописное поле заполняют динамичные, предельно обобщённые красочные объёмы.



Претворение в Дух (Мучительное). 1913 г.

Напомню: самые ранние абстрактные вещи Кандинского принято датировать 1911 годом, а «Чёрный квадрат» Малевича и вовсе возник в 1915 году.

Так что Чекрыгина вполне можно записать в родоначальники абстрактной живописи — сразу вслед за Кандинским, о котором в Москве в ту пору, кажется, никто и слыхом не слыхивал.

Ещё важнее то, что чекрыгинская картина чрезвычайно содержательна. А ведь это даже и удивительно, почти алогично.

Всякая абстрактная композиция — результат работы по изничтожению содержания. Художник-абстракционист либо предельно обобщает художественные формы, освобождая их от конкретных содержательных признаков. Либо использует приём абстрагирования: переносит на холст лишь некоторые из этих признаков, игнорируя все остальные.

Полностью избавиться от содержания, конечно, невозможно. Но можно предельно окоротить его.

Замечательный пример тут — «Чёрный квадрат». Композиция включает в себе всего лишь три содержательных признака: «белый», «чёрный», «квадратный».

Содержание, разумеется, есть, но, право же, не слишком богатое.

А вот в абстрактной картине Чекрыгина содержания премного — и оно работает!

Чрезвычайно содержателен колорит. Чрезвычайно содержательна живописная пластика.

Формы то тяжелы, почти что предметны, то всё более и более легки — они буквально развоплощаются, обретая свойства духа: свет, невесомость, безбрежность.

Кстати, название картины показалось странным Жегину. Как это так — «Претворение плоти в дух».

«Может, духа в плоть?» — переспрашивал он.

Но Чекрыгин «настаивал на своём и даже сердился».

А вот А. Н. Скрябин, увидь он эту картину, не только бы, думаю, все сразу понял, но и счёл её зримым выражением его собственных идей.

Этот великий композитор утверждал: «Есть состояния вещества, более тонкие, чем самое тонкое газообразное, а дальше уже идёт полная духовность, сверхтонкое состояние вещества».

И всерьёз намеревался сочинить такую музыкальную «Мистерию», в ходе исполнения которой весь мир обратился бы в чистую духовность.

Задумка, конечно, совершенно сумасшедшая, но зато поистине грандиозная, соразмерная музыкальному гению Скрябина.

* * *

3 октября 1913 года.

В помещении Общества любителей художеств — «Первый вечер речетворцев». Совместное публичное выступление футуристов Москвы и Петербурга.

В афише вечера указаны доклады.

Владимир Маяковский — «Перчатка».

Давид Бурлюк — «Доители изнурённых жаб».

Кручёных — «Слово».

А ещё на афише обозначено, что «речи будут очерчены художниками Давидом Бурлюком, Львом Жегиным, Казимиром Малевичем, Владимиром Маяковским и Василием Чекрыгиным».

Очертить — значило, видимо, размазывать задник, на фоне которого должны были читаться доклады и стихи.

Не знаю, реализована ли была эта затея. Но в любом случае Чекрыгин был публично заявлен как художник-футурист.

Героем же вечера стал Владимир Маяковский. Его «Перчатка», будто бы брошенная в лицо публике, развеселила и позабавила её.

«Хотела или не хотела того публика, — свидетельствовал Бенедикт Лившиц, — между нею и высоким, извивавшимся на сцене юношей не прекращался взаимный ток, непрерывный обмен репликами, уже тогда обнаруживший в Маяковском блестящего полемиста и мастера конферанса».

Но то публика.

Совершенно иначе всё это было воспринято руководством Училища.

«Генералитет искусства ощерился», — много позже вспоминал Маяковский.

21 февраля 1914 года Совет Училища живописи, ваяния и зодчества исключает из числа учащихся Давида Бурлюка и Владимира Маяковского.

В тот же день заявление об уходе из Училища подал Василий Чекрыгин.

* * *

В начале весны всё того же 1914 года Михаил Ларионов надумал устроить очередную авангардистскую выставку, получившую соответствующее название — «№ 4». И пригласил участвовать в ней Чекрыгина.

Однако во время развески работ случился скандал. Александр Шевченко, замечательный практик и теоретик авангарда, жёстко воспротивился участию Чекрыгина в этой акции. Причём из сугубо принципиальных соображений: он учуял в юном художнике — чужака.

Правда, тут же несколько молодых художников столь же решительно вступились за Чекрыгина — и Ларионову в итоге удалось затушить конфликт.

И вот выставка открыта. В экспозиции, развёрнутой в помещениях Общества любителей художеств, пятнадцать картин Чекрыгина. Они не остаются незамеченными.

В газете «Московский листок» — ироническая заметка, в которой сообщается, что Чекрыгин «специализировался на разложившихся покойниках. Целая галерея перевешанных, позеленевших и изъеденных червями мужских и женских голов».

И в завершение: «но впечатление сильное».

Совсем в другом тоне — статья в «Московской газете»: «Особняком стоит Чекрыгин. Он не похож ни на кого. У него свой собственный — путь широкий и мощный, как полноводная река. Талантливость и своеобразие Чекрыгина вне всяких сомнений. Его «Головы», «Мужчина», «Женщина» говорят о пламенном вдохновении аскета».

Отзыв яркий, пылкий и, думаю, справедливый.

Правда, доньше сохранились лишь черно-белые репродукции двух полотен, экспонировавшихся на той авангардной выставке, — «Голова» и «Композиция с фигурами».

Но даже и на репродукции эти глядя, ощущаешь «пламенное вдохновение», принижающее грубые, искривлённые массивы красок.

Вот только можно ли было назвать Чекрыгина аскетом?

В шутку разве что. Чекрыгин любил вкусно поесть, умел модно одеться.

Но всегда следует помнить: сам художник и его образ, запечатлённый в живописи, — отнюдь не одно и то же.

Образ автора в живописи строится живописью. И житейские обстоятельства тут ни при чём.

А живопись Чекрыгина как раз — аскетична.

Художник предстаёт в ней суровым тружеником, который безбоязненно орудует приёмами обобщения и деформации, круша и кроша всякую изобразительность.

И в этом жарком живописном крошewe нет места ни лирике, ни сентиментальной задушевности, ни эстетскому гурманству. А уж тем паче — сладостной салонности.

Тем ощутимее тут духовность, закалённая на адовом огне авангардизма.

* * *

«Весна, весёлость, аристократ, еду в Париж».

Так начинается «Запись по годам»: памятные пометы Чекрыгина, охватывающие 1914–1919 годы.

И далее: «Польша, Варшава. Встреча слевой».

А именно — со Львом Жегиным. Чекрыгин встречается с ним в Варшаве в июне 1914 года, побывав перед тем в родном Киеве.

И уже вдвоём друзья едут во Францию. Через Вену и Мюнхен.

Поездка эта весьма выразительно, хотя и фрагментарно, описана Жегиным.

«Чекрыгин везёт с собой из Киева холст: три согбенные фигуры в позе апостолов из Евхаристии Софийского собора и скорбный лик пожилой женщина в тёмных одеждах.

В дороге он неразлучен с Евангелием».

Наконец — Париж. Разгар лета.

Здесь ждал друзей Ларионов, уже прочно обосновавшийся во Франции.

«Однажды у него мы застали Макса Жакоба, — пишет Жегин.

— Это современный Верлен, — шепнул мне Ларионов.

Чекрыгин, как всегда, был сдержан и полон собственного достоинства. Вдруг он возмущённо говорит мне:

— Если он (то есть Жакоб) ещё раз так на меня посмотрит, я дам ему по морде.

Но Жакоб, быть может, угадав смысл сказанных по-русски слов, вскоре распростился и ушёл».

Жакоб, кстати, не только поэт и гомосексуалист. Он ещё и ближайший друг Пабло Пикассо.

В своё время они дружно делили одну кровать на двоих.

В оправдание Пикассо замечу: кровать эта у них действительно была одна.

К тому же в ту пору Пикассо был слишком беден, чтобы содержать любовниц.

* * *

В Париже на первый раз друзья провели около двух недель. Надолго уходили в Лувр. Бродили по Парижу.

Затем отправились на юг Франции, поселились у самой границы с Испанией. В городке Гитари.

Однажды незаконно пересекли эту границу, оказавшись вдруг в земном Эдеме.

«На испанской территории, — вспоминал Жегин, — нас никто не остановил. Мы очутились в парке какой-то виллы — и там на откосе, поросшем сочной зеленью, жадно припали к кристально чистому ключу, пробивавшемуся среди камней.

Какое опьянение может сравниться с этим!»

В итоге приятели добрались до Сан-Себастьяно.

«На обратном пути Чекрыгин завёл знакомство с испанской девушкой редкой красоты, объясняясь с ней языком жестов, и она отвечала ему. Признаться, я поглядывал на него не без зависти».

Так завершает Жегин описание роскошного приключения.

А вот отрывок из чекрыгинской «Записи по годам»: «Отъезд на юг... Море. Бордо. Граница. Отель. Жизнь в Гитари. Купание. Рай. Вино. Приливы и отливы. Рулетка в Биаррице. Байон, женщины Байона. Испания. Сан-Себастьян».

И тут же следом: «Объявление войны».

* * *

Друзья устремляются в Париж.

Надо возвращаться на родину.

Немцы наступают. Они уже совсем рядом с Парижем.

Чекрыгин вынужден оставить в гостинице все свои картины. И те, что он привёз из Киева. И те, что написаны во Франции.

Цитирую «Запись по годам»: «Отъезд в Бордо. Ля Рошель, Ля Порис. Ожидание корабля. Ла Манш. Залив Сен Донордон. Англия. Ливерпуль. В ресторане, в кинематографе. Лондон. Эдинбург. Эбердин. Северное море. Берген. Христиания. Шарлоттенбург. Стокгольм. Лолеа. Балтийское море. Торнео... Николайштадт. Выборг. Петербург. Москва. Московские улицы. У Шехтелей».

* * *

Маяковский и Чекрыгин вновь заняты общим делом. Оба выполняют заказы издательства Г. Б. Городецкого «Сегодняшний лубок».

Чекрыгин иллюстрирует антигерманские частушки Маяковского, создаёт лубочного склада плакаты.

Маяковский только что чуть было не записался добровольцем в действующую армию. Но получил отказ, поскольку — «неблагонадёжен».

Уже вскоре, впрочем, Маяковский приходит к выводу, что это и к лучшему.

В нём растёт «отвращение и ненависть к войне».

В мае 1915 года он покидает Москву, живёт некоторое время в Куоккале, затем перебирается в Петроград.

Создаёт лучшую свою поэму — «Облако в штанах».

«Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький облакал мне весь жилет. Расстроил стихами», — горделиво иронизирует поэт.

Горький же с умилением рассказывал Шкловскому о том, как замечательно читал ему Маяковский отрывки поэмы — в лесу.

«А поодаль пыжился воробей, отскакивал, посматривал, удивлялся».

Когда же Маяковского призвали в армию, Горький позаботился, чтобы столь замечательного поэта не отправили на фронт: воспользовавшись своими знакомствами, устроил его писарем в автомобильную роту.

Так что с немцами Маяковский воевал, не покидая Петроград.

Чекрыгин же, пойдя на службу добровольцем, сразу же оказывается на фронте — в составе пулемётной части.

Воюет. Болеет — бронхитом, ревматизмом.

Конспект его фронтовой жизни — в «Записи по годам»: «С горы на гору штыки... Пахнет смертью. Назначение в 8-ю роту. Просьба в пулемётную команду. В землянке. Выстрелы... Переход ночью... Артиллерийский обстрел. Частая стрельба. Женщины-сестры. Бой. Отдых. Бой у деревни Римши. Резерв... Геройство. Брат. Бегство. Прожекторная рота. Немцы... Переход под Молодечно. Вольно. Бой под Вольно»...

Уж точно — от слов, от записей этих смертью пахнет.

«По словам самого Чекрыгина, — пишет Жегин, — он наверняка погиб бы в «проклятых пинских болотах», если бы не брат Иван.

Запасись нужными пропусками, рискуя собственной участью, Иван Чекрыгин перевёл брата в штаб Инженерного полка, где сам служил старшим писарем. Работы в канцелярии штаба было много, но всё же это было лучше окопов».

* * *

1917 год.

Командировка в Москву. А в Москве — революция.

Чекрыгинские записи: «В думе. Прорвался — речи. Работа. Мой отъезд с книгами на фронт... Революция и я. Лошадь, поездки в Несвит, охота за солнцем».

Видимо, появилась возможность и книги читать, и пейзажные этюды писать — весенние, солнечные.

Окончательно возвращается Чекрыгин в Москву в августе — как раз накануне большевистского переворота.

Новая власть утвердилась в Москве лишь после жестоких пятидневных боёв с вооружёнными отрядами защитников законной власти.

Был подвергнут безжалостному артиллерийскому обстрелу Кремль, бывший центром сопротивления большевикам.

Более всего пострадали от разрывов снарядов Никольские ворота, Беклемишева башня, церковь Двенадцати апостолов и Николаевский дворец.

На Спасских воротах разворочены знаменитые часы с курантами.

Джон Рид, оказавшийся в Москве сразу после окончания боёв, пишет в своём «Русском блокноте»: «Обозлённые попы. Обозлённые буржуазные художники и др. Несчастные обозлённые бедняки, которые крестятся и что-то бормочут, глядя на Кремль. Обозлённые толпы спорщиков на Красной площади».

Зато Маяковский — в восторге. Он приветствует победоносную революцию:

Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля —
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.

* * *

А Чекрыгин?

У него в это время любовный роман с Л. И. Рыбаковой.

И вот пометки в его «Записи»: «У Кремля. Ложь. Клятва. Звон колокола. Чувство значительности совершаемого не покидает меня».

Это он свои любовные переживания обозначает. Но они-то для него совершенно неотделимы от колокольного звона, от течения тысячелетий.

Вместе с тем жить становится всё трудней и трудней.

Чекрыгин не может теперь рассчитывать на покровительство и гостеприимство семейства Шехтелей, разом обнищавшего после октябрьского переворота.

Чекрыгин покидает их кров и переселяется в дом Титова в Калашном переулке. По словам Жегина, дом этот «был знаменит тем, что ему постоянно угрожал обвал».

Сюда же перебрался и сам Жегин. Тут же некоторое время жил замечательный живописец Александр Осмёркин.

Время от времени бывает здесь и Фёдор Цыплаков, математик и знаток классической живописи.

«Его суждения об искусстве, — утверждает Жегин, — были безошибочны. Под его воздействием Чекрыгин меняет гнев на милость по отношению к Корреджо. С точки зрения Цыплакова, Корреджо — сама живопись, форма, рождённая интуицией».

Чекрыгин не совсем это принимает, смущаясь корреджовским субъективизмом, но тем не менее испытывает некоторое влияние пармского мастера».

* * *

А жить всё труднее и труднее.

И осенью 1918 года Чекрыгин уезжает в Киев.

Вновь цитирую «Запись по годам»: «Собираение в Киев. Изобразительный отдел. Неудача. Посадки. Драка с инвалидами. Поезд. Ночь. Курск. Пересадка. Граница. Белый платок. Германцы. Германец на посту. Генералы. Арест. Солнцепёк. Лёгкие орудия. Пулемёт. Разговоры о Рублёве. Арест. Белгород. Много хлеба. Лёгкость жизни. Харьков. Побежал. Звоню. Отражение в воде моющейся женщины. Вышла с золотым крестом на шее. Просьбы взять в Киев. Нежелание провожать. Спящий. Раздеваюсь в столовой... Прощание, улица. Вокзал. Поиски вагона... Испуганные унтер-офицеры. Коньяк. Киев. Ночь. Гуськом окружили. Арест. Караульное помещение. Спящие солдаты в окнах. Киев. Знакомая площадь. Освобождение... По городу. Приезд. Стук в окно. Ваня дома, дома».

Чтобы понять последние слова, надо правильно расставить знаки препинания.

«Ваня дома?» — «Дома!».

Василий Чекрыгин постучал в окно квартиры Ивана Чекрыгина.

* * *

Удивительно даже: недалёкая, в общем-то, поездка — и столько событий! Главное же — аж три ареста.

А ведь каждый из них вполне мог закончиться для Чекрыгина расстрелом. В обширных просторах рухнувшей империи разгорается гражданская война. И всякий человек с ружьём — сам по себе и прокурор, и суд.

В Киеве пока что властвует гетман Скоропадский, ставленник немцев.

Дивная у него фамилия — пророческая. Уже скоро приключится его падение — и самостийную Украину оседлает ненадолго Петлюра.

А в чекрыгинской «Записи» далее: «Рабинович забежал. Би-ба-бо».

Исаак Рабинович — друг Чекрыгина, театральный художник.

А Би-ба-бо не заумь какая-нибудь в духе Крученыха, а название кабаре, в которое при содействии Рабиновича устроится художником-исполнителем Чекрыгин.

Кабаре, кстати сказать, петроградское.

В большевистском Петрограде жить ещё труднее, чем в Москве.

* * *

Вскоре в Киев из Советской России перебирается и Климент Редько — тоже не от хорошей жизни.

«Киев, — свидетельствует он, — никогда не знал такого одновременного слёта блестящих именитых людей».

В шикарном клубе писателей и артистов на Николаевской улице можно встретить почти всех, кем была горда прежняя Россия. На эстраде концерты и доклады писателей. И вдруг вижу — да правда ли это? Передо мной Вася Чекрыгин. Сколько лет не виделись. Ну, а раз мы оба оказались в Киеве,

встреча обеспечена. — Познакомьтесь, — представляет мне Чекрыгин своего друга художника И.Р., — мы с ним пишем сейчас новую театральную декорацию для Марджанова.

Узнаю, что на этой неделе Чекрыгин собирается делать доклад в этом клубе».

И.Р., конечно, — всё тот же Исаак Рабинович.

К. А. Марджанов — знаменитый театральный режиссёр.

Ну, а тема готовящегося Чекрыгиным доклада — смысл искусства. Не более — не менее!

И прочитан он, видимо, будет дважды: и в клубе на Николаевской улице, и в мастерской А. А. Экстер, одной из самых известных «амазонок» мирового авангарда.

«В этот период — констатирует Редько — Чекрыгин проявлял себя более как мыслитель, теоретик, чем живописец».

Пожалуй, это именно так.

Но живопись Чекрыгин не забросил. Он пишет несколько пейзажей, натуральных, но обобщённых.

Не местные красоты изображает, а природные стихии.

Примечательно название одной из этих работ: «Земля и вода».

Судя по всему, именно здесь, в Киеве, он впервые стал работать в технике прессованного угля.

Формально техника эта графическая, но по сути, по художественным свойствам своим — чрезвычайно живописная. И Чекрыгину, живописцу, она сразу же пришлась по душе.

Киевские рисунки углём — художественные пробы. Изначально мастерские, они не заключают в себе сколько-нибудь значимых смыслов. Это — достаточно единообразные «композиции с фигурами», а также жанровые и эротические наброски.

Чекрыгин в работах этих — словно музыкант, испытывающий новый инструмент, чутко вслушивающийся в его звучание.

* * *

В начале 1919 года в Киев входят части Красной армии.

И уже вскоре Чекрыгин отправляется в Москву — будто бы в командировку.

В командировочном удостоверении указано: «10 мая 1919 года. Украинская Социалистическая Советская Республика. Рабоче-крестьянское правительство Украины. Отдел организационно-инструкторский (судопроизводство)... Василий Николаевич Чекрыгин командирован в Москву для передачи служебных писем».

Не ведаю, привёз ли Чекрыгин какие-либо письма в Москву, но в Киев он уже не вернулся.

Причём поездки, судя по чекрыгинским памятным записям, была на этот раз довольно-таки спокойной. Ну, отстал он один раз от поезда — так нагнал же. Ну, допрос ему был устроен каким-то «молодым человеком в отдельном вагоне». Ну, обстреляли однажды поезд заградительные отряды.



Т. В. Жуковская. 1918 г.

По тем временам — ничего чрезвычайного.

В Москву, по свидетельству Жегина, Чекрыгин «приезжает не один — ему сопутствует Т. В. Жуковская, молодая женщина яркой и утончённой красоты. Серые бархатные глаза делали её похожей на княжну Мери. Она была немного художницей и одевалась по-театральному декоративно».

Впрочем, уже вскоре красавица покидает Чекрыгина. Уезжает в Петроград, а затем и вовсе перебирается в Варшаву.

* * *

11 марта 1920 года Чекрыгин приходит на приём к А. В. Луначарскому, народному комиссару просвещения.

Вот записи, сделанные художником: «У Луначарского на квартире в Кремле

в Потешном дворце. Пропуск свободный... Сын спросил: «Вы кого пришли рисовать?» — «Вас» — «Пойдёмте прыгать со столов». Холод и запущенность... Женщины. Секретарь. Поцелуи за дверью... Разговор об откомандировании».

Чекрыгин находился на воинской службе в Высшей школе военной маскировки.. И на квартиру наркома явился с просьбой откомандировать его в распоряжение Наркомпроса, чтобы иметь возможность почаще заниматься искусством.

Совершенно очевидно, что пришёл он в Кремль не с пустыми руками. Принёс рисунки, а возможно, и какие-то рисовальные принадлежности. Свидетельство тому — разговор с сыном наркома.

Несомненно и то, что и работы Чекрыгина, и сам он произвели на Луначарского очень сильное впечатление.

Существует легенда, весьма правдоподобная, что Луначарский прозвал Чекрыгина «гениальным юношей».

В любом случае по распоряжению наркома Чекрыгин был откомандирован в комиссариат просвещения, в отдел плаката.

«Меня поразило, — пишет Жегин, — как быстро он успел освоиться со своей ролью — появилась деловитость, умение распоряжаться. Откуда брались эти черты, как будто совсем ему не свойственные? Но это было для него характерно: сочетание самых неожиданных, даже взаимоисключающих черт.

Помню, как он приезжал на трехколесном мотоцикле ревизовать работу. В шинели и широченной папахе вид у него был официально-административный».

* * *

Видимо, как раз после встречи с Луначарским Чекрыгин задумывает грандиозную роспись, дав ей предельно обобщённое название — «Бытие».

Замысел пока что довольно-таки смутен. Хотя и отнюдь не фантастичен, как принято обычно считать. Похоже, художник рассчитывает на доброе отношение к нему наркома. Тот ведь вполне мог заказать Чекрыгину роспись стен какого-нибудь рабочего клуба.

И художник довольно основательно продумывает программу живописного «Бытия».

Тут и сцены народного быта, становящегося бытием: земледелие и строительство, любовь и роды.

Тут и рождение великих идей, и духовные вожди человечества.

Тут и современность в её трагической красоте: «Солдаты 1914–1917 годов. Раненые. Убитые. Отравленные. Революция. Ленин. Красноармейцы. Алые стяги и дети. Между трупами — голубое небо».

Общего эскиза росписи не было. Да и быть не могло: ведь не было определено конкретное место для росписи.

Но было создано великое множество рисунков, которые могли стать эскизами для отдельных сюжетов росписи.

Это и портрет античного философа Платона, и «Голова ребёнка», и «Беспризорник», и «Конь» (или «Революция», как назван был позже этот блистательный набросок).

С замыслом «Бытия» вполне соотносятся и целые серии рисунков — «Оргии», «Расстрелы», «Восстание». Да, пожалуй, и «Голод в Поволжье».



Конь (Революция). 1920 г.



Расстрел. 1920 г.



Голод в Поволжье. 1922 г.

Рисунки эти исполнены настолько мастерски, что мастерство исполнения неприметно и неощутимо. Кажется, что они возникли вдруг и сами собой.

А вместе с тем они столь сильным душевным жаром дышат, что воспаляли порой даже самые холодные искусствоведческие умы, не склонные обычно к восторженному пафосу.

Вот как пишет о рисунках Чекрыгина Юрий Герчук: «Незамкнутые, фрагментарные, беглые, они вмещали, каждый в отдельности, лишь ничтожные частицы какого-то грандиозного целого... Кажется, Чекрыгин достиг невозможного, запечатлевая чувство в рисунке, как в музыке, непосред-

ственно — не в фигурах и в лицах, а в сиянии освобождённого от телесной оболочки человеческого духа».

Почти столь же пылко пишет о чекрыгинских рисунках Александр Каменский: «Тут нигде нет спокойного созерцания, расслабленности, мирного душевного отдыха. Всё — на высшем пределе самоотдачи, всё полно энергией мощной и безоглядной целеустремлённости».

* * *

У Чекрыгина новая подруга — Вера Викторовна Котова-Бернштам. Живёт она в подмосковном Пушкине, а потому возлюбленные вынуждены время от времени обмениваться письмами.

23 июня 1920 года Чекрыгин пишет своей подруге: «Думал вчера, сегодня и вижу, что свадьба, женитьба — сумасшествие. Я не могу жениться на Вас, хотя мне и хочется (во вневременном и внепространственном смысле)».

А вот письмо от 24 июня: «Жениться на Вас не могу... В Пушкино я больше не приеду, дважды два четыре, а не стеариновая свечка, как выходит по женской логике. От Вас я жду одного — моего кольца, которое мои единственные деньги, я собираюсь продать его и купить ботинки».

И ещё письмо — уже от 27 июня: «Возник вопрос о браке... Я военный и сейчас, и каждую минуту могу быть послан на фронт... Зарабатываю я неравномерно... За два месяца заработал только 5 000 рублей, а 1 мая — 350 000 рублей, а о будущем ничего не знаю, не знаю больше, чем кто-либо».

Идёт гражданская война — и будущее туманно. В стране жуткая инфляция, а заработки случайны и ничтожны. О какой свадьбе может идти речь!

Логично? Вполне. Как дважды два четыре.

На деле же дважды два четыре — стеариновая свечка.

21 июля 1920 года Чекрыгин женится на Вере Котовой-Бернштам.

* * *

«Станковая живопись, — пишет Чекрыгин, — не что иное как фрагмент бытийной общей трагедии, выражением которой может быть только фреска». Так он определяет для себя направление своих исканий.

И он, по сути дела, уже строит эту фреску — в воображении своём и на листах бумаги, в чёрно-белой «живописи».

Суммарный смысл этих композиций всё полнее проявляется во всей грандиозности своей. Это — воссоздание духа эпох. Это изображение движения человечества — сквозь тернии, через горы трупов.

Но в чём смысл этого движения? Куда идёт человечество?

В абстрактное «светлое будущее»? Или же вообще движение это трагически бесцельно?

Право же, Чекрыгин, художник-мыслитель, создавая «бытийную трагедию», не мог не думать об этом.

И вдруг всё разом прояснилось.

Чекрыгин знакомится с учением Николая Фёдоровича Фёдорова, с его «Философией общего дела».

«Она его всецело захватывает», — вспоминает Жегин.

«Об идеях Фёдорова он мог говорить всегда и везде, при любых обстоятельствах, при случайной встрече на улице. Не обращал внимания ни на прохожих, ни на осенний ветер, который рвёт его плащ, придавая ему вид какого-то фантастического персонажа».

Фёдоровым чётко определена та цель, которой должно достигнуть человечество: победа над слепыми силами природы, воскрешение умерших, реальное бессмертие.

Всё просто, ясно и грандиозно. Перестройка, пересоздание мироздания — задача более чем увлекательная. И вполне достойная даже и самого великого художника.

И Чекрыгин создаёт десятки, сотни рисунков на темы «воскрешения мёртвых». Они оказываются продолжением и оптимистическим завершением «бытийной трагедии», всего повествовательного строя «Бытия».

Окончательно складывается единая смутно-огромная «картина мира»: она видна уже не только автору, но возрастает уже и в воображении внимательного, вдумчивого зрителя, рисуется его внутреннему оку.

* * *

20 января 1922 года.

Чекрыгин получает письмо от брата Ивана: «Зоря умер несколько месяцев тому назад. Не прожил и 35 лет, жил довольно странной жизнью всегда, а последние годы в особенности».

Зоря — брат Захарий. Тот самый, что когда-то поступал с Василием в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В апреле 1922 года в залах Музея изящных искусств устраивается первая выставка картин Союза художников и поэтов «Искусство — жизнь».

Чекрыгину выделили целый зал, по периметру которого развешено двести композиций в технике прессованного угля. По сути дела, это — «выставка в выставке», причём очень солидная.

Но, как вспоминает Жегин, «в день вернисажа случилось нечто роковое. В холодном сыром помещении музея (с потолка кое-где текло) окантовка расклеилась, и почти все рисунки упали на пол. Стёкла разбились.

Чекрыгин был спокоен, но отказался выставить упавшие рисунки. На выставке осталось всего пятнадцать его рисунков, случайно уцелевших».

* * *

Май 1922 года.

Чекрыгин не рисует больше углём. Пишет масляными красками. Отчасти небольшие натюрморты пишет, отчасти композиции на темы «бытийной трагедии» и «воскрешения мёртвых».

При этом даже самые трагические сюжеты воплощаются в светлых тонах, в мажорной гамме.

И это понятно. Уже самим цветовым строем утверждается мысль, что смерть не вечна, что грядёт бессмертие.

Живописные работы эти, конечно же, не столь совершенны, как рисунки углём.

Так и хочется написать: пока не совершенны, они — подступ к новому этапу исканий и открытий.

Но это — самые последние работы Чекрыгина.

И среди этих художественных проб есть замечательные по замыслу, по мощи исполнения образы: «Смерть моего брата Захария», «Распятый Христос», «Умиравший Христос».

* * *

Смерть Чекрыгина — случайна и нелепа.

«Непосредственным толчком к ней, — свидетельствует Жегин, — была ссора с тещей, угрюмой и своенравной, смотревшей на него как на какое-то инородное тело, случайно попавшее в их семейство.

Был день Константина и Елены (3 июня) — именины брата и сестры Веры Викторовны Чекрыгиной. Праздник справлялся в Пушкине, куда и приехали родственники и гости.

Разгорячённый вином, обидевшись на какое-то замечание тещи, Чекрыгин разорвал железнодорож-



Смерть моего брата Захария. 1922 г.

ные билеты и пешком направился к Мамонтовке, где находилась другая дача его тестя.

Но это был путь к смерти. Чекрыгин погиб, пытаясь вскочить на подножку мчавшегося поезда.

Было 9 часов вечера.

Поезд остановили. В одном из вагонов оказалась жена Чекрыгина. Он ещё дышал, но был без памяти... Лицо спокойное, с обычной улыбкой, глаза полуоткрытые».

Всё это было, видимо, записано со слов вдовы Чекрыгина.

«Я увидел его, — пишет далее Жегин, — уже в гробу. Никогда не забуду этого прекрасного, как бы преобразившегося лица. Таким он был, едва касаясь грубой стихии повседневности, всегда какой-то просветлённый, таким и ушёл в вечность».

* * *

Похоронен был Чекрыгин неподалёку от Мамонтовки. Но могила не сохранилась: ныне над местом захоронения — воды канала Москва — Волга.

Нет уже и старой Жиздры: она, начисто сметённая гитлеровским нашествием, после Великой Отечественной войны отстроена совершенно заново.

Чуть было не угасла и самая память о Чекрыгине.

Правда, вскоре после его гибели появились статьи о нём, состоялась посмертная выставка.

Наконец, в 1934 году, в Большой советской энциклопедии была опубликована справка о нём: «Чекрыгин — яркий представитель экспрессионизма в советской живописи, с его мелкобуржуазным интеллигентским мистическим бунтарством. Художник с ярко выраженной талантливостью, Чекрыгин мечтал о монументальном искусстве, преображающем мир и по существу противопоставляемом советской социальной действительности. Таковы циклы его мистических рисунков «Воскрешение мёртвых» и «Восстание».

Дальше, на долгие годы, — тишина.

* * *

Первая после очень и очень долгого перерыва выставка работ Чекрыгина состоялась в 1957 году — в Музее Маяковского.

Заклятые друзья вновь встретились — уже посмертно. И Маяковский вновь оказался покровителем Чекрыгина: в советское публичное пространство художник смог вернуться лишь в роли друга великого поэта.

Впрочем, так было только поначалу.

Вновь стали появляться публикации о Чекрыгине, его работы все чаще и чаще выставлялись — и поныне выставляются — в крупнейших художественных музеях России.

Так почему же и поныне столь узок круг почитателей чекрыгинского искусства?

Скорее всего, потому, что оно — философично.



Воскрешение. 1922 г.

Чекрыгин — художник-философ. А разве философия может быть уж очень популярной? Так ли уж много на свете людей, которые захлёб читают Спинозу, Канта, Гегеля?

Вот и художественная, живописно-пластическая философия Чекрыгина, сколь бы жаркой и яростной ни была она, многих ценителей искусства, даже и весьма утончённых, не столько привлекает к себе содержательностью своей, сколько смущает и отталкивает.

А кое-кого, пожалуй, смущает и самая грандиозность чекрыгинского искусства. Всё-таки приятнее иметь дело с изящными мелочами, нежели с монументальными художественными строениями.

* * *

«Человек всегда умирает раньше, чем успевает родиться полностью».

Так полагал Э. Фромм. И был, пожалуй, прав.

Уж слишком коротка всякая жизнь, даже если она — величиной в век.

Казалось бы, что уж тут говорить о Чекрыгине, чья жизнь оборвалась так страшно рано.

А всё же он состоялся как личность, как художник в гораздо большей мере, чем даже самые знаменитые его приятели и друзья. И, пожалуй,

достиг той цели, которую поставил перед собой. Стал большим, великим художником. А может быть, и гением.

И дело ведь тут не в том, насколько ярко продемонстрировал он свои необычайные художественные способности.

Пожалуй что, гениальны создания его, гениально его искусство, не только заключающее в себе грандиозные идеи, но и всецело одухотворённое.

Лучшие произведения этого искусства возникли разом, вдруг.

Как свидетельствует Жегин, временами у Чекрыгина «было такое ощущение, что не он сам, а кто-то другой водит его рукой — ему приходилось лишь «доделывать и исправлять недосмотры» — такое вторжение чьей-то чужой воли он считал запретным, даже «греховным».

Я всячески оспаривал, видя в этом проявление внутренних, неосознанных человеческих сил».

Думаю, прав Жегин.

Некогда это называлось вдохновением.

Нынче именуется включением в художественный процесс коллективного культурного бессознательного.

В любом случае, чем чище, благороднее и мощнее душа художника, тем светлее его создания, тем сильнее отзываются в них бесконечность и вечность.

Искусство Чекрыгина сообщается с нами душевно и духовно. В нём не только его голос звучит. Оно говорит ещё и само по себе. Ангельским голосом говорит, направляя наши чувства и мысли к истине и грядущему бессмертию.



Пётр Топорков

Пётр Евгеньевич Топорков родился в 1989 году в г. Серпухов Московской области. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка КГУ им. К. Э. Циолковского. Стихи публиковались в журналах «АльтерНация», «Новая реальность», альманахах «Зерно», «Синие мосты». Автор книг «Добрые селенья» и «Три». В настоящее время живёт в Калуге. Член Союза российских писателей.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ И СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Довлатов дал изысканное и, в общем, светское определение того, что изначально названо не тем словом: сентиментализм — это любить что-то больше, чем это любит Бог. У этой фразы есть обратное, так сказать, применение. Это то, что мы — вероятно, неточно, можем назвать греческим понятием hubris — т.е. гордыня человека перед небесами. Мне кажется, что современные тексты, тексты, говоря по-западному, после Освенцима, пронизана своего рода hubris-ом наизнанку, или там самым сентиментализмом по-довлатовски. Нам без конца показывают коллизии и трагедии, чернуху и реализм: нищету, катаклизмы и прочее. Но это традиционный малопривлекательный и нишевый продукт для зажавшихся эстетов.

Более того: коллизии таких сюжетов в корне отличаются от того чувства, которое формирует греческая трагедия. Греческая трагедия не может превратиться в драматическую сказку, если Эдип вовремя получит фотку своей мамки, а Медея струсит перед лицом соцработника и ювенальной юстиции. Сюжеты современных историй включают элемент какой-то истерической обиды. Человек обижен на бога. Человек дуется.

Симпатическое страдание: сочувственное страдание, страдание сопричастности. То, что отмечала Сьюзен Зонтаг в отношении фотографии как знака 20 века: мы смотрим на голодранцев, на следы катастроф — и за этим следует некое новое эстетическое чувство: чувство, противоположное греческому катарсису, знаку очищения трагедией. Мы как бы замарываемся. Есть такой старинный южнославянский обычай: во время родовых потуг, для обеспечения благоприятного исхода весьма рискованного в традиционном обществе дела, мужу роженицы привязывают к тестикулам верёвку и по мере нарастания родовых мук дёргают за неё всё сильнее. Отец ребёнка должен

испытать страдания, подобные страданиям матери. Ну это, что называется, дела народные, что с них взять, тёмных и непросвещённых, суеверных крестьян. Но это симпатическое страдание становится навязчивой эстетической чертой современности.

Когда вы спрашиваете у читателя: зачем описывать природу? Зачем говорить о природе, если, как нас учат в школе, на самом деле говорят о душе? Тогда и говори о душе, при чём тут берёзы и закатные дали? — Не знаю, отвечает читатель, так повелось. А зачем же описывать страдание? Тому, кто привык и стоек нервом, описание такое не шевельнёт никакой душевной струной. Тому, кто нервом слаб, доставит неприятное чувство. Не знаю, отвечает читатель, что привязался, дурак, отвяжись, бог с тобою. Но дело в том, что, начиная с какого-то тайного момента, пишущие стали ставить своей целью шевелить читателя. Идея традиции, предсказуемых правил жанра, наследуется и в этом обычае. Астафьевские тексты, астафьевские щупальца страдания — предельный вариант такого шевелящего начала.

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ (ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Мысль, которой я хочу поделиться сейчас, на первый взгляд, относится к области профессионального, слишком профессионального, даже типа местечкового. Дело в том, — и это стало уже каким-то общим местом — что студенты-филологи, которых я учу уже не первый год, в разговоре о читательских симпатиях постоянно высказывают предпочтения западной, иностранной литературе — перед отечественной, до боли знакомой, насильственную любовь к которой старательно прививает школа. И вот я задумался: а нет ли в этом странном предпочтении связи с любопытной фразой Бродского: «мы [русскоговорящие] — народ придаточного предложения»?

Сама структура мышления прогрессивного предполагает движение вперёд — и это касается в первую очередь синтаксиса. Структура мышления русской классической литературы — это стихия кружения и возврата, отсылки к самой себе. Мне кажется неслучайным, что Бунин почти в финал «Тёмных аллей» — эротического, в общем, сборника, вставляет короткую новеллу — о сыром склепе. Когда крыша ржавая, то и в подвале сыро, как говорил один мой знакомый.

- Русская литература — это о сексе? — Конечно, нет, упаси господи.
- Это о семье? — Нет. Это не о семье. Семьи у горцев.
- Это о страсти? — Нет, страстей не так уж много, больше разговоров.
- Ну так что же, о смерти что ли? Об этой дурацкой утопленной собачке? — Нет. Пожалуй, что и не о смерти.

Вот Чичиков едет от пункта А2 к пункту А3. Вот Иван Александрович Гончаров ворочается в деревянной каюте фрегата «Паллада», и ему снится Обломов, которому снится, что он Наполеон. Вот Лев Толстой тоскует по Руси в люксе гостиницы Люцерна, записывая в дневник: Сложно будет устоять, тут много хороших. Кружение, возврат к самому себе.

Я задаюсь вопросом: почему существуют хмурые продавцы, раздражённые кассиры? Казалось бы, если эта работа не по нраву, иди туда, где нет этих спящих, хотящих людишек, отвлекающих тебя от бытия как такового. Как можно справиться с собой — считать деньги, когда этого не хочешь, сдерживать грубость, когда жизнь опостылела? Обгонять через сплошную, чтоб не дышать в хвост этим другим, этим вечным людям?

Долго ли ты, читатель, сможешь возвращаться в одну и ту же реку? Нет, отвечает, не смогу, меня ждёт Сюжет: меня ждут События, которые будут происходить, сменять друг друга, напрягать и расслаблять меня. Они будут цеплять за живое, вызывать определённые чувства. Я хочу туда, где происходит обмен, где нет желания удержаться неудержимое.

КАНТ, КИНО И МИМИНО

В, наверное, народной частушке —

Вань, пойдём на сеновал,
Почитаем Канта,
Вроде всё с собою взял
Ой, забыл стакан-то! —

отражён не совсем уж неправильный подход к кантовской системе воззрений.

Как известно, перевод сильно подкузьмил калининградскому философу: его вещь в себе должна была бы быть вещью по себе, вещью самой по себе: вместо тёмной мистики Кант думал о холодной свободе по ту сторону знания. Но почему мистическая неверная версия так понравилась русскому читателю? Надо сказать, что не ему одному: символистская и порядком затаканная «Матрица» с пелевинскими чёрными очками прекрасным образом повествует о том, как свобода «по ту сторону знания» оборачивается склизким коконом с проводами — словом, чем-то не из кантовского, а совершенно готического мирка. Но Кант здесь не кончается.

Всякий пользователь ютюба и прочих информационных морей знает, что такое кантовская вещь в себе — это содержание того самого информационного моря. Система, познакомившись с вашими интересами, оборачивается к вам именно этой, статической, масочной стороной — и вы получаете рекомендации, и после этого возможностей, что, пожелав посмотреть просто «чтонибудь», вы получите случайный интересный сюжет, как это было в эпоху доброго старорежимного ТВ, у вас нет. Вы всегда видите только эту самую кантовскую вселенную — вселенную, ограниченную и замкнутую на вашем собственном познании, на вашем желании. Правда, прорыв в randomness случается — но он ничтожно мал по сравнению с тем, когда вы отслеживаете публикации живого человека. Система не способна демонстрировать свои удивительные интеллектуальные способности.

В какой мере мы готовы к непредсказуемой информации? С одной стороны, поверхностный ответ даёт одно слово — жанр. Человек задаёт себе

степень свободы, ограниченную рамками жанра, причём это касается не только художественного произведения, фикции, вымысла. Это же относится к информации разного рода.

С другой стороны, переживание — переживание вымысла, в частности — его эффект определяется именно непредсказуемостью. Но в какой мере человек живёт и может жить в таком мире?

Устная культура — культура баек, рассказов... — оперирует повторяющимися формами. Когда Гоголь вводит в «Мёртвые души» сюжет о капитане Копейкине, он как будто предсказывает рандомную программную составляющую ютюба. Потребители баек получают идеальный баечный текст — непредсказуемый по контенту, но абсолютно естественно вписанный в правила жанра.

В эпоху, когда кино было главным источником непредсказуемой информации, сама форма представления кино становилась объектом изображения. Любитель советского кино наверняка вспомнит фильм «Мимино» — эпизод просмотра «индийского» фильма с синхронным переводом на деревне. Подобный — с образной точки зрения — эпизод — натягивание полотна для просмотра кино, с трудом, под сильным ветром — есть в фильме Хоу Сяосяня «Пыль суетной жизни». Полотно колеблется в деревенском тайваньском быту.

Когда кино показывает вещественную, тряпочную, холщовую основу самого себя — что происходит в этот момент? Разрушение иллюзии, точнее, ирония, развенчивание «грёзовости» кинофантазий? Мне кажется, в этот момент происходит более важная вещь — кино рассказывает о своей структуре, о той системе повторений, которая формирует фантазию. Таким образом происходит изучение анатомии — своей или человека противоположного пола, так происходит возврат от мечты к реальности, т.е. — возвращаясь к частушке — от Канта к сеновалу.

ПЕЛО ПЕСНЬ ЛЮБВИ СЕРДЦЕ ЭММАНЮЭЛЬ

Вашему вниманию предлагается точный и буквальный перевод песни «Emmanuelle».

Tu n'as connu qu'un seul amant...

Запела эта песенка, и я полюбил.

Итак, все мы всегда знаем, что мелодрама — это бегство от реальности. Я думаю, в кинематографической мелодраме есть значительно более революционный потенциал: его прекрасно ощущал и Дуглас Сирк, и его наиболее известный ученик Фассбиндер. Мелодрама предполагает — и осуществляет — революционное бегство от реальности пола. Та естественная и давно выраженная литературными и другими текстами «война полов», принципиальная несовместимость женского и мужского желаний, принимает в мелодраме радикальный, как бы кастрирующий разворот: мужчины и женщины более не имеют свойств, они — не тела более, но функции

абстрактных слов типа «симпатия», «влечение», «страсть», «сексуальность». Персонаж Олега Меньшикова так определяет в старинном советском фильме «Покровские ворота» досуг своей тётки: жизнь её была скучна; одиночество и беллетристика достались ей взамен. И эта беллетристика — не желтоватые страсти Достоевского и тем паче не чёрные страсти Эдгара По: вместо жуткой реальности страстей мелодрама предлагает математическую точность совпадения левой и правой части уравнения: Саша + Маша = Любовь.

Может ли путешествие прийти в точку Б, выйдя из точки А? Готовы ли мы к тому, что дети найдут капитана Гранта? Едим ли мы пиццу от середины, чтоб в конце прийти к сухой и пресноватой корке, или же избегаемся от корки вначале, оставляя и оттягивая момент приближения к чарующей сырной сердцевине? На самом деле, мы не готовы. Мы оттягиваем. Когда закончилась «Санта-Барбара», человечество поняло: тает лёд, с экологией беда, гибнут леса, разрушился Союз. Всё кончилось и всё прошло. Осталась одна математика мелодрамы, в которой девочка встречает мальчика, мальчик любит девочку, у них рождаются дети, которые идут сквозь трудности жизни, а иногда девочка не встречает мальчика, и дети не рождаются, и слёзы заполняют глаза, и бабушка, отводя глаза от экрана, смотрит в окно.

Что стало с «Санта-Барбарой» после распада СССР? Стало вот что. Сериал «Половое воспитание», в отношении которого применима как ни для чего другого поговорка о ложке дёгтя — с единственным исключением, что эта ложка дёгтя не растворяется в общем, а остаётся как определённое неприятное послевкусие, но в соединении с удивительным — мозговым, рациональным — пониманием того, как прекрасно, иронично (даже, кто знает, может, и без ведома создателей) это шоу. И дело не в том, что тут школьники осознанно и серьёзно обсуждают проблемы клизм и анального секса, чернокожий мальчик-гей, как герой бразильской мелодрамы, не может никак сделать выбор между арабом-атеистом и brutальным сыном директора школы. Как раз эта сторона повествования очень напоминает тот удивительный — похожий на средневековый масочный балаган — трюк, который гораздо раньше сделал Фассбиндер в фильме «Страх съедает душу», положив слезливую мелодраматическую историю любви на новую — политическую — плоскость: вместо молодых Ромео и Джульетты он вывел пожилую даму и молодого араба в их умопомрачительной любви. Эти реверансы в сторону политкорректности прекрасно показывают двуслойную структуру сюжета как такового: мир мелодраматических сюжетных структур, усвоенных Санта-Барбарой и развитых в эпоху фильмов а-ля «Американский пирог», описываемых очкастым учёным-нарратологом, существует в соединении с политическим «духом времени», от этого никуда не деться: но сама актуальность высвечивает проблемы совсем иного порядка: это система общественных связей, в которой всегда есть место «трещине», «разрыву», порождающему само существование этой системы: в качестве такой трещины существовала религиозная принадлежность,

затем её сменил капиталистический порядок с его статусом хозяина, ролью женщины, конфликтом семейных и корпоративных ценностей; проблема национальная и расовая, и, наконец, к ней добавляется сексуальная идентичность. В тот момент, когда мы понимаем, что эта проблема решена, права всех меньшинств соблюдены, все свободны в выборе любой сексуальной практики, нас охватывает подлинный ужас — потому что мы каким-то потайным умом начинаем нащупывать, что на этом история общественно-го раскола не закончится.

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ЗЛА

В фильме «Джентльмены удачи» есть несколько важных для меня эпизодов, причём каждый из них, взятый отдельно, кажется несколько банальным. Но не будем забегать вперёд.

Первое: это та комедийная вера во всевластие, в магию Слова, которая сопровождает перелицовку персонажа Леонова: нарочито педагогическое переписывание фразы про «редиску, который расколется при первом же шухере» — и «сосиска, редиска, петух гамбургской», возвращающий лже-Доценту авторитет и спасающий от параша. Кажется, язык всемогущ: накладки и ныне наносятся на тела заключённых — а значит, эта символическая речь выживает, сопротивляется растворению во фраерской стихии «татух». Но в случае с лже-Доцентом язык не справляется.

Итак, главное: в какой момент фальшивый Доцент становится отвратителен подельникам? Судя по эпизоду с верблюдом в начале фильма, отношения в банде и до появления подставного лица были далеки от рабовладельческих: они, скорее, представляли собой стабильный истерический (и исторический) диалог — сильный и умный хозяин и взбрыкивающие, но слабовольные подчинённые.

И вот постепенно Доцент, заменённый мягким директором детсада, начинает в песках Средней Азии свою зловещую педагогику: включает в лексикон слова типа «стыдно», «скажи это, Федя, нормальным, человеческим языком» и т.д. Он сталкивает Федю с ожиданиями его юности и доводит до слёз.

Естественным исходом дела при «слабине» хозяина был бы очередной взбрык — разной степени силы: от нежной потасовки до убийства бывшего главаря. Но ситуация далека от естественной. Пробуждённая нравственность доведена до предела, когда отповедь о «большей половине жизни», которая прожита, о «мраке, грязи, страхе и ничего человеческого» перемежается ремаркой о врачихе, которая «не накапает», потому что «в колдце лежит».

И вот главный вопрос — почему реакция «бывших» уголовников такова: в ужасе, в презрении они жаждут завернуть в ковёр, отпрянуть от того, кого считают Доцентом, кто уже — для них тоже — уже не Доцент, но: жуткий монстр, сочетающий жестокость, хитрость — с чем же? — с речами,

с педагогической убедительностью директора детсада, проповедующий и гладко бритый.

В какой форме общественное зло является приемлемым — чем-то, с чем мы, кряхтя и возражая, можем символически смириться? До какой степени это зло можно терпеть? Вероятно, пока это зло имеет черты природной дикости — пока оно стихийно. С приходом рациональности, системы языкового самоописания зло становится невыносимо: именно в силу этого государству так необходимо поддерживать стихийный характер «тел закона»: мы периодически должны узнавать о плохих служителях, об отдельных лицах, допускающих то-то и то-то по причине своих зверских appetitов, мистической тяги к золоту, брегетам и чёрной икре, коллекционированию дорогих предметов, сексуальной ненасытности и др.: эти свидетельства, щедро демонстрируемые телевидением при разоблачении очередного «проворовавшегося», означают, что зло нормально, зло хочет, в общем-то, того же, чего и мы, простые смертные, только выходит за пределы незыблемых норм для удовлетворения своей хотелки.

Максим Васюнов

Максим Александрович Васюнов — писатель и журналист. Родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Урал», «Наш современник», «Знамя», «Юность», «Дружба народов». Автор документальных фильмов о А. Чехове, Б. Зайцеве, К. Паустовском. Живёт в Калуге.



БОРИС ЗАЙЦЕВ. МНОГО РАЗ РУССКИЙ

Как въедешь в село Усты, справа сразу увидишь массивный храм: желто-синий лайнер остановился здесь среди лесов и петляющей Жиздры, чтобы своими золотыми главками подать сигнал заблудившимся или заблудшим. А если проехать чуть прямо, то справа, на взгорье, любуются окрестностями и ловит сигналы «маяка» массивный двухэтажный дом. Хоть и деревянный, но сложен так, что простоял больше века, пережил войну и много всего повидал. Да вот равнодушные XXI века, кажется, не переживёт. Лет десять назад отсюда выселили всех людей, говорили, будут делать музей. Но с тех пор дом пустует, уже «улетели» окна, видимо, вернулись в прошлое, где в эти окна на сказочную округу любовались дети и взрослые; внутри же полная разруха, дыры в полу и на стенах, в таких случаях говорят — «поеден дом молью времени».

А музей здесь был бы в пору. В этом доме вырослел и открывал мир, то есть запоминал всё, что видит, русский писатель Борис Зайцев. Он и русским-то стал именно здесь, писателем уже потом, в Москве.

Но статья русским в случае с Зайцевым оказалось даже важнее, чем писателем. Потому что он именно из тех, кто русскость вобрал в себя, а потом, в эмиграции, сберёг, законсервировал. Для нас с вами.

Но мы не воспользовались.

Наши души, по большому счёту, вряд ли теперь русские. Они больше походят на бывший усадебный дом в Устах — ветер гуляет, опоры подгнили, и если смотреть издали, то вполне притягательно, а если поближе — отвернуться хочется.

Бориса Зайцева в Усты привезли, когда ему был годик. Отец работал управляющим местным заводом, и Боря, в общем-то, рос барчонком, хоть и «якшался» с крестьянскими детьми. С детства по-русски чуткий, он именно в Устах делает главные наблюдения за русским человеком.



Деревня Усты. Дом Зайцевых

Взять ту же Воскресенскую церковь в Устах, родители Зайцева неверующие были люди, но большие православные праздники захватывали в свой хоровод даже атеистов. И что видит Зайцев? Вот утром крестьяне плачут в храме, стучат лбом и даже идут на причастие, днём радостные, добрые лица, все говорят, что надо бы сходить к старцам в Оптину пустынь, до которой рукой подать, все счастливы, и благодать разливается по деревенским улицам, а вечером по этим же улицам пьяные мужики гонятся за своими бабами, что бегут спасаться к Зайцевым. Иначе же муж сгоряча может и прибить.

Потом уже, став писателем, Зайцев точно скажет про русскую сельскую жизнь: «радость и грубость, поэзия и свинство». Четыре координаты, в которых застряла Россия.

Из которых не вырвалась до сих пор.

Но. Тут сразу важно сказать это «но», потому что вот уже больше тридцати лет мы не ищем глубины, и если говорится где-то, что писатель был не в восторге от русской жизни, то все его сразу записывают в либералы.

В том-то и отличие русского писателя от либерального — русский любит Россию такой, какая она есть, и каждого мужика, который искренне кается и также искренне потом срывает кресты и купола, и русскую бабу, которая бежит к старцу Амвросию, а на обратном пути заходит к местной колдунье поплевать на волосок. И каждый метр своей земли любит, и находит в них приметы рая.

И костры вдоль берегов Оки, и песни с платов, и оркестры на пароходах — всё это тоже можно заметить и полюбить. И, конечно, птиц. Без осмысления птиц, как и без осмысления земли и реки, не случаются русские

писатели. Патриотизм, о котором так много нынче говорят, но не теми словами — он ведь не только с молоком матери входит, но и с шумом русского леса, и колокольным звоном.

И если как русский человек Зайцев прозрел на берегах Жиздры, то как писатель — на берегах Оки. Когда жил в Калуге и потом в имении под Калугой — в Будаках. Нет, он не написал здесь и строчки, но ту любовь, которая делает писателя певцом Неба и земли, он почувствовал здесь.

Понятно, что все наблюдения, эмоции, движения души накапливаются с годами, но случаются моменты, события, пусть даже незначительные, после которых человек меняется. Зайцеву для того, чтобы стать русским писателем, достаточно было увидеть ярчайшую радугу: «невесомая арка возносилась высоко над берёзами в серо-зелёное небо».

И в тот момент почти по-апостольски он скажет: «Какая тишина! И какой мир. Какой отблеск неземной».

Приметы рая, Фавора и Эдема, русский писатель видит даже тогда, когда попадает в ад. Зайцев пережил катастрофы и революции, и эмиграции, и Второй мировой войны, но спасался всегда Россией святой. Это вообще только эмигрантам первой волны присуще. Взять того же Ивана Шмелёва, друга Зайцева и тоже калужанина, хоть и на одно лето, — он полуголодный, больной, под бомбёжками вспоминает русское Лето Господне.

Зайцев и Шмелёв, сюда ещё имён двадцать эмигрантов можно записать, создавали одно Лето Господне и одно богомолье. Они, особенно Зайцев, в эмиграции много печалились по поводу того, что в России не успели посетить монастыри и храмы; в ту же Оптину пустынь Борис, например, так и не заехал, хотя мимо пролетал много раз, и в Козельске, что рядом с Оптиной, даже гулял подолгу и останавливался. Но именно Зайцев в эмиграции первым понял, что теперь им нужно прокладывать паломнические пути словом — в литературе, в газетах, и по этим путям вести эмиграцию, европейского человека, да и тех, кто «отпрянет ото сна» в советской России. О той же Оптиной пустыни Зайцев напишет блистательные очерки и, как истинный русский писатель, предречёт колыбели старчества вечную жизнь и скорейшее возрождение. Скажет он эти слова в тот момент, когда козельский монастырь будут громить большевики.

И пока кривая наших мыслей не унесла нас к другой теме, то скажем здесь со всей прямоотой на примере Зайцева: русский писатель — это всегда



Борис Константинович Зайцев
(1881–1972)

про любовь к Родине и всегда про веру. Ну вот, накинутся сейчас многие, если не православный, значит, уже и не писатель? Писатель. Но русским писателем может быть только тот, кто слушает совесть, когда садится за рукопись. Остальные слушают цензоров, редакторов, издателей, критиков, общественное мнение и почти всегда им подыгрывают.

Зайцев не подыгрывал никогда и никому.

Хотя и он к вере пришёл не сразу. Были, были попытки понять всё про родную религию во время его учёбы в Калужском реальном училище. Но не встретилось наставника, который бы объяснил. Преподававший в училище священник не нашёл нужных слов, не к Циолковскому же было идти за ответами? Космический гений хоть и преподавал в классе у Зайцева, да как-то остался не замеченным в мемуарах Бориса Константиновича. Циолковский о Зайцеве тоже никогда не упомянул. Они будто загодя ещё начали делить Калугу на колыбель космическую и колыбель духовную.

Был ещё шанс у Бориса Зайцева воцерковиться в юности. Я про знаменитый визит Иоанна Кронштадтского в Калужское реальное училище. Зайцев почему-то был уверен, что с самым знаменитым священником эпохи ему удастся поговорить о главном. Накануне встречи с прилежностью отличника Боря читает все, что было у него из церковной и процерковной литературы, формулирует вопросы... Но в час икс отец Иоанн быстро проносится мимо Зайцева, стоящего вместе с одноклассниками вдоль стен училища, и никакого внимания на юношу не обращает, тем более уж ни о чём не спрашивает.

А если бы один взгляд, хотя бы слово! Возможно, Зайцев не потерял бы два десятка лет на попытки создавать русскую литературу вне православия.

И раз уж мы говорим о Калуге, то важно заметить, что именно на этом городе сошлись уже личные линии Зайцева — как русского человека и как писателя. О своей жизни в Калужской губернии, а это 16 лет, и в Калуге, в частности, он будет много писать уже после воцерковления. То есть получает возможность через ту самую невесомую радугу будаковскую творить, и даже больше — с высоты этой радуги смотреть на Россию.

О Калуге вообще никто из русских писателей так много не написал, как Зайцев. И если захотеть прочувствовать дух Калуги, то это именно к прозе и мемуарам Бориса Константиновича.

Борис Зайцев — гений атмосферы, не мастер, а именно гений, за умение мазками создать атмосферу его обожают в Литературном институте (жаль, что на филфаке в Калуге о нём почти не говорят). За умение передать не только цвет реки, звезды, снега, а за талант вплести их в единый космос, созерцать который Зайцев предлагает не с паперти мирового храма, а с клироса, а лучше, находясь поближе к алтарю, то есть к тому, Кто этот космос создал.

Я не про то, что Зайцев — это про свечи и молитвы, я про то, что он открывает нам Россию и ту же Калугу опытом именно христианского писателя, опытом, которым написаны многие древнерусские тексты, где автор знает, с Кем согласовывать свои слова и смыслы.

Калугу Зайцев и ругал, и восхищался, и даже ставил ей диагнозы. Как, например, вот этот: «Калуга же, являясь частью России, вместе с ней и катилась по дороге налаженной, с тяжким грохотом и громоздкостью старомодного экипажа, кучер которого и сидящие в нём не замечают его старомодности». Но свой первый город Зайцев любил и описал практически каждый метр его центральных улиц, каждый дом и его обитателей, артистов и врачей, губернатора и учителей, священников и просто вечно веселящихся девиц и мужчин, об этих девицах думающих. Калуга Зайцева — это не только Атлантида, как уже принято считать в местном литературоведении, Калуга Зайцева — это целая планета, и она хоть и описана талантливейшей рукой русского Зайцева, но всё ещё не открыта. Никто по-настоящему в Калуге Зайцева ещё не бывал. Иначе бы к своему городу калужане относились по-другому.

Пример простой. На днях прочитал, что новые улицы в Калуге называют Кофейная и Чайная. Между тем улицы Зайцева всё ещё нет.

Зато с улицей, на которой жил будущий писатель в доме своего дяди, известного калужского врача Михаила Николаевича Зайцева, связана интересная история. Сейчас эта улица носит имя Луначарского, а в то время она называлась Никольской, в честь храма Николая Чудотворца, позднее любимого святого Бориса Константиновича. Когда он после революции в поезде заразился тифом и уже умирал, оставленный даже врачами, жена писателя — Вера — вымолила мужа именно по молитвам перед иконой святого Николая. А потом, вскоре после выздоровления, Зайцеву помог выбраться за границу вместе со всей семьёй нарком просвещения и старый его приятель Луначарский. Тем самым Зайцев был спасён от тюрьмы или расстрела. Так одна калужская улица отразила целую историю Зайцева. Названная изначально в честь одного его спасителя, была потом переименована в честь другого.

Опустим здесь период писательского становления Зайцева, его московскую жизнь, которая складывалась успешно. Борис Константинович стал своим в литературных кружках, он издавался, о нём говорили, кто-то критиковал, кто-то хвалил, но никто не сомневался, что Зайцев пополнит золотой фонд русской литературы.

И если бы не революция, то оно так бы и было. И сейчас не только бы улицу в Калуге назвали в честь Зайцева, но и памятник бы открыли, да и университет носил бы, скорее всего, именно его имя, а не Циолковского. Не умаляю гения теоретика космоса, я о том лишь, что приоритеты были бы другие.

И тут не надо ловить автора этих строк, что история-де не знает сослагательного наклонения. За этой удобной формулировкой прячутся слабаки и преступники, которые сначала натворят дел, а потом выключают всякие «бы» из истории.

Но я убеждён, если бы не революция, то русская цивилизация прекрасна и дальше дышала и русская литература стала бы тем, чем и должна быть — шёпотом Бога. Безнадрывной проповедью. И Зайцев, писавший именно так, уж точно ходил бы в первых рядах русских классиков.

Однако революция сразу же берётся за Зайцева, с первых своих бешеных часов. В конце февраля в Петрограде погибает его племянник Юра, сын сестры Татьяны, она была директором калужской элементарной школы, где готовили детей к гимназии.

Юру растерзала толпа и нагого бросила в чулан, а когда Татьяна приехала в Петроград и кое-как отыскала изуродованное тело сына, то ей даже похоронить его спокойно не дали, «толпа улюлюкала», — вспоминал позднее Зайцев.

Был арестован и убит в годы революции пасынок Бориса Константиновича Алёша.

А сколько пришлось голодать! Спасаться от нападений и грабежей, прятаться от посходивших с ума сторонников большевиков в Притыкино, имении в Тульской губернии, где Зайцев многое напишет и где проживёт как самые спокойные, так и самые тревожные годы своей жизни.

Но русский писатель, смотрим выше, даже в аду находит отблески рая. Прежде всего в себе и в своих окружающих. Зайцев — один из тех немногих (чего уж тут скрывать) писателей Серебряного века, кто, спасаясь от голода и случайной (а иногда совсем не случайной) пули, думал не только о себе. Это во многом благодаря Борису Константиновичу не умерла от голода Марина Цветаева со своей дочкой. Я упоминаю Цветаеву, потому что она тоже калужанка, но помогал Борис Константинович многим. Это одно из главных, по-настоящему человеческих и русских его качеств — сострадание и мгновенная помощь тем, кто в ней нуждается.

Прибавьте к этому спасение Зайцевыми (его жена Вера Алексеевна тоже великая русская) евреев во время оккупации, спасение писателей, помиравших от голода, спасение, наконец, светлого имени православных святых! (об этом позже). И вот он образ русского Зайцева дописан!

И пусть русский Зайцев, уехав из большевистской страны в 1922 году, домой больше не вернулся, но для русской страны там, на Западе, он делает немало.

Прежде всего он останется верен той России, в которой выросал в человека и писателя, верен Устам, Будакам, Людинову (где тоже жил одно время), Калуге, Москве...

И никогда не примет большевиков. Никогда не оправдает их, даже когда другие, особенно после мая 1945-го, начнут с советской Россией заигрывать. На этой волне Зайцев даже перестанет общаться с Буниным, который ещё вчера клеймил большевиков пуше всех остальных эмигрантов, а получив от них предложение вернуться и издать собрание сочинений — всерьёз задумался. И замолчал.

Зайцеву, говорят, тоже предлагали вернуться. Скорее всего, это слухи, да и не могло быть в земной миссии такого человека, как Борис Константинович, этого пункта. Он сам возвращал Россию в Советский Союз и в Европу. Словом. И за этим словом к нему ехали те, кого можно смело называть продолжателями зайцевско-бунинско-шмелёвской прозы. Юрий Казаков и Константин Паустовский. За этим же словом ему писал Виктор Лихонос.

И удивительно, с какой благожелательностью, с какой искренностью, с какой надеждой (а уж о надежде Зайцев, всю жизнь переводивший Данте, знал всё) он общается с молодыми писателями. Опять же понимая прекрасно — что это им возвращать русское слово и русскую тему в советскую литературу. И он в этом своём расчёте не ошибся. Своей проницательностью сумев выбрать именно Паустовского, Казакова, Лихоносова.

И это именно молодым адресованы его, зайцевские, очерки о русских литераторах, эмигрантах, их сотни, и в них живые уроки того, как оставаться человеком и что вообще есть русский человек. И это для нас Зайцев написал свои выдающиеся, быть может, лучшее, что им создано в литературе, биографии Тургенева, Жуковского, Чехова. Авторы нынешней серии «Жизнь замечательных людей» признавались мне, что ещё в советское время ходили в спецхран читать биографии Зайцева, потому что для них это эталон, и во многом именно по-зайцевски пишется современная биографическая проза, которая становится год от года популярнее.

Иногда Зайцев обращался к нам напрямую. Например, в своём послании «К молодым», которое надо бы выбить золотыми буквами на входе в тот же калужский университет. Вот лишь строчки из того обращения, самые важные: «Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется личностью, не умирал. Достоинство Человека есть вольное следование пути Божию — пути любви, человечности, сострадания. Нет, что бы там ни было, человек человеку брат, а не волк».

Как метко писатель-эмигрант, ушедший от нас полвека назад, предвидел, на какие болевые точки нажимать в своём обращении.

Человечность, достоинство, свобода, сострадание, любовь... А это «человек человеку брат, а не волк» — достаточно почитать современные соцсети, чтобы понять, о каких волках говорит русский писатель Зайцев.

Ещё один важный урок Зайцева. Русские не могут жить без своей земли. Неизбывная ностальгия становится в какой-то момент для эмигрантов и Богом, и дьяволом. Многие ломаются и лезут в петлю, многие возвращаются прямоком в лагерь, многие заливают тоску алкоголем. И лишь Зайцев, да ещё с десятком имён наберётся, как могучие дубы, тянут русские корни в свои парижские квартиры. Благодаря верности России, благодаря православию эти корни не оборвались за 50 лет жизни вне Родины. И на этих корнях выросли многие эмигранты следующих волн, многие писатели, священники и журналисты.

А ещё чувство родной земли не давало Зайцеву возноситься. Он до последнего оставался смиренным и скромным. И даже когда его правнука назвали Матвеем, он очень по-зайцевски сказал: «Зачем же было называть так высоко обыкновенного русского мальчика?!»

Уж скоро моё эссе по нарастающей дошло до трогательного пафоса, в хорошем смысле последнего слова, то тут в пору рассказать один из показательных эпизодов в жизни русского эмигранта Зайцева.

В конце двадцатых годов случилась в европейской прессе сенсация. Одна французская писательница и журналистка написала книгу о своём якобы

пребывании на Афоне. Женщинам на святой горе быть, напомним, запрещено. Но как настоящий журналист она нашла способ проникнуть. И, конечно, всех соблазнила и всех «разоблачила» — и монахов, и веру их, и заодно русских (без грязи на русских и тогда европейские сенсации не блестили), и всё вселенское православие. Европа съела книгу на ура, писательница стала ещё знаменитее. И только Борис Зайцев вступил с ней в публичный спор, заступившись перед всем Западом за русских, за Афон и за всё православие. Это по-настоящему великая публицистика, это по-настоящему великое русское слово, под которым французская писательница не только призналась, что на острове она не была и всё выдумала, но и стала христианкой. Не сразу, но, нет сомнения, обращения к ней Зайцева даром не прошли. Посеяли то зерно, ради которого и приходят в мир русские писатели. Француженка даже потом книги стала писать исключительно христианские. То есть — христианин Зайцев её, можно сказать, «завербовал» на свою сторону.

Такое под силу только русскому писателю.

Такие были.

И Зайцев у нас был и будет. Но проблема в том, что понять всё величие этого события может только русский читатель.

50 лет нынче со смерти Бориса Зайцева. За все эти годы он так по-настоящему и не вернулся на Родину. А до этого 50 лет он был запрещён к печатанию на территории советской России.

Где-то в эти сто лет и потерялся русский человек.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛАКА, ПЛЫВУЩИЕ В ОКЕ

<i>Дмитрий Петрович Ознобишин</i>	
Ока	3
<i>Степан Петрович Шевырев</i>	
Ока	3
<i>Марина Цветаева</i>	
«Бежит тропинка с бугорка...»	4
Осень в Тарусе	4
«В светлом платье, давно знакомом...»	4
<i>Геннадий Шпаликов</i>	
Сон	4
<i>Валентин Берестов</i>	
«Вьётся чайка над Окой...»	5
<i>Леонид Губанов</i>	
На Оке	5
<i>Владимир Соколов</i>	
Ока	5
<i>Юрий Кублановский</i>	
Перевозчик	6
<i>Белла Ахмадулина</i>	
Возвращение в Тарусу	6
Преирательства и примирения	6
<i>Андрей Коровин</i>	
Переплыть через Лету	7
«ты заходишь в воды своей Оки...»	8
«пока Ока живая движется...»	8
«на Оке распустились деревья...»	8
«разлив Оки...»	8
Лето в Велегоже	8
<i>Валентина Невинная</i>	
«Как только светлый лик Оки...»	9
<i>Владимир Обухов</i>	
«Как узок мой мирок...»	9
«Ах, как быстро дни сгорают...»	9
<i>Михаил Кузькин</i>	
Утро в Калуге	9
<i>Александр Авдонин</i>	
Тарусский причал	10
<i>Алексей Золотин</i>	
«Мелеет милая Ока...»	11

<i>Валерий Васильев</i>	
«Вдоль тарусской излуки ликует кипрей...»	11
<i>Александр Трунин</i>	
Рыбак	12
<i>Дмитрий Кузнецов</i>	
«Томной барышне зимняя нега...»	12
<i>Юрий Долгополов</i>	
«Ласково притоки привечая...»	12
<i>Наталья Елизарова</i>	
«Как за королевичем Елисеем...»	12
Кашире	12
«Не проехать, не перейти: широка река...»	13
<i>Виктор Лареев</i>	
Осень на Оке	13
<i>Ольга Боченкова</i>	
Ока	13
<i>Светлана Соколова</i>	
На берегу Оки	13
<i>Маргарита Бендрышева</i>	
Отражения	13
Зимняя река	14
На берегу	14

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<i>Андрей Убогий</i>	
Пёс <i>Рассказ</i>	16
<i>Дмитрий Кузнецов</i>	
Звучание времени <i>Стихи</i>	40
<i>Ольга Ключкина</i>	
Римский зал <i>Рассказ-мозаика</i>	46
<i>Вячеслав Некрасов</i>	
«И пух иван-чая, и свет на ладони...» <i>Стихи</i>	71
<i>Юрий Убогий</i>	
Молодая луна <i>Повесть</i>	75
<i>Александр Трунин</i>	
Летело сердце в небеса <i>Стихи</i>	123
<i>Михаил Тырин</i>	
Законник <i>Рассказ</i>	125
<i>Владимир Карпенко</i>	
Белоголовник, дягиль, сныть... <i>Стихи</i>	136
<i>Владимир Кормильцев</i>	
Роли не играет <i>Проза</i>	138

<i>Ольга Боченкова</i>	
Новые проявятся слова <i>Стихи</i>146
<i>Наталья Головатюк</i>	
Мамино время <i>Стихи</i>148
<i>Александр Ларин</i>	
Белая ночь <i>Рассказ</i>150
<i>Эльвира Частикова</i>	
В жанре клипового времени <i>Стихи</i>165
<i>Павел Никиткин</i>	
Живи, комар, живи! <i>Охотничьи рассказы</i>168
<i>Павел Тришкин</i>	
Простое знание <i>Стихи</i>178
<i>Елена Фадеева</i>	
Разговорчики <i>Проза</i>180
<i>Евгений М'Арт</i>	
Остановив взгляд на небе <i>Стихи</i>185
<i>Никита Сорокин</i>	
Я влюблён <i>Рассказ</i>188
<i>Станислав Еленский</i>	
Эпоха-межсезонье <i>Стихи</i>193
КАЛУЖСКИЕ БЫЛИ	
<hr/>	
<i>Сергей Денисов</i>	
Осколки <i>Воспоминания о послевоенном детстве</i>195
РЕТРО ДЕТЕКТИВ	
<hr/>	
<i>Георгий Куликов</i>	
Осенняя перепутица <i>Повесть</i>208
ЭПИСТОЛЯРИЙ	
<hr/>	
<i>Маргарита Смольянинова</i>	
Честные страницы <i>История в письмах</i>243
СЛОВО, ИСКУССТВО, СУДЬБА	
<i>Владимир Обухов</i>	
Формула гениальности270
<i>Пётр Топорков</i>	
Виктор Астафьев и Сентиментализм298
Литература в школе (послесловие)299
Кант, кино и Мимино300
Пело песнь любви сердце Эмманюэль301
Язык и образы зла303
<i>Максим Васюнов</i>	
Борис Зайцев. Много раз русский305

ОБЛАКА

КАЛУЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск 5

В оформлении обложки использованы фрагменты картин
М. Д. Андреевой «Тёплая осень в Калуге» (2013)
и Л. Н. Казакевича «На берегу Оки» (1995)

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная вёрстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30, e-mail: sergei-zah@mail.ru

Подписано в печать 15.04.22. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объём 19,75 п. л.
Тираж 500 экз. Зак. 62

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75